

ТАМАРА

БЕГСТВО  
ИЗ  
БОЛЬШЕВИСТСКОГО  
РАБСТВА

Записки советской переводчицы.  
Три года в берлинском полпред-  
стве. 1928–1930

БЕГСТВО  
ИЗ

БОЛЬШЕВИСТСКОГО  
РАБСТВА

БОМБА ДЛЯ ПЕРЕБЕЖИЦЫ

## Annotation

Тамара Владимировна Солоневич работала в органах внешней торговли, и ее основным «орудием производства» было знание иностранных языков. Это давало ей надежду вырваться за границу более или менее легальным путем. В результате она смогла в 1928 году получить работу переводчицы и стенографистки в берлинском отделении советского торгпредства. В 1931 году Солоневич вернулась в СССР, позже ее откомандировали в Комиссию внешних сношений для сопровождения делегаций. Далее ее жизнь превратилась в триллер: фиктивный развод с мужем, замужество с иностранцем. Все это время она работала переводчицей с австралийской, американской, французской делегациями. 1932–1933 годы прошли в хлопотах о получении визы на выезд из Советского Союза. Ей это удалось, она уехала опять в Берлин. Тем временем муж и сын предприняли неудачную попытку бегства за границу. Наконец в 1934 году семья воссоединилась в Берлине. Летом 1936 года Солоневичи переехали в Софию и начали издавать газету «Голос России».

- 
- [Тамара Владимировна Солоневич](#)
    - [Записки советской переводчицы](#)
      - [Приезд в Москву](#)
      - [Первое знакомство с дворцом труда](#)
      - [Роковой петух](#)
      - [В ЧеКа](#)
      - [Тюрьма](#)
      - [Жанетта](#)
      - [Я становлюсь переводчицей](#)
      - [Пять видов «знатных иностранцев»](#)

- [В гостинице «Балчуг»](#)
- [На заводе АМО](#)
- [Москва - Тула - Харьков](#)
- [По Донбассу.](#)
- [В шахте](#)
- [Санитария и гигиена](#)
- [Беспризорные](#)
- [С.П. Игельстром](#)
- [Ростов - Грозный - Горячеводск](#)
- [Минеральные Воды - Владикавказ](#)
- [Тифлис](#)
- [Международный пропагандист Слуцкий](#)
- [Тифлис - Баку.](#)
- [«Обработка»](#)
- [В лефортовском изоляторе](#)
- [На новой работе](#)
- [Через пять лет](#)
- [Снова у старого корыта](#)
- [В штабе по приему делегаций](#)
- [В штабе по приему делегаций](#)
- [В гостинице «Европа»](#)
- [В подвалах гостиницы «Европа»](#)
- [Австралийская делегация](#)
- [Американский делегат](#)
- [Французская делегация](#)
- [Отъезд за границу.](#)
- [Три года в Берлинском торгпредстве. 1928—1930](#)
  - [Линденштрассе № 21—25](#)
  - [О мечте попасть за границу.](#)
  - [Как я попала за границу.](#)
  - [Последние колебания](#)
  - [Мы - в Берлине](#)
  - [Первые впечатления](#)
  - [Степан Никитич Никитин](#)
  - [Неожиданность](#)

- [Фрау Бетц](#)
- [Текстильимпорт и Швейцер](#)
- [Инженер Тарачешников](#)
- [Горькая доля стенотипистки](#)
- [Бюро прессы и информации](#)
- [Юра поступает в школу](#)
- [Советская школа в Берлине](#)
- [Экономический отдел торгпредства](#)
- [Наблюдатели](#)
- [О невозвращенцах и о текучести Кадров](#)
- [СШО](#)
- [«Контофот»](#)
- [Как ездят в отпуск](#)
- [Юрино приключение](#)
- [Товарищ Житков](#)
- [Некоторые секреты соцстраха](#)
- [Лизхен и Сан-Блазиен](#)
- [Чистка](#)
- [Клуб «Красная звезда»](#)
- [Парикмахер Борухов](#)
- [Кое-что о московских парикмахерских](#)
- [О немецких коммунистах](#)
- [Торгпредский журнал](#)
- [В полпредстве на приеме прессы](#)
- [Аптекарь из Бостона](#)
- [Приемщик Червов](#)
- [Бессонов и бюллетень](#)
- [Послесловие к русскому изданию](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)

- [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
-

**Тамара Владимировна  
Солоневич  
Записки советской  
переводчицы. Три года в  
Берлинском торгпредстве.  
1928—1930**

# **Записки советской переводчицы**

## Приезд в Москву

Стоял хмурый сентябрь 1926 года. Падали листья, и дождь капал слезами отчаяния. На душе же у меня было совсем пасмурно. Мы только что переехали наконец в Москву из южной солнечной Одессы. «Наконец» – потому что я всю жизнь мою, как чеховские сестры, стремилась в Москву. Помнила ее еще довоенной, хлебосольной, развеселой Москвой, когда девочкой приезжала на Святки погостить к своему дяде – известному адвокату. Он баловал свою маленькую племянницу, возил ее на елки и вечера на санях, в театры и по знакомым, и вот эти-то детские сияющие воспоминания мучили меня потом всю жизнь. Моей мечтой была Москва.

Прошла молодость. Пролетели в тяжелом кошмаре революционные годы... А мечта осталась, но приняла несколько иные формы. Прорваться в Москву, а оттуда за границу. Знала, что из провинции я не смогу никогда быть командированной за границу. Но из Москвы – чем черт не шутит! Попавши же с сынишкой за границу, постараюсь там остаться, а Ватик к нам уж доберется. Ведь жить в Советской России – это гнить заживо, таить все в себе, никогда не говорить то, что думаешь, все душевные и телесные силы напрягать на добычу куска черного полусырого хлеба.

Да, нужно всеми силами стараться перебраться в Москву.

Мечта юности оформилась в горячее желание. Но в 1926 году Москва была уже совсем другой, чем в мечтах. Советской, съезжившейся, грязной, скупой и мрачной. Муж мой, получивший службу в Центральном комитете профсоюза совторгслужащих, приехал из Одессы на два месяца раньше и много дней подряд

посвятил поискам квартиры. Однако ни в самой Москве, ни в пригородах не то что квартиры, но и комнаты было не найти. Люди жили буквально в нечеловеческих условиях, ваннные комнаты и даже неработавшие лифты были превращены в жилые помещения. Поэтому Ватик был рад когда ему в конце концов удалось нанять мезонинчик на станции Салтыковка в 20 верстах по Нижегородской дороге.

И вот с вокзала мы поехали прямо на дачу. В Одессе мы жили в самом центре, в двух шагах от Дерибасовской улицы, и, хотя там у нас тоже было только две комнаты, они были большими и светлыми, а главное – они были в городе. В Салтыковке же не было ни мостовых, ни тротуаров, ни освещения, и темной осенней ночью на улице приходилось зачастую трепетно стоять на одной ноге, потому что калоша с другой ноги застревала в непролазной грязи и потому что страшно было ступить дальше в одной туфле. Мезонинчик наш состоял из коридорчика, в котором два человека с трудом могли бы разойтись, и двух крохотных клетушек с бревенчатыми стенами, из которых вылезал войлок прослойка. Лавок в Салтыковке почти не было. Только один кооператив, в котором, кроме водки и морковного кофе, ничего нельзя было найти. Ясно, что я предчувствовала, какие тяжести мне придется таскать из города. А от станции до нашей дачи ходьбы было 20 минут.

Я, каюсь, человек, легко поддающийся настроению и импульсивный. Поэтому на следующее по приезду утро, лежа на импровизированной косоногой постели и смотря в маленькое оконце на гнущуюся от ветра оголенную березу, я впала в острое отчаяние, пустилась в слезы, стала упрекать себя и ни в чем не повинного мужа в том, что мы уехали из милой Одессы, а когда мой взгляд нечаянно остановился на крюке от лампы, мне всерьез захотелось повеситься.

Ваня и маленький мой сынишка Юрчик беспомощно вокруг меня суетились, уговаривали меня, как умели, Ваня даже несмело предлагал вернуться обратно в Одессу, но... жребий был брошен, в Одессе все корабли были уже сожжены, брошена служба, пересдана квартира. А в советских условиях пересдать квартиру – значит сделать нечто бесповоротное, ибо другой квартиры уже никак не найти. Все равно – Одесса это, Харьков или Москва. Рассудок восторжествовал, и я взяла себя в руки.

Все на свете относительно. Если бы мы приехали в ту же Салтыковку в июне-июле, она произвела бы на нас совсем другое впечатление. Летом это был рай земной, кругом леса, пруды и речушки, и чудесный воздух, и отсутствие пыли. Нам суждено было прожить в нашей «голубятне» до самого побега нашей семьи за границу, и я так к ней привыкла, что, когда уезжала в последний раз, я упала возле кровати и целовала пол, чувствуя, что я больше никогда уже сюда не вернусь. На фоне затормошенной, суматошной, шумной и грязной Москвы – Салтыковка была тихой пристанью, голубым озерком, уютом среди враждебной и угрожающей советской действительности. Тут была еще какая-то видимость дореволюционной жизни – не было домкома, а была хозяйка. Правда, ни дом, ни участок ей больше *de jure* не принадлежали, и, если она хотела срубить у себя в саду дерево, она должна была испрашивать специальное разрешение сельского совета, но все же нас никто не мог уплотнить, а до ближайших соседей было не два метра, отгороженные тонкой перегородкой, а несколько сот шагов, заросших плодовыми деревьями и бурьяном. Летом мы купались, устраивали со знакомыми экскурсии на речку Пехорку, ловили рыбу, искали грибы – конечно, в выходные дни. Воскресенье ведь было отменено.

## **Первое знакомство с дворцом труда**

Куда пойти искать работу? Знакомых в Москве у меня было еще очень мало, но муж утешал тем, что при моем знании языков я смогу быстро устроиться. Мы пришли во Дворец труда, где находились все центральные комитеты профсоюзов, а следовательно, и место службы мужа.

Огромное здание, выходящее на четыре улицы, в том числе на набережную Москвы-реки и на Солянку. Бывший Николаевский сиротский институт и воспитательный дом. Прочно строили при императрице Екатерине. Четыре этажа - четыре длинейших коридора в каждом, а всего - больше тысячи комнат. Естественно, что большевикам ничего больше не оставалось, как прикарманить такое сокровище себе. И какое раздолье для централизации. Двадцать три профессиональных союза (теперь их уже шестьдесят два), ВЦСПС - их страх и трепет, а в четвертом этаже, так сказать, на Олимпе - сам Профинтерн, ведающий насаждением революции в профсоюзах всех остальных стран мира. Цитадель рабочих движений и профсоюзной халтуры. Но тогда-то я о халтуре ничего не знала. В то сентябрьское утро 1926 года я была еще неоперившимся профсоюзным птенцом. За каждой закрытой монументальной дверью мне чудились неприступные «главки». Столица внушала мне все же какое-то уважение. Позже я многому, очень многому научилась, позже я постигла всю сложную и замысловатую науку советской халтуры. В провинции халтура была не столь заметной и не процветала с таким сногшибательным успехом, как в центре.

Судьба настигла меня в одном из коридоров Дворца труда в виде улыбающейся, покрашенной, щеголеватой

особы женского пола, которая, сильно картавя, ухватила меня за рукав и немного театрально воскликнула:

- Тамара, неужели это вы?

- Жанетта? Вот сюрприз. Вы здесь какими судьбами? Тараторя, она увлекла меня в подвальный этаж-столовку.

## Роковой петух

Жанетта... Полуобрусевшая француженка сомнительного рода занятий, но милая, беззаботная женщина. И, как это всегда бывает, в тот короткий промежуток времени, что мы спускались с ней по узким и темным лестницам подвального этажа Дворца труда, в моем мозгу с быстротой молнии пролетели воспоминания о нашем с ней знакомстве.

1920 год. Белые ушли за море... Одесса была занята красными. Ватик, который в момент отхода белых болел тифом и вынужден был остаться, связался наконец со мной, оставшейся в Киеве. С превеликими мытарствами, после шестидневного сидения на чемоданах и мешках, вместе с четырехлетним Юрочкой, в товарном вагоне, я притащилась (буквально притащилась) в Одессу. Поступила переводчицей на Одесскую радиостанцию, которая все еще после пережитых событий не могла начать работать и находилась в состоянии ремонта. Начальник радиостанции, полупарализованный интеллигентный человек, не большевик – он скоро затем умер, – соблазнился моими знаниями языков и решил меня взять «про запас».

– Пока станция начнет функционировать, вы будете давать уроки языков нашим служащим.

И я стала давать уроки. Служащих было всего четверо, между ними, на мое счастье, один бывший белый офицер М. Почему «на счастье», будет ясно позже.

Муж же решил заняться рыбной ловлей. Правда, до тех пор он никогда в жизни всерьез этим делом не занимался, но делать было нечего, на службу куда бы то ни было он идти не хотел. Большевики в этот период рыскали, как гончие, по Одессе и окрестностям,

вылавливая белых. Мы наняли дачку на двенадцатой станции (те, кто был в Одессе, знают, что так называется двенадцатая остановка трамвайной линии, соединяющей по берегу моря Одессу с курортной местностью Большой Фонтан). Ваня завел какие-то таинственные знакомства с местными рыбаками, привлек к нам на дачу в виде компаньона одного киевского знакомого с женой, и рыболовная артель была создана.

Я проводила на радиостанции два-три часа в день. Возвращаясь домой, мы с соседкой начинали «наживлять» на переметы рачков или червей, затем мужчины уезжали на лодке в море, закидывали перемет. Через несколько часов ехали снова и приезжали с добычей, которая, увы, оставляла желать лучшего: на долю каждого приходилось 11-12 бычков. Бычки эти моментально жарились и съедались. Мои три тысячи советских денег (в 1920 году все советские служащие, будь то курьер или профессор, получали по три тысячи, большевики проводили один из своих бесчисленных, теоретически неоспоримых, экспериментов) шли на остальные необходимые для питания ингредиенты.

На дачу к нам никто не заглядывал, и наше житье было бы совсем мирным, если бы не петух садовницы Каролины, которому суждено было сыграть довольно трагическую роль в нашей сравнительно мирной жизни.

Известен ли кому-нибудь случай, когда из-за петуха пять человек сели бы в тюрьму? Я думаю, что такие случаи чрезвычайно редки.

Петух, правда, был не простой, а испанский. Эта национальная его принадлежность сказывалась в том, что он был гораздо больше обычного домашнего петуха, и, что самое главное, он всегда норовил подраться, взлететь противнику на голову и клюнуть его куда попало. Бывало, выхожу я к колодцу с ведрами. Слышу

за собой топот. Оглядываюсь – петух тут как тут, взлетает, хлопает крыльями и хочет сесть мне на голову. По правде сказать, и я очень нервничала при таких встречах, что же говорить о Юрочке, который со страшным ревом прибежал домой, догоняемый разъяренным петухом. На наши просьбы продать или зарезать петуха старая литовка Каролина отвечала недовольным ворчанием, говоря, что петух заменяет ей сторожевую собаку. С Каролиной же приходилось считаться...

И вот настал роковой день. К Юре пришла его маленькая подружка Зоя. Я, как помню, жарила бычков на кухне, вдруг отчаянный плач. Бежит Юра, а за ним Зоя с залитой кровью головой. Свершилось. Я как раз так боялась, что петух проклянет голову Юрочке, жертвой оказалась Зоя, но от этого было не легче. Ваня стал в ярости гоняться по всему участку за петухом, поймал его и засадил в клетку.

Позже мы узнали, что в тот вечер Каролина, сидя на заборе, окружавшем дачу, говорила сердобольным соседкам:

– Они моего петуха засадили в клетку, а я их засажу.

Через три дня я возвращалась с радиостанции вместе с Юрочкой. Я часто брала его с собой, так как до станции надо было только перейти через небольшое поле, а на станции Юру любили и баловали. Уже издали вижу, что у наших ворот стоит красноармеец. С замиранием сердца прохожу мимо, красноармеец молчит. Идем через садик, я смотрю на окно нашей комнаты, и – о, ужас – вижу такую картину: Ваня сидит на стуле, а около него два красноармейца с револьверами, наведенными на его лицо. Что случилось? Влетаю в комнату – с двух сторон еще два солдата.

– Гражданка Солоневич, вы арестованы.

- В чем дело? У вас есть ордер?

- Какой там ордер, вот закончится обыск, поедете на шестнадцатую станцию, там разберем.

- Но, позвольте, ведь это не по закону.

- Гражданка, замолчите и не разговаривайте.

Мне не дают выйти из комнаты, но я слышу гневные протесты моей соседки, которую арест застал врасплох, над корытом с бельем. Вся дача заполнена солдатами, они роются в шкафу, шарят под кроватями, расковыривают икону, ожидая, что в ней что-нибудь запрято. Слышится торжествующий возглас:

- Ага, у вас и пишущая машинка есть?

- Но ведь она испорчена, - говорю я, - давно уже не работает.

- Ну, это мы еще увидим. Собирайтесь, пора ехать.

Руководит всем красный офицер - еврей, и я краем уха ловлю, что его фамилия Рабинович. Он вытаскивает из стола мой бювар, битком набитый всякими письмами, фотографиями, документами. Сердце мое останавливается. Боже мой, как же я этого не предусмотрела, что в случае ареста - его могут найти, этот мой старенький, еще девичий бювар! В мгновение ока соображаю, что там у меня хранится. Да, конечно, все Ванины письма, наши карточки, переписка, пока я была в Киеве, а он уже в Одессе, я - у красных, а он - у белых. Письма, доставленные тайно, разными путями... Что-то будет?

На мгновение, впрочем, внимание Рабиновича отвлечено: солдат концом штыка нащупал что-то твердое под шкафом и торжественно извлекает шкатулочку с моими золотыми вещами - брошки, кольца, два браслета и, чего мне особенно жаль, бабушкино гранатовое ожерелье. Рабинович ухватывается за шкатулку, он доволен. Он делает для вида коротенькую опись и прячет находку в свой портфель.

- Позвольте, почему вы хотите это забрать?

- Не беспокойтесь, гражданочка, если окажется, что вы ни в чем не замешаны, все вернем.

Не замешаны... Но бювар следует за шкатулкой. Что-то будет!

Оглядываюсь на Ваню. Он бледен как полотно.

- Mamочka, я хочу кушать...

Бог мой, да ведь Юрчик действительно с утра ничего не ел! Бедная детка, он ничего не понимает в происходящем. Его все эти чужие дяди, наводнившие нашу дачу, даже интересуют.

- Позвольте покормить ребенка.

- Нет, теперь некогда кормлениями заниматься. Едем к командиру.

- Да, но как же мой сын?

- А разве его не на кого оставить?

Оставить? Да эта мысль мне даже в голову не пришла. Но на кого же? На Каролину? На петуха?

- Нет мы предпочитаем, чтобы он ехал с нами. Ведь мы ни в чем не виновны, и вы говорите, что скоро нас отпустите.

- Да, да. Ну, живее. Пора ехать!

Нас выводят на улицу, где уже стоит грузовик, и под лицемерно-сочувственным взглядом Каролины, старающейся показать свое крайнее недоумение и огорчение, нас увозят в направлении шестнадцатой станции.

Возле каждого из нас солдат с ружьем. Остальные остались сторожить дачу. С другой стороны около меня помещается Рабинович. Он старается завести со мной нечто вроде конфиденциального разговора и спрашивает:

- Вы давно знаете полковника Сташевского?

- Какого Сташевского? - удивляюсь я.

- Ну, я понимаю, вы не хотите сознаться, но ведь у вас была подпольная организация. Полковник

Сташевский, подпоручик Самойлов и другие.

Бросаю взгляд на Ватика. Он бледен, но старается казаться совершенно спокойным. Он даже не разговаривает с солдатами. Его невинно арестовали, и он это особенно подчеркивает. Но что у него на душе!

- Что вы, - говорю я Рабиновичу, - какая подпольная организация? Мы - люди приезжие, у нас почти нет знакомых.

- Вам же хуже будет, если вы будете продолжать запирается. Машинку почему не сдали? Знаете, что по декрету все пишущие машинки должны были быть сданы в трехдневный срок?

- Да ведь она совершенно испорченная, в ней шрифта нет.

- Мутик, а куда мы едем? В Одессу?

Звонкий голосок, невинные карие глазки, курчавая головенка, что они понимают?

- Да, деточка, в Одессу.

Грузовик вкатывает во двор огромной богатой виллы. Ворота за нами захлопываются, из виллы высыпают новые красноармейцы. Слышны возгласы:

- Подпольную организацию захватили.

Переговариваться друг с другом нам не позволяют. Беру испуганного таким количеством людей Юрочку на руки и готовлюсь к дальнейшему.

Нас ведут в дом, к командиру. Оказывается, что нас арестовал интернациональный батальон, командир которого латыш. Начинается довольно поверхностный допрос, во время которого мы все пытаемся доказать нашу полную невинность. Ни в какой подпольной организации мы не замешаны.

Командир, видимо, сильно заморочен и не знает, что с нами делать. Я говорю:

- Товарищ командир, у меня забрали мои золотые вещи. Но ведь никакого ордера на реквизицию не было.

Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне их вернули.

- Золотые вещи? Рабинович, где золото? Отдай все гражданке обратно.

Момент надежды. Но Рабинович уже склонился к уху командира и в чем-то его убеждает.

- Вот что, граждане, вам придется переночевать у нас, в монастыре, а завтра мы вас выпустим. Надо кое-какие детали выяснить. Вот и машинка у вас...

Ночь в монастыре на шестнадцатой станции. Конечно, из нас никто глаз не смыкает. Что-то будет завтра? Соседка моя горько плачет, ей совсем обидно. За собой она абсолютно никакой вины не знает. Она очень красива собой, танцевала в киевском «Шато де Флер», потом вышла замуж за Б-на, политикой никогда не занималась. Муж ее, тихий и спокойный латыш, если и не сочувствует новому режиму, то совершенно пассивно. Нам дали по кружке чаю и по куску хлеба. Юрочка утолил свой голод и теперь спит у меня на руках. Тревога все растет в моей душе, я все силюсь вспомнить, что у меня в бюваре. Мужчины помещены отдельно от нас.

Брезжит утро. Входят караульные.

- Живее поворачивайтесь, надо в Чеку отправляться!

В Чеку? Но ведь нам говорили, что нас отсюда же отпустят домой! В Чеку? В памяти встает страшная картина чекистского двора на Садовой улице в Киеве после ухода красных. Полузарытые в землю, голые, обезображенные трупы, руки, ноги, пробитые черепа и характерный сладковатый запах разложения...

Грузовик, конвой, длинный путь на Маразлиевскую.

## В ЧеКа

Мы входим в небольшую переднюю, где вдоль стен сидят уже несколько человек. В камерке у входа, за стеклянной перегородкой, некто вроде портье. У него непрерывно телефонные звонки. Время от времени он высовывается и вызывает чью-нибудь фамилию. Скоро Ваню и Б-на куда-то уводят, не дав нам даже проститься. Наши взгляды – их не передать. На душе так скверно, так тяжело. Чувствуешь себя такой беспомощной. Мы с Юрчиком и с соседкой занимаем места на одной из скамеек. Около самой входной двери сидит маленькая бледная дама в трауре. Она, видимо, очень спешит и нервничает. Через каждые пять – десять минут она встает и подходит к окошечку.

– Мне очень некогда, меня больные ждут. Когда же вы меня отпустите? Ведь сказали на четверть часа, а вот уже два часа, как я здесь сижу.

– Не волнуйтесь, гражданка, вас вызовут.

Это докторша С-с, позже, уже в тюрьме, мы с ней познакомились и подружились. Милая женщина, где-то она теперь?

Проходят часы. Юрочка опять голоден, ему хочется движения, ему скучно и жарко сидеть в одной комнате.

– Мамочка, а где Ватик?

Наконец выкрикивают наши фамилии и ведут куда-то в подвальный этаж по длинным мрачным коридорам. Гремит ключ в замке, и вот я впервые в жизни – в тюрьме, да еще в тюрьме Чека. Уж поистине – от тюрьмы и от сумы не отказывайся.

В то лето в Одессе шли непрерывные аресты и расстрелы. Живя на двенадцатой станции, мы мало общались с городом и как-то не представляли себе масштаба работы Чека. Но тут, на Маразлиевской, все

делалось en masse. В нашей камере буквально некуда было ступить, весь пол был занят вповалку лежащими женщинами. Когда мне пришлось устраиваться на ночь, я должна была положить голову на чьи-то ноги, а Юрочкина голова покоилась на моей груди. Всю ночь горел свет, духота была ужасная, воздух тоже, в уборную надо было выходить в сопровождении конвойного. С ребенком было очень неудобно и тяжело, но вместе с тем я знала, что он со мной, что с ним ничего не может случиться, пока я жива. И это утешало.

В камере было непрерывное движение. Одних уводили, других приводили, не было ни одного спокойного часа. На третью ночь во дворе завели мотор, который трещал и гудел добрых два часа. Более старые обитательницы камеры побледнели, и с быстротой молнии все поняли, что там – во дворе, под нашими окнами, защищенными только щитами, идут расстрелы. Несмотря на шум мотора, слышались глухие выстрелы. С двумя заключенными сделалась истерика. Полупьяный надзиратель грубо приказывал замолчать. Я молила Бога, чтобы Юрчик не проснулся...

Прошло несколько дней. Два раза за это время отправляли целые партии в тюрьму. Мы же все ждали допроса и – так велика была наша наивность – освобождения. Но на допрос нас не вызвали, а на шестой день фамилии наши были вызваны надзирателем для отправки в тюрьму. Мрачно было у нас на душе. Перевод в тюрьму означал затяжку, означал, что против нас действительно имеется какое-то конкретное обвинение.

Как сейчас помню жаркое июньское утро. Нас выводят во двор, а затем и на улицу. Нас много, человек пятьсот. Мужчины идут в передних рядах. Я лихорадочно ищу взглядом Ваню. Наконец вижу его могучую фигуру, и мне становится легче. Все же пока

мы вместе. По сторонам нас сопровождают цепью конные конвойные с ружьями наперевес.

Впереди и сзади тачанки с пулеметами. Свистки, крики. – Разойдись, стрелять будем!

Публика шарахается в стороны и исчезает в подворотнях. Сначала я беру Юрочку на руки, но скоро силы мне изменяют, я чувствую, что не смогу долго его нести. Опускаю его на землю, соседка и я берем его за обе ручки и стараемся не отставать от остальных, однако темп довольно быстрый, нас то и дело обгоняют другие заключенные, наконец мы оказываемся в самом последнем ряду.

– Поторапливайсь!

## Тюрьма

Долог путь через весь город. Долог и тягостен. Юрочка устал и еле ноги волочит, плачет, бедняжка. Снова и снова несу его, пока сил хватает. Наконец возгласы:

- Тюрьма! Тюрьма!

Высокие кирпичные корпуса, построенные еще в старое время. В центре мужской, с церковным куполом посередине, затем большой двор. Затем женский корпус.

Мужчины скрываются в первом корпусе. До меня доносится дорогой голос:

- До свиданья, Мутик!

Бедный Ваня, у него ведь нет Юрочки! Я все ж-таки не одна.

Мы попали в общую камеру № 4. Нас было 47 женщин: воровок, спекулянтток, бандиток, фальшивомонетчиц, убийц и, наконец, «контрреволюционерок», - вот вроде меня. Спали мы, как и в Чека, вповалку на соломенных вшивых тонких тюфяках, без одеял, без простыней и подушек. Хорошо, что было лето, зимой же мы, вероятно, погибли бы от холода.

На радиостанции узнали о нашем аресте, стали за меня хлопотать. Постепенно удалось дать знать кое-каким знакомым в Одессе, стали слать небольшие передачи, но в общем было очень голодно.

Камера была женская, надзирательницы были женщины, а Юрочка был единственным ребенком. Поэтому его все жалели и даже позволяли ему проводить большую часть дня на тюремном дворе. Делалось так: в двери была форточка, в которую передавались передачи и в которую надзирательница

сообщала различные приказы и распоряжения. В эту же форточку я «выдавала» и «получала» Юрочку. Он так приспособился, что ложился мне на руки совершенно плашмя, чтобы не задеть ни головой, ни ногами за края форточки и так, как пирожок, я его высовывала, а надзирательница снаружи принимала. Из двора он приносил мне луковицы – с чахлого тюремного огорода. При тогдашней скудной и пресной пище – кипятком, хлеб и ячменная каша – лук был большим лакомством.

Однажды Юра прибежал оживленный на «обед» – во время разноса обеда дверь открывалась целиком, и он вбегал, а не «всаживался» в камеру.

– Мутик, а я сегодня с часовым разговаривал.

– О чем же, детик?

– Он говорит: «За что сидит твоя мама?»

– Ну а ты что сказал?

– Я сказал – я сижу за петуха, а мама за подпольную онгаризацию!

В камере поднялся хохот.

– Дурашка, зачем же ты так сказал? Ведь это неправда, мы все сидим за петуха.

Вскоре один мой сослуживец с радиостанции – бывший белый офицер, принес мне передачу, сообщил в записке, что на нашей даче ничего нет. Это в ответ на мою просьбу принести нам одеяла и подушки.

Оказалось, что Рабинович еще раз приехал с грузовиком и забрал решительно все, что можно было забрать, включая мокрое белье моей соседки.

Но если моя душа была спокойна насчет инкриминируемой нам «подпольной организации», муж мой тревожился гораздо больше. Я об этом узнала, уже выйдя на волю. Оказывается, что на следующий день после нашего ареста к нам на дачу должны были прийти С.Л. Войцеховский и В. С-ий с важными поручениями.

Подпольная организация действительно была, но, строго блюдя правила конспирации, муж мой даже мне о ней ни словом не обмолвился. Его душевное состояние в момент ареста и после него было близким к отчаянию. Он боялся, что эти два члена организации попадут на нашей даче в засаду (Рабинович, оказывается, три дня оставлял солдат на даче, с намерением поймать кого-нибудь из наших знакомых, чтобы создать «дело»). С.Л. Войцеховский и С-ий, по счастливой случайности, пришли только на четвертый день, когда засада была уже снята и, таким образом, от Каролины узнали, что мы арестованы. Были приняты все меры, и организация временно ушла в глубокое подполье.

Только на шестнадцатый день нас допросили. Мне инкриминировали, что я работала на радиостанции, получала там секретные сведения, переписывала их на машинке, а муж мой и Б-н отвозили их, под предлогом выезда на рыбную ловлю, в море и передавали белым.

Все это было настолько нелепым, что и протестовать было трудно. Машинка не функционировала, радиостанция бездействовала, наши горе-рыбаки же отъезжали от берега максимум на километр.

Следователь угрожал расстрелом, затем концлагерем, затем тем, что отнимет у меня Юрочку и отошлет его в детский дом.

В бюваре были найдены письма Вани ко мне на бланках «Нового времени», открытка с изображением пяти франкфуртских евреев, игриво заложивших большой палец в карман жилетки. Следователь обвинил меня в антисемитизме.

Я не признавалась, потому что мне решительно не в чем было признаваться, но нервы мои расшатались до крайности, я много плакала, а постоянные вызовы из нашей и соседних камер ни в чем не повинных женщин

на расстрел возмущали разум и развинчивали в психике какие-то винтики.

Чаша, однако, не была испита полностью.

Однажды мне передали с воли, что получено письмо от моей бабушки, сообщающей о смерти моей дорогой матери в харьковской тюрьме. Ее большевики арестовали за то, что она скрывала белых - она заболела в тюрьме тифом и умерла от болезни и истощения.

Я помню, как я буквально билась головой о стену в моем огромном горе. Все свалилось на меня сразу. Это был один из самых страшных периодов моей жизни, если не считать тех месяцев, когда в 1933 г. муж и сын второй раз пытались бежать из СССР за границу и когда от них пять месяцев не было никаких вестей...

Единственной радостью, скрашивавшей наше пребывание в тюрьме, было посещение церкви. В 1920 году большевики еще не были так жестоки и так уверены в себе, как позже, и тюремные церкви еще не были превращены в клубы. Каждое воскресенье совершалось богослужение. Если человек нуждается в духовном утешении и на воле, то насколько эта потребность обостряется в тюрьме! Только в церкви заключенный как-то забывается.

Однако тюремное начальство учло то обстоятельство, что заключенные радовались посещению церкви, и пользовалось этим для поддержания дисциплины. Тот, кто в течение недели в чем-нибудь провинился, был лишен возможности пойти в церковь в воскресенье.

Как сейчас помню, как в первое же воскресенье я увидела с хор, где стояли заключенные женщины, моего мужа - мужчины стояли внизу. Мы содержались в различных корпусах и общаться не могли, так что увидеть его хоть издали было уже большой радостью. Когда стали подходить ко кресту, я попросила у

надзирательницы разрешения Юрочке поздороваться с папой. И вот мой карапузик пошел через всю церковь. Слезы застилали мне глаза, и я еле видела, как Ваня бережно поднял своего мальчика на руки, поцеловал его и так же бережно поставил на ножки.

Радостно вернулся Юра ко мне:

– Мутик, папочка сказал, что он нас любит.

Огромная нежность проникла в душу. Я почувствовала, что наша связь крепка и что не тюрьме нас разлучить.

На следующее воскресенье я придумала передать через Юрчика мужу записку с некоторыми вопросами. У надзирательницы оказалось удивительное чутье. Перед выходом из камеры она всех нас осмотрела и нашла у Юрочки в кармашке злосчастную записку. Хорошо еще, что вопросы были сформулированы в осторожной форме, понятной лишь нам обоим. А то могло бы бог знает что получиться. Как бы то ни было – произошла неприятность и мы были оставлены «без церкви». Было очень горько.

## Жанетта

Была ночь, темная и жаркая июльская ночь. Камера спала тяжелым тюремным сном. От времени до времени слышались стоны, выкрики, бред... Я тихонько встала, подошла к окну, влезла на подоконник. Стекол в окнах не было. Были только толстые железные решетки. Вдали над Одессой виднелось зарево от уличных огней, я прильнула к решетке и дышала чистым воздухом «с воли». Ветерок доносил аромат степных трав. В камере было всегда душно, и ввевшийся в каменные стены специфический запах доводил иногда до тошноты. Я была рада тишине и сравнительному одиночеству. Ведь целый день четыре десятка женщин болтали, ругались, плакали, жаловались, голова шла кругом.

Вдруг в коридоре раздались шаги и громкий разговор. Я спрыгнула с окна. Даже эта маленькая радость – посмотреть в окно – нам строго запрещалась. Часовым был отдан приказ стрелять без предупреждения, как только кто-нибудь из заключенных выглядывал в окно.

Шаги ближе и ближе. Остановились у нашей двери, и на освещенном ее фоне вырисовалась стройная женская фигурка.

- Ну, поворачивайтесь же, чего стоите.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Фигурка сделала два шага. Дальше ступить было некуда, весь пол был занят спящими телами. Кроме того, было ясно, что вошедшая со света не сразу могла привыкнуть ко тьме и ничего не могла различить. Она начала плакать, сначала тихо, затем все громче и громче. Я отодвинула наскоро свой тюфяк в сторону и позвала ее:

- Идите сюда, здесь есть немного места.

Плач перешел в рыдания. Пришлось мне пробраться к ней, взять ее за руку и провести в мой угол. Некоторые из заключенных проснулись, недовольные тем, что их разбудили. «Новенькая» все еще плакала, я постаралась ее успокоить.

В коротеньких фразах, которыми она мне ответила, была примесь какого-то иностранного акцента.

- Вы не русская?

- Нет, я - француженка.

Французский язык был моей специальностью, до замужества я была преподавательницей французского языка в гимназии, бывала в Париже и очень любила французский говор. Мы разговорились. Боже, как эта девушка обрадовалась. В тюрьме, в советской тюрьме, такая мелочь может очень облегчить жизнь.

Жанетта... История ее так и осталась в некоторых деталях для меня загадочной. Одесская француженка из приличной семьи. Вращалась в состоятельных русских кругах. Как-то в театре, в добровольческое время, познакомилась с молодым человеком, завязался сначала флирт, затем у нее перешел в более глубокое чувство. Он обещал жениться. Ходил в военной форме. После ухода белых некоторое время не появлялся, затем снова пришел, видел ее урывками, говорил намеками, что участвует в какой-то подпольной организации. Обещал бежать с ней через румынскую границу. Однажды пришел к ней и сказал;

- Надо спрятать этот пакет. И хорошо спрятать.

Спрятала.

В другой раз пришел и просил спрятать у ее знакомых двух его товарищей. За ними охотится ЧК.

Спрятала.

В ту же ночь эти знакомые были арестованы. Жанетта тоже. Как была - в розовом шелковом пеньюаре, ничего не успела на себя набросить. Так в пеньюаре и в тюрьму попала. Сперва ее продержали

полтора месяца в Чека. Допрашивали преимущественно по ночам. Требовали, чтобы она сказала фамилии тех, кто у нее бывал. Для кого собирала деньги. А деньги она, по просьбе своего возлюбленного, действительно собирала, для него и его друзей – белых, как он ей говорил. Но не могла же она выдать своего любимого.

Наконец, в одну из ночей, на последнем допросе ей сказали:

– Сознайтесь, что вы прятали Михайлова и такого-то (фамилию я забыла).

Михайлов был ее жених.

Она все отрицала.

– Сознайтесь, а то расстреляем. Вы знаете Михайлова?

– Нет, не знаю.

– Ах так? Товарищ Сергей, иди сюда.

Из-за темной портьеры в глубине комнаты вышел... ее возлюбленный. Стал за столом, рядом со следователем, заложил руки в карманы, посмотрел на нее холодным отсутствующим взглядом:

– Так ты, Жанетта, меня не знаешь? И такого-то не знаешь?

Она потеряла сознание. Очнулась в подвале Чека. Больше ее ни о чем не спрашивали. Перевели внезапно в тюрьму. Теперь она не знает, что с ней будет, расстреляют ее или нет, – как я думаю?

И снова рыдания.

Красивая девушка. Почти грезовская головка, мягкие движения, стройная фигурка.

Мы подружались. Юрочка очень ее полюбил. Она все пела ему детскую песенку:

Les petits bateaux qui sont sur l'eau  
Sont les enfants des grands bateaux,  
Et les grands bateaux

Sont les papas des petits bateaux.

Когда, в конце августа, за недостатком улик, а главное – благодаря заступничеству радиостанции, нас выпустили на волю, я обещала Жанетте пойти к одной старой швейцарке, которая могла ей помочь вырваться из застенка, так как имела связи в Москве у самой Крупской.

Да, этот день. Этот мучительный и счастливый день. Обычно с утра вызывали тех, кто выходит на свободу. После обеда приезжал грузовик из ЧК и увозил на особые допросы и на... расстрел. И вот нас вызвали именно после обеда. Не стоит передавать того, что мы все пережили, пока собирали вещи, пока шли по длинным тюремным коридорам, пока нас не ввели в большую комнату, битком набитую другими заключенными. Тут уже оказались мой муж и Б-н. Ваня похудел до неузнаваемости, оказалось, что у него уже было четыре приступа возвратного тифа – и это при тюремном-то питании. Остались кожа да кости. Юрочка, помню, через несколько дней, дома, гладил Ванины ноги – это был пятый приступ – и говорил:

– Похудели ножки, похудели.

Но сейчас, в ожидании неизвестного будущего, нам было не до того. Пришли красноармейцы, обыскали нас самым тщательным образом, потом вывели на тюремный двор, открыли перед нами ворота:

– Вы свободны.

И вот мы все идем – худые, голодные, оборванные. За три месяца мы не меняли платья. Ваня был арестован в рубахе и рыбацких брюках. Трудно поверить, как может выглядеть рубаха, если ее носить и в ней спать, не снимая три месяца подряд. Только на

плечах и на обшлагах она еще кое-как держалась, остальное были дыры и лохмотья. На мне были остатки серого костюма, которые выглядели совсем неприлично.

Пришли наконец на нашу дачу. Вошли во двор. Выбежала Каролина, заискивающая и виноватая:

- А петуха я уже зарезала.

Вошли в комнаты и остановились в ужасе. Они были совершенно пусты. Не осталось ничего, кроме железных кроватей, даже матрасы исчезли. Как быть, что делать? Надо немедленно пробраться в Одессу и дать знать нашим знакомым. Но они и сами ничего не имеют, все бежали от большевиков, докатились до Одессы и тут застряли. К кому же пойти? И вот я вспоминаю, что в городе живет старая подруга моей покойной матери - А.Т. Маврокордато.

Дождавшись вечера, чтобы не очень срамиться перед людьми, я отправилась пешком в Одессу - трамваи тогда не ходили. Пришла к Александре Тимофеевне. В принадлежавшем ей раньше огромном доме большевики оставили ей только одну комнату. Оказалось, что у нее уже был ряд обысков, что все вещи ее подверглись реквизиции, а находившиеся в сейфе драгоценности и бриллианты тоже были «изъяты». Милая Александра Тимофеевна охала и ахала, слушая мою плачевную историю и особенно узнав, что мать моя умерла. Потом она стала рыться в своем шкафу и вынула сиреневую шелковую ночную рубашку, парижского происхождения, с оборочками и кружевами.

- Вот возьмите, может быть, ее можно носить как платье. Добрая душа. В этой рубашке, подпоясанной кушаком, так что создавалась видимость летнего платья, я проходила две недели, а потом в ней же поехала в Ахтырку Харьковской губернии, к бабушке, где осталось имущество моей матери.

Александре Тимофеевне удалось вырваться от большевиков в Румынию. Если она прочтет эти строки, пусть знает, что я никогда не забуду ее доброты.

Обещание, данное Жанетте, я выполнила на следующий же день. Больше я о ней ничего не слышала и почти забыла ее, когда шесть лет спустя она остановила меня в одном из коридоров Дворца труда.

## Я становлюсь переводчицей

Итак, мы с Жанеттой закусываем в столовке Дворца труда. Хотя 1926 год был началом ликвидации нэпа, продовольствия было еще более или менее достаточно. Не было сытости, но еще не было и голода. Когда через три-четыре года я, будучи на службе в Берлинском торгпредстве, приезжала домой в отпуск, было уже так голодно, что в той же столовке Дворца труда можно было найти только бутерброды с конской колбасой, и то по одному на человека, по специальным карточкам, выдававшимся раз в месяц каждому штатному сотруднику. Приходившим же по делу посетителям ничего в этой столовке не отпускали.

Весело тараторя, Жанетта рассказала мне, что ее скоро из тюрьмы выпустили, что она очень удачно вышла замуж за видного коммуниста, переехала в Москву и теперь работает переводчицей во французской секции Профинтерна. Оказалось, что переводы в Профинтерне поручаются только лицам той национальности, на язык которой делается перевод. Так, жена Литвинова, бывшего тогда еще заместителем наркома по иностранным делам, будучи англичанкой, тоже занималась переводами в Профинтерне. На китайский переводят только настоящие китайцы, на японский – японцы и т. п.

Я смотрела на Жанетту. Она немного изменилась с того времени, как мы сидели с ней в тюрьме. Только, пожалуй, несколько жестче стало выражение губ. Алых, ярко покрашенных губ. Однако sex арреаl'а стало в ней еще больше. И не трудно было заметить, что политикой она при ее легкомыслии интересовалась мало, работу делала больше автоматически и то потому, что

большевики косо смотрели на тех коммунистов, у кого жены не работали.

- Что вы на меня смотрите? Изменилась? Ну, не беда, я рада, что вас встретила, ведь вы мне тогда очень помогли. А теперь вы где работаете?

Я объяснила, что только что приехала из Одессы и ищу работу.

- Это мы живо устроим. Такие люди, как вы, с четырьмя языками, в Москве очень нужны. Знаете что - зайдите так через полчаса в комнату 438 в четвертом этаже, к товарищу Гецовой. А я с ней поговорю. Только, вы сами понимаете, никому здесь не говорите, что мы с вами были в тюрьме. О том времени никто и не вспоминает. Вряд ли и в Одессе остались какие-нибудь следы. Ведь тогда арестовывали десятки тысяч.

И побежала вверх по лестнице.

Через полчаса, достаточно нагулявшись по дворцовым коридорам, с бьющимся сердцем я подошла к двери комнаты № 438. На ней была дощечка:

### КОМИССИЯ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ВЦСПС.

Я открыла дверь. Коридорчик и в нем несколько дверей. На первой надпись - «Секретарь Комиссии внешних сношений - Гецова». Вхожу. Паркет блестит, как зеркало, два массивных письменных стола, у стен новенькие лакированные стулья. За столом красивая женщина. Гладкая прическа с пробором посредине, большие серые глаза, приятное, типично русское лицо. Только кокошника не хватает.

Около нее два телефона на столе и третий на стене. Прямой провод с Кремлем, как я потом узнала. Она непрерывно говорит то по одному, то по другому, то по третьему.

- Алло, дайте Кремль. Это Кремль? Говорит Гецова. Мне надо на завтра три пропуска в Грановитую палату.

Два американца и переводчица. Будут? В порядке.

- Алло, алло, товарищ Петров, не забудьте, что в гостинице нет апельсинов. Англичане уже второй день без апельсинов, ведь это безобразие. Что? Будут? Да ведь вы и вчера обещали. Ну смотрите.

Наконец Гецова обращает внимание и на меня:

- Что вам, товарищ?

- Моя фамилия Солоневич, меня к вам просила зайти Л-ль.

- Ах да, вот отлично. Вы английским владеете?

- Да, французским, немецким, английским и немного испанским.

- Ну, остальные языки мне сейчас не нужны. А вот английским. Можете ли вы завтра же выехать с английской делегацией в поездку? Мы вам дадим десять рублей в сутки на всем готовом. Согласны?

- Товарищ Гецова, все это так внезапно, я бы хотела поговорить с мужем.

- Ну о чем же говорить? Соглашайтесь. Кто здесь вас во Дворце труда, кроме Л-ль, знает?

- Здесь никто, но у меня хорошие удостоверения из Одессы.

- Покажите.

Я вынула удостоверения с последнего места службы в Одесской конторе Внешторга и от АРА - American Relief Organization. Там были перечислены языки, которыми я владею, и были даны лестные отзывы о моей работе.

- Нет, этого мало, необходимо поручительство члена партии. Без этого я не смогу принять вас на работу. Где работает ваш муж? Здесь же, во Дворце труда? Вот пусть из его союза кто-нибудь и поручится.

Я поспешила вниз к мужу. Рассказала, в чем дело. Нам обоим, конечно, было неприятно расставаться, тем более что до этого мы несколько месяцев провели врозь, он в Москве, а я в Одессе. Но предложение казалось мне настолько соблазнительным, мне так

хотелось войти в контакт с настоящими, живыми англичанами, и казалось, что двери за границу как будто приоткрываются. Мечты бурным вихрем завертелись в моей голове. Обсудив все, мы решили, что поехать все-таки следует. Как почти у каждого беспартийного советского гражданина, у мужа был свой «ручной» коммунист, и он отправился к нему за рекомендацией. Минут через сорок товарищ М-в из культотдела позвонил Гецовой и поручился за меня.

Разве я знала тогда, чего потребует моя работа?

- Ну вот и замечано! - Товарищ Гецова любила простонародные выражения. Сама она происходила из очень хорошей семьи и тем больше хотела показать, что идет в ногу с пролетариатом. - Теперь скажите, вы когда-нибудь переводили с трибуны на митинге?

- Нет, никогда.

- Тогда, знаете что, отправляйтесь сейчас же в гостиницу «Балчуг» - это тут же, следующий квартал за мостом. Там остановилась английская делегация. Сейчас у них обед, а после обеда они едут на завод АМО. Вот вы там и попробуете переводить. А я позвоню сейчас Игельстром, чтобы она вас немного подготовила к вашим обязанностям.

- Как, уже сейчас, так сразу, и на митинг?

Но Гецова уже звонила в гостиницу «Балчуг»:

- Соня, ты? Сейчас к тебе придет новая переводчица. Да, да, вместо Зины. Пусть она тебе поможет переводить на АМО.

Всякий москвич наверное знает гостиницу «Балчуг». В прежнее время в ней останавливались преимущественно купцы и деловые люди средней руки, которым было важно жить поближе к центру московской торговой жизни - Китай-городу. Гостиница не была шикарной, но каким-то чудом именно она одна

во времена нэпа осталась более или менее годной для приема иностранцев после того, как даже «Метрополь» был отдан на растерзание кучке чекистов с Петерсом во главе. В «Метрополе» еще до самого недавнего времени все номера были заняты под жилища «ответственных работников». Теперь «Европа», «Савой» и Гранд-отель, бывшая «Большая Московская» отремонтированы, модернизированы и предоставлены для приема иностранцев. В 1931 году «Балчуг» тоже подвергся капитальному ремонту, переименовался и отведен почти исключительно под гостей Интуриста.

## **Пять видов «знатных иностранцев»**

Прежде чем начать эту главу, мне хочется еще раз подчеркнуть, что, когда я поступала на работу переводчицы при иностранных рабочих делегациях, я была совершенно неопытна и не имела никакого представления о том, из кого они состоят, какие тайные пружины приводятся при этом в действие, кто вообще едет в СССР, как советская власть к этим делегациям относится и какие организации в Советском Союзе ведают приемом иностранцев. В те годы я была средней советской служащей, работающей из-за куска хлеба, пришибленной и унижаемой на каждом шагу всем советским строем. По своей неопытности, я радовалась предстоящей работе, как некоей отдушине в повседневной тяжелой жизни, я мечтала, что, познакомившись с людьми «оттуда», мы легче найдем способ вырваться из удушающей дух и старящей тело советской действительности. Никаких особых познаний в профсоюзной жизни Запада я не имела, но в СССР сапожник ничуть не удивляется, если его назначают судьей... Специальность? О ней почти не спрашивают. В берлинском торгпредстве некий Минкин был сперва начальником отдела кадров, затем – без всякой пересадки – заведующим лесным отделом, а теперь он восседает в кабинете на Унтерден-Линден в качестве директора Интуриста.

В процессе моей работы я уяснила себе следующее.

Советская власть драконовскими путями охраняет границы захваченной ею территории. Она всячески скрывает от всего остального мира истинное положение вещей в СССР, вводит в заблуждение все народы и наводняет все остальные страны лживыми сведениями о благоденствии Страны Советов. Всякий знает, как

трудно получить визу в СССР, а о том, как трудно оттуда выехать, я еще расскажу в свое время. Но для того, чтобы эффективнее вести свою пропаганду, большевики нуждаются, кроме печатного, еще и в живом слове. Необходимо, чтобы кто-то живой подтвердил, что он был в СССР, что он видел «достижения». Для этой цели создан целый ряд организаций, со своими бюджетами (а с затратами большевики в данном случае не стесняются), со своим штатом служащих и с далеко идущими разветвлениями за границей.

Коротко говоря, есть пять сортов иностранцев, которые допускаются или приглашаются в СССР.

1. Писатели, ученые, профессора, политики, крупные журналисты и пр. Приезжают по особому приглашению – вот вроде Бернарда Шоу, Уэльса, Страчи, супругов Уэбб, Андре Жида, Ромэна Ролана. Ими ведает и их опекает Общество культурной связи с заграницей, – сокращенно именуемое «Вокс». Общество это поддерживает культурные связи со многими учеными и писателями, имеет своих переводчиков, преимущественно из очень хороших семейств, так как им надо уметь говорить об искусстве, о науке и пр. Филиалами Вокс'а за границей являются всякие невинного вида общества культурной связи с Советским Союзом. Вокс обслуживает и таких знатных гостей, как Эррио, Иден, Лаваль и пр.

2. Рабочие делегации и их вожди. Они приезжают в Москву обычно два раза в год, на первомайские и октябрьские торжества, или в экстренных случаях, как моя первая делегация английских горняков, приехавшая благодарить советских шахтеров за поддержку забастовки 1926 года. Вожди приезжают и отдельно, как, например, в 1927 году секретарь Великобритании Федерации горняков Кук, до этого – английские профсоюзные вожди, теперь недавно – сэр

Ситрин, генеральный секретарь лейбористской партии и пр. Эти делегации состоят в ведении отчасти Профинтерна, отчасти ВЦСПС, который создал для этой цели специальную комиссию внешних сношений, отчасти, наконец, Коминтерна, который создал для этой и для других целей так называемое Общество друзей Советского Союза почти во всех крупных странах мира. Это общество работает, в противовес «обществам культурной связи с СССР», исключительно среди рабочих и служащих. В каждой стране есть бюро общества, секретарь которого обычно коммунист. Раз в год или в два года все эти секретари съезжаются в Москву, где они делают доклады с мест и где ответственная работница Коминтерна Гопнер дает им наставления относительно их последующей работы. Во главе Общества друзей СССР до самого последнего времени стоял английский коммунист Альберт Инкпин, с которым мне приходилось постоянно сталкиваться во время приезда делегаций в Москву. Первоначально секретариат Инкпина помещался в Берлине, на Доротеенштрассе, а после прихода к власти Гитлера «друзья» были высланы из Германии и обосновались в Амстердаме. Инкпин постоянно получал большие суммы от комиссии внешних сношений и от Коминтерна, но при щекотливых моментах самой передачи денег мне не приходилось присутствовать и я знала об этом только со слов моей сослуживицы, пользовавшейся неограниченным доверием Инкпина, – Л.А. Израилевич.

За несколько недель, а иногда и месяцев до очередных торжеств на английских, французских и других заводах и фабриках проводятся митинги, на которых выступает оратор общества (рабочие, конечно, об этом не знают) и, расхваливая достижения советской власти, призывает рабочих выделить из своей среды желающих поехать в СССР. Происходят выборы;

собираются небольшие суммы, необходимые для оплаты проезда до советской границы.

С момента перехода границы делегаты становятся гостями советской власти, им оплачиваются переезды по всему Союзу, их кормят на убой, поят коньяками и ликерами, водят в театры, иногда под благовидными предложениями им подносятся даже подарки. Им показывают то, что советская власть считает нужным показать, но после возвращения в свою страну они обязываются прочесть ряд докладов в рабочих собраниях и рассказать «правду о Советском Союзе». Их адреса и характеристики навсегда остаются в архивах Коминтерна и Комиссии внешних сношений, и по мере необходимости их так или иначе можно использовать.

Здесь нет постоянного штата переводчиков, обычно переводчицы так называемых «международных комитетов» при профессиональных союзах автоматически мобилизуются во время первомайских и октябрьских торжеств. В такие-то переводчицы попала и я.

3. Интуристы. Это наиболее известная разновидность иностранцев, попадающих в СССР. Во всех столицах мира имеются витрины с картой Советского Союза, с проспектами Крыма и Кавказа, Ленинграда и Москвы, с многообещающими зазывающими надписями:

- Visitez l'Union Soviétique!
- Visit Leningrad!

В огромных бюро сидят гладко выбритые, с иголки одетые люди, которые с утонченной любезностью дадут вам все указания относительно увеселительной поездки по Советскому Союзу. Вы внесете сравнительно небольшую сумму и можете посетить загадочную страну, о которой газеты говорят так много и так противоречиво. Интурист довезет вас до Москвы или Ленинграда, даст вам возможность

увидеть некоторые дома отдыха, театры, дворцы и музеи, переправит вас в ту или иную часть Советского Союза. Вы вечно будете находиться во власти Интуриста, вам дадут переводчицу, тренированную на специальных курсах, которая будет давать вам заученные ответы. Вы ничем не обязаны СССР, за свои деньги вы получите некоторую щекотку нервов.

- Ах, вы знаете, так интересно было посмотреть на здание ГПУ!

Или:

- Ах, вы знаете, мы посетили большевистскую коммуны, заключенные почти все троекратные убийцы.

4. Самой немногочисленной категорией и, пожалуй, наиболее свободной являются иностранные коммерсанты и представители фирм, которые с 1932 г. все чаще и чаще приезжают в Москву, желая получить заказы или совершить какие-нибудь сделки. Первоначально их помещают в «Савое», и о них, конечно, ГПУ тоже осведомлено, как и о всех, получающих визу на въезд. Но затем они совершенно свободны. У меня был случай, когда в 1932 г. мой знакомый по Берлину г-н Т-н, представитель транспортной фирмы, имевшей договор с советским правительством, приехал в Москву. Мы заранее списались, он привез мне пишущую машинку portable. Остановился в «Савой», но там с него брали 8 долларов в день только за комнату. Иностранцы должны платить всегда в валюте. Я предложила ему переехать к нам, в Салтыковку. Он с радостью согласился и... увидел обратную сторону. Он увидел переполненные пригородные поезда, освещавшиеся одной свечкой на весь вагон, увидел, как питается средняя советская семья, в которой и жена, и муж работают по 10-12 часов, а потом мы ходили с ним по Москве, и я завела его на Сухаревку. Там он совсем обалдел от зрелища

великой нищеты и голода, которое представилось его глазам.

Через несколько дней, уезжая, он облегченно вздыхал и с состраданием говорил, что следовало бы и нам переехать в Германию. Москва осталась в его воспоминаниях как нечто страшное. Так как при отъезде из «Савоя» его спросили, куда он переезжает, ему пришлось дать мой адрес, и долго еще после его отъезда мы ждали, что ГПУ нами поинтересуется. Однако, ничего, обошлось. Вообще я должна сказать, что ГПУ далеко не так всеведуще, как о том принято думать.

Но таких иностранцев приезжают в СССР единицы, все они так или иначе заинтересованы в сохранении с советской властью добрых отношений и поэтому, вернувшись на родину, стараются отмалчиваться от вопросов посторонних лиц, посвящая в свои настоящие впечатления только самых близких и родных.

5. И, наконец, пятая категория иностранцев – это коммунисты всех стран. В большинстве это, конечно, секретари, казначеи, ответственные лица. Я имела удовольствие наблюдать за некоторыми из них, так как октябрьская делегация 1932 г. жила в гостинице «Европа», где одновременно помещались (они буквально жили месяцами в Москве) Вайян-Кутюрье, Эгон Эрвин Киш и теперь уже покойный Фриц Геккерт. Эта категория иностранцев пользуется в СССР полной свободой (конечно, в пределах, диктуемых коммунизмом). В зависимости от их силы, воли и характера, а также внушаемого ими уважения их размещают либо в первоклассной, либо в третьеклассной гостинице. Они живут на всем готовом, получают необходимые им суммы, имеют в своем распоряжении автомобили Коминтерна или Профинтерна, словом, катаются, как сыр в масле.

В большинстве своем это уже старые приятели Москвы, и почти все они осилили российский язык в степени, достаточной для того, чтобы в обыденной жизни обходиться без переводчика. Они продают каждый свою страну - международной банде, заседающей в Кремле и в Коминтерне, очень мало интересуются действительным положением вещей в Советском Союзе и отмахиваются, как от докучливой мухи, от всех сведений, могущих так или иначе нарушить их душевный покой.

## В гостинице «Балчуг»

Выйдя от Гецовой, иду прямо в «Балчуг». В вестибюле меня останавливает портье.

- Вам куда, гражданка?

- Я из Комиссии внешних сношений. Меня послала Гецова.

- Сейчас справимся.

Короткий телефонный разговор, меня пропускают.

- Делегация во втором этаже, в приемной.

Поднимаюсь по лестнице, спрашиваю у первого попавшегося, где приемная; вхожу. Комната полна народу, везде английский говор. Меня сначала никто не замечает. Потом от одной из групп отделяется стройная, сухощавая фигура.

- Вы - товарищ Солоневич?

- Да, а вы, наверное, Игельстром?

- Угадали. Ну, вот хорошо, что вы пришли. Давайте я вас сейчас с делегатами познакомлю.

Игельстром представляет меня всем по очереди, как новую переводчицу. Сперва я никого не различаю, я смущена, так много рукопожатий сразу. Потом Игельстром меня оставляет с двумя делегатами - мужчиной и женщиной - и исчезает.

Завязывается разговор. Оба производят на меня сразу же очень приятное впечатление, такие простые и веселые. Миссис Нелли Честер и мистер Джонс<sup>[1]</sup>. Она - жена шахтера, он - сам шахтер. Старый заслуженный профсоюзный работник. Позже, недели две спустя, мы философствовали с ним как-то в купе поезда, и он заявил мне:

- Знаете что, все англичане - ханжи.

Теперь я стараюсь прежде всего получше ориентироваться в столь новой для меня обстановке и узнать, о чем может идти речь на митинге, где мне предстоит переводить. Я с горестью констатирую, что между литературным английским языком, которому меня обучали и на котором написаны многочисленные английские романы, – и живым, народным английским языком, как говорят в Одессе, «две большие разницы». К тому же выясняется, что делегаты были избраны по одному от всех угольных районов Англии и диалекты их разнятся между собой значительно больше, чем, например, наш вологодский акцент от, скажем, конотопского.

Вот подходит к нашей группе седой старик, мило мне улыбается и произносит длинную фразу. По тону слышно, что он меня как-то приветствует, но я, ей-богу же, ничего не понимаю.

– Это наш председатель, мистер Лэтэм.

– Из какого района? – решаюсь спросить я.

– Из Ланкашира.

– А вы, миссис Честер?

– Из Ноттингэма.

– Вы не знаете, кто именно будет произносить речи на митинге, куда мы сейчас поедем?

– Я и мистер Джонс.

Вот почему Игельстром оставила меня с этими двумя. Она, вероятно, подумала, что мне лучше заблаговременно ознакомиться с их разговором. Ну, не дай бог, мне дали бы попервоначалу переводить этого самого Лэтэма. При одной мысли об этом у меня холодеют ноги и сердце часто-часто бьется.

– Миссис Честер, не можете ли вы мне сказать вкратце, о чем именно вы будете сегодня говорить? Вы сами понимаете – я сегодня первый раз буду вас переводить, может быть, кое-чего не пойму.

– Oh, well, я вам скажу.

В трех словах она передает мне содержание речи. Тот же вопрос я задаю и Джонсу.

Игельстром зовет меня к себе. Подводит к женской группе и особенно любезно подталкивает к высокой англичанке с рыжими волосами.

– Это миссис Кук.

Кто в то время в Москве, да и во всем СССР, не слышал о Куке? Советские газеты были в 1926 году полны сообщениями о «великой стачке английских горняков», которая длилась, кажется, около девяти месяцев и кончилась вничью, несмотря на 12 миллионов золотых рублей, вырванных из рта у голодающих русских рабочих и крестьян и переведенных Великобританской федерации горняков в Лондон. Артур Джордж Кук был героем дня, он был генеральным секретарем федерации и главным вдохновителем и руководителем забастовки. Его жена приехала с делегацией, и это с ней меня теперь познакомили. Нужно заметить, что она не оказалась достойной своего мужа. Очень застенчивая и недалекая, не умевшая и двух слов связать, она старалась держаться совершенно в стороне. На многочисленных митингах в Донбассе, Грозном и в Баку большевики всегда старались козырять ею, как некоей сенсацией, перед собравшимися русскими шахтерами и нефтяниками. Результат получался неизменно самый плачевный. Миссис Кук отмахивалась руками и ногами, краснела, бледнела, забивалась в самые задние ряды, а когда ее почти насильно выталкивали вперед, она слабым, еле слышным голосом произносила всегда одну и ту же фразу:

– Приветствую вас от имени английских горняков и благодарю вас за вашу помощь.

Большого от нее за сорок дней путешествия по широким российским просторам никто добиться не смог.

Игельстром отозвала меня на минутку.

- Вы когда-нибудь уже переводили?

- Никогда. И боюсь, что не сумею.

- Ну вот, глупости. Возьмете карандаш и блокнот.

Старайтесь записывать возможно более подробно, что будет говорить делегат. Затем переводите, главным образом громко, чтобы было слышно в самых отдаленных углах.

- А вдруг я чего-нибудь не пойму?

- Добавьте от себя. Не так страшно.

Софья Петровна захлопала в ладоши, точно классная дама в институте, и стала просить делегатов поскорее одеваться, так как рабочие на АМО уже ждут. Все засуетились. Сошли вниз. Перед подъездом уже стояла вереница автомобилей. Если в 1937 году в Москве становятся в очередь перед стоянкой такси, чтобы получить автомобиль, то в 1926 году автомобиль, даже в Москве, был еще большой редкостью. Кроме крупных советских сановников в автомобилях почти никто не ездил. Но для делегатов машины были всегда готовы. И напрасно. Как-то в Юзовке нам подали несколько экипажей, запряженных добрыми донскими конями. Надо было видеть восторг наших англичан. Оказывается, в Англии на лошадях уже почти никто не ездит и большевики доставили бы им гораздо больше удовольствия, предоставив к их услугам конный способ передвижения. Но в СССР, наоборот, автомобиль считался, да и до сих пор считается, верхом шика.

## На заводе АМО

Огромный заводской двор, со всех четырех сторон окруженный корпусами, весь запружен шумящей разноголосой толпой. Обеденный перерыв использован для митинга, на котором должны выступить делегаты английских горняков. Около выхода из управленческого отдела сооружена высокая деревянная эстрада. Представители заводского комитета и директор завода встречают делегацию у подъезда завода и провожают прямо во двор.

Игельстром отзывает меня в сторону.

– Вы знаете, наши товарищи иногда выражаются не очень политически четко, так вы при переводе... округляйте литературно...

Начинается митинг. На платформу взбирается председатель завкома, средних лет рабочий. Он сильно волнуется – как же не волноваться, перед иностранцами придется выступать. Англичане группируются около Игельстром и меня, ждут перевода. По мере того как он говорит, мы переводим, так что для англичан пропадают и его крикливые, почти истерические выкрики: «Товарищи, наши английские товарищи, угнетаемые капиталистами, стонут в великой борьбе. Товарищи, кровожадные акулы буржуазии морят голодом их детей, а когда они протестуют, гноят их по тюрьмам». Я стараюсь переводить точно, в своей неопытности полагая, что, может быть, оратор скажет что-нибудь значительное, чего нельзя пропустить. Первое время мне очень трудно, так как я еще не совсем «подкована» в трафаретных марксистских и «классовых» выражениях, но англичане, по-видимому, понимают, во всяком случае, сочувственно кивают головами.

- Товарищи! Да здравствуют наши бастующие братья! Да здравствует международная революция! Да здравствует единство рабочего класса!

Бурные аплодисменты.

- Товарищи! Слово предоставляется английскому горняку Джонсу.

Игельстром подталкивает моего англичанина, сует мне в руку блокнот и карандаш. Боже, как страшно!

- Comrades, I greet you in the name of the British mineworkers...<sup>[2]</sup>

Я начинаю судорожно записывать. Мой оратор говорит страшно быстро, пересыпает, как и все англичане, остротами, меткими словечками, пословицами. Мелькают какие-то совершенно мне незнакомые слова. «Что же я буду делать? Как же я все это переведу. Кое-что улавливаю, но далеко, ах далеко не все. Откуда мне знать, например, что ТЮК (TUC) – это Trade Union Council<sup>[3]</sup>, ЭМЭФДЖИБИ (MFGB) – Miners Federation of Great Britain<sup>[4]</sup>, а ЭЙ ДЖЭЙ (A. G.) – Arthur George, как запросто называют горняки своего секретаря? Сердце мое проваливается куда-то в тартарары, руки и ноги холодеют. Как-то я выберусь из этого ужасного положения?»

Новые аплодисменты. Англичанин сходит с платформы довольный и улыбающийся. Моя очередь. Игельстром подталкивает меня сзади:

- Солоневич, переводить!

И вот я на эстраде. Подо мной море голов, воцаряется тишина. Начинаю говорить, все время заглядывая в тетрадку. Говорю громко, от волнения почти кричу. В отчаянии дополняю непонятное импровизацией. Напрягаю все свои силы, чтобы вспомнить, что Джонс говорил мне в автомобиле по дороге на завод. Стараюсь не смотреть вниз, в эти

бледные рабочие лица, в эти жадные испытующие глаза.

- А не врет ли переводчица?

И правда, они видят перед собой почти впервые настоящих живых английских рабочих. Так ли они себе их представляли? И рабочие ли это? Не обманывает ли их советская власть? Делегаты все одеты в свои лучшие праздничные пиджачные пары, все при воротничках и при галстуках. На головах у них мягкие шляпы, а не традиционная советская кепка. Лица у них розовые и ничуть не изможденные, наоборот, приветливые и довольные.

Хорошо, что Джонс не преувеличивает, его рассказ не ярко политичен, а, наоборот, почти добродушен.

Кончаю. Снова аплодисменты. Схожу с лестницы. Мне навстречу поднимается миссис Честер. В своем волнении я совсем забыла, что мне придется и ее переводить. Опять начинаю лихорадочно записывать. Тут уже дело идет легче. Женщин вообще легче переводить. У них не так сложно построение фраз, они не так глотают окончания. Само содержание речей у женщин проще и легче поддается переводу.

Миссис Нелли Честер добрая и честная женщина. Она рассказывает простым и образным языком, как тяжело жилось английскому горняку до забастовки, как шахтовладельцы собирают все сливки с дохода шахт и, кроме того, получают огромные проценты за так называемые «royalties» (откуда мне было знать, что такое «royalties»? Позже мне объяснили, что это право на недра). Нелли трогательно благодарила русских рабочих за то, что они так бескорыстно помогают своим английским братьям, и просила продолжать эту помощь до конца забастовки, до победного конца.

- I thank you<sup>[5]</sup>.

Нелли я перевела гораздо лучше, чем Джонса, так как лучше ее поняла. Рабочие аплодировали и шумели. Председатель завкома снова взошел на платформу и зачитал резолюцию:

- Товарищи, вы слышали здесь, как английские буржуи угнетают наших английских братьев. Мы принимаем резолюцию от имени рабочих завода АМО отчислять два процента из нашей зарплаты в пользу бастующих английских горняков. Товарищи, я ставлю этот вопрос на голосование. Кто за - поднимите руку.

Море рук поднялось в ответ.

- Кто против?

Гробовое молчание. Ни одной руки. Никто в СССР не осмеливается голосовать против чего бы то ни было, предлагаемого верхушкой.

- Товарищи, резолюция принята единогласно.

Я перевожу эти слова. Меня душит стыд. Ведь я-то знаю, что советскому рабочему живется и так очень плохо. Два процента из зарплаты каждый месяц - это не шутка. Но как я могу с первого же раза объяснить это моим англичанам?

Миссис Честер начинает плакать:

- Oh, how good they are!<sup>[6]</sup>

Она вытирает глаза платком, она действительно растрогана. Такое единодушие! Она совсем не ожидала, что русские рабочие так сочувствуют своим английским братьям. Да и откуда знать ей, выросшей при настоящей демократии, не имеющей понятия о диктатуре вообще, а о «диктатуре пролетариата» в особенности.

И, поддавшись своему темпераменту, она вихрем взлетает на трибуну:

- Long live the Russian workers! Long live the Revolution!<sup>[7]</sup>

Директор, его помощники и завком в полном составе приглашают откусать. Нас вводят в кабинет директора, где сервирован чай с пирожными. Мы садимся. Некоторые из делегатов заявляют, что они желали бы задать вопросы. Краткое совещание между заводской «тройкой» (директор, завком, комячейка). Да, конечно, они очень рады дать делегатам некоторые статистические данные, но лучше после чая, Игельстром освобождает меня от перевода, она сама будет переводить, а я теперь могу ехать домой, ведь завтра утром делегация покидает Москву. Мне надо собраться.

- Вы не очень точно переводили, но громко, и англичане остались довольны. Им понравились ваши интонации. Так, значит, завтра в 12:30 на Курском вокзале. В 12:45 поезд отходит.

- Что же мне брать с собой?

- Только смену белья и платье. Остальное все вам дадут.

## Москва - Тула - Харьков

Серое сентябрьское утро. Попрощавшись с сыном, я с мужем покидаю нашу салтыковскую голубятню и еду в город. Пригородный поезд подходит к Курскому вокзалу. На первой платформе уже стоит скорый поезд, и в нем сразу бросается в глаза международный вагон и, рядом, какой-то не совсем обыкновенного типа вагон, окрашенный в красивый синий цвет. Как раз когда мы подходим к этому вагону, в международный вносят несколько ящиков с ситро и зельтерской. Возле них суется какой-то еврейчик.

Москва - Харьков - Севастополь, гласит дощечка на вагонах.

Наверное, наш поезд?

Когда накануне я из АМО забежала к Гецовой, она дала мне удостоверение (оно и теперь еще хранится у меня) в том, что я отправляюсь в поездку по СССР в качестве переводчицы при иностранной делегации. Но на мой вопрос - куда именно мы поедем и сколько времени продлится поездка - она ничего точного не ответила. Позже я узнала, что маршрут делегаций держится в строгом секрете, и только партийные руководители о нем осведомлены.

На перроне показываются мои англичане, Игельстром и еще несколько человек. Делегаты любезно меня приветствуют. В 1926 году я была гораздо жизнерадостнее, чем теперь, а люди любят жизнерадостность.

Прощаюсь с Ваней и сажусь в вагон, не синий, а международный. В синий Игельстром сажает старика председателя Лэтэма и секретаря делегации Смита. Как потом оказывается, синий вагон - это бывший вагон императрицы Марии Федоровны. В нем имеется

большое отделение - спальня и кабинет, ванная, столовая и четыре купе. Сейчас в нем помещаются: Лэтэм, Смит, Игельстром, некий высокий, горбящийся человек с длинным носом по фамилии Слуцкий и возглавляющий нашу делегацию секретарь Центрального комитета профсоюза горнорабочих СССР - товарищ Горбачев. Это приземистый мужчина лет сорока пяти, рыжеватые волосы торчат ершиком, он полуграмотен, но, видимо, имеет большие революционные заслуги, так как держится чрезвычайно важно, еле достаивает кого-либо словом. Его презрительные свинные глазки смотрят на мир враждебно и подозрительно. Секретарь Центрального комитета союза - это очень важная шишка в СССР. На эту должность назначаются люди особенно энергичные и беспринципные, так как им приходится сплошь и рядом проводить мероприятия, которые идут вразрез с интересами членов профсоюзов. Ударничество, увеличение норм и столь модная теперь стахановщина - все это правительственные мероприятия, но проводятся в жизнь они главным образом через профсоюзы. В СССР профсоюз не только не защищает интересов трудящихся, но идет прямо-таки против этих интересов и помогает советской власти еще туже затягивать узел.

В международном вагоне поместились все остальные восемнадцать делегатов и делегатов, я и завхоз Боярский, тот самый, который хлопотал возле ящиков. Само собою разумеется, что в обоих вагонах были проводники, но мне так и не удалось узнать, кто они и что они, пока уже в 1932 году я не познакомилась с этим институтом поближе. Оказалось, что все они партийцы, часто бывшие матросы или красноармейцы, которые обязаны строго следить за тем, чтобы из делегатских вагонов ничего не украли на стоянках поезда и чтобы никто из обычного населения не

пробрался, чего доброго, в вагоны. Проводники имеют оружие и имеют право им пользоваться по своему усмотрению. В Донбассе один из наших проводников на моих глазах застрелил беспризорного...

Трое из делегатов таковыми, собственно говоря, не были. Это был Поль и его семья. Поль – английский коммунист и редактор коммунистической газеты Sunday Worker (не знаю, выходит ли она еще теперь). Его обязанность состояла в том, чтобы помогать русским «товарищам» околпачивать его соотечественников, делать по дороге снимки и отправлять во все время пути десятки телеграмм в английские газеты левого направления – о «триумфальном путешествии» английских горняков по Стране Советов. Поль был красивым, полным, краснощеким малым, который был очень не прочь пофлиртовать при всяком удобном и неудобном случае. Если бы не цербер в образе его жены, он, вероятно, не доехал бы обратно до Москвы, а застрял где-нибудь на Украине, около какой-либо смазливой русской бабенки. Но цербер был налицо, в образе худой черноволосой английской еврейки и их общего детища четырнадцатилетней Милли.

Меня поместили в четырехместном купе с тремя англичанками! Миссис Кук, миссис Честер и еще одной, фамилию которой, к сожалению, никак не могу вспомнить. В простоте своей я полагала, что мы едем дней на десять. Оказалось, что наша поездка затянулась на сорок дней и в течение этих сорока дней это купе превратилось для нас всех четырех в нашу спальню и вообще в наш дом.

Я никогда не была в Англии, и для меня было особенно интересно познакомиться поближе с бытом и нравами англичан. И я должна сказать, что никогда еще не путешествовала так весело. Если бы не бесконечные переводы с английского на русский и с русского на английский, было бы, конечно, совсем другое дело. А то

переводишь ведь буквально целый день, так что под вечер начинает казаться, что ты не человек, а какой-то бассейн, в который с одной стороны вливают фразы, а с другой выливают.

Когда я говорю, что путешествие это было веселым, надо сделать поправку на то, что вся жизнь в Советской России несказанно сера и лишена красочности. Обостренная борьба за кусок хлеба в самом буквальном смысле слова, нехватка культурного общества (ведь с эвакуацией белых в 1919 и 1920 годах Россия лишилась подавляющей части своих интеллигентных сил), ликвидация культурных навыков, ввиду невозможности применения их в советской жизни, голод, холод, перешивание занавесок в платья, одеял – в пальто, а главное, отрезанность от остального несоветского мира. До самого последнего времени иностранные газеты в СССР были запрещены, конечно, кроме Humanité, Rote Fahne и прочих коммунистических органов печати. В 1926 году никто в СССР, например, не знал о первом перелете Цеппелина через океан, об успехах в области радио, о том, как живет вообще весь остальной мир. Когда в 1928 году нам с Юрой удалось вырваться в Берлинское торгпредство и мы наняли комнату на Доротеенштрассе у милейшей фрау Бетц, Юра с ужасом прибежал утром из столовой ко мне.

– Мутик, там в ящике кто-то разговаривает.

Я вышла в столовую. Действительно, из большого полированного ящика звучал чей-то ясный и отчетливый голос, такой ясный, что Юра обязательно хотел заглянуть внутрь, чтобы удостовериться, что там никто не спрятался...

Вот какими дикарями были советские люди в 1928 году! Поездка с англичанами была как бы светлым лучом, прорвавшимся сквозь мрачные черные тучи. Вот тут, со мной рядом, были живые веселые представители одной из культурнейших наций мира. Каждый из этих

английских шахтеров был прежде всего *свободным* гражданином своей страны. В то время как мы – подсоветские в те годы редко улыбались, у англичан принцип *keep smiling* проводился в полной мере. Жизнерадостность, любопытство, почти детская восторженность от инсценированных большевиками приемов, митингов и голосований немного раздражали, немного смешили и немного умиляли. Очень часто я ловила себя на сознании, что я раздваиваюсь: с одной стороны, мне до боли хотелось сказать англичанам правду о настоящем положении вещей, с другой – какая-то безотчетная русская гордость вспыхивала и загоралась, когда они восторгались нашими просторами, нашей дивной кавказской природой, нашим гостеприимством...

Кроме того, во время поездки у меня было широкое поле для наблюдений. Сопоставление нашего русского и английского рабочего, так непохожих друг на друга, приводило к некоторым занятным выводам. Да, поездка была безусловно интересной и ярким пятном запечатлелась в сокровищнице моей памяти.

Когда поезд тронулся, оказалось, что в самый последний момент к нам присоединился товарищ Хмара. Кудрявый красавец – с русыми волосами, большими синими глазами и веселой улыбкой, он совсем не походил на обычного недоверчивого и подозрительного коммуниста. Его командировали из Харькова для приема и сопровождения английской делегации, он был представителем донбасских шахтеров. У него оказался прекрасный голос, и, хотя он ни слова не говорил по-английски, скоро между ним и англичанами установились дружеские и непринужденные отношения. Тыкая в живот мистера Лэтэма, он торжественно называл его своим другом,

мистер Лэтэм же не оставался в долгу, тоже тыкал Хмару в живот, и оба покатывались от смеха.

Для русской части делегации Хмара был источником веселья, так как знал множество украинских анекдотов, песен и стихов, половина которых была его собственного произведения. Позже я встречала в Москве сборники его стихов, а еще позже его уличили в каком-то уклоне и он был смещен с должности секретаря Украинского союза горняков и совершенно исчез с горизонта. Хмара был одним из редких экземпляров «симпатичного коммуниста».

Нашей первой остановкой должна была быть Тула. Делегаты теребили меня всякими вопросами бытового характера – сколько часов мы будем ехать, когда они смогут отправить письма в Англию, как им достать бумаги, открыток, марок, какая это станция и проч.

Через несколько минут из «царского» вагона пришли Слуцкий и Хмара, прошли в одно из купе и вызвали меня.

– Мы хотим побеседовать с делегатами, переводите.

Постепенно наше купе заполнилось англичанами. Слуцкий задавал вопросы об их профсоюзной жизни, нормах выработки, членских взносах, заработной плате. Вопросы ставились очень дипломатически, с целью натравить шахтеров на шахтовладельцев, на профсоюзных вождей. В Англии нет единой заработной платы, в каждом районе существуют свои ставки и свои законы. Слуцкий же агитировал за введение единой зарплаты. Хмара интересовался ходом забастовки, ругал предательство социал-демократических вождей, что, видимо, было не по душе большинству делегатов, так как они почти все принадлежали к лейбористской партии. Я переводила по мере своих сил, но два или три раза споткнулась на специальных терминах – а их было очень много. Внезапно Слуцкий меня поправил на

чистейшем английском языке. Я поразились: для чего же тогда ему нужен был мой перевод? И одновременно поняла, что должна держать ухо востро. И не только в его присутствии. Два делегата Уильяма и Ллойд Дэвис оказались английскими коммунистами. Не понимая ни слова по-русски, они тем не менее следили за каждым словом моего перевода и, если я допускала хоть малейшее уклонение от «марксистского анализа» и «классового подхода», они без всякой церемонии меня прерывали и поправляли.

Англичане очень интересовались советским институтом брака и развода. И вот тут-то случилось нечто, что еще больше заставило меня быть настороже. Разъясняя им, что в СССР можно в пять минут развестись и во столько же минут снова ожениться, без согласия другой стороны, я очень осторожно попробовала показать обратную сторону медали. Ллойд Дэвис внезапно прервал мои объяснения и вызвал меня под каким-то предлогом в коридор.

- Товарищ, мне кажется, что вы не член партии (not a party member). Вы только что сказали, что для женщины советский брак не очень выгоден. Я бы советовал вам быть поосторожнее в ваших разъяснениях.

Мне ничего не осталось, как уверить его, что я просто плохо выразилась. Сказать, что я действительно не party member, я не решилась. На этот раз пронесло. Но я стала чуточку умнее.

В Туле на вокзале нас ждал роскошный обед с фруктами, закусками, винами и коньяком. Пообедав, мы отправились прямо в городской театр, где губком устроил торжественное собрание, мобилизовав для этой цели весь партийный и профсоюзный аппарат и активистов со всех окружных заводов.

Нужно отметить, что маршрут английской делегации, так же как и всех рабочих делегаций, приезжающих в Москву, заранее намечается и обсуждается Профинтерном, профсоюзами и даже Коминтерном. Есть определенные зоны, куда делегаций совсем не возят, так как там показывать нечего и даже совсем наоборот, – рабочие так ненадежны, а условия так ужасны, что повезти туда иностранцев было бы очень опасно. Так, в 1932 году, перед тем как, выйдя замуж за иностранца, я выехала окончательно за границу, мне пришлось опять работать с делегациями. И вот в мае 1932 года делегатов ни на Магнитострой, ни на Урал уже не возили. Больше того, количество делегатов было сильно сокращено и маршруты стали значительно короче, ограничиваясь трафаретным Кисловодском, перед которым никто, конечно, устоять не может.

Итак, мы – в тульском городском театре. На сцене – длинный стол, покрытый красным сукном, сзади огромные плакаты с приветственными надписями и революционными лозунгами на английском языке. Полосы из белой материи с аналогичными надписями прикреплены к краям лож и балкона. Делегацию вводят на сцену, где она занимает места рядом с партийными и профсоюзными сановниками. Начинаются речи, бесконечные, трафаретные, скучные. Один за другим на сцену всходят делегаты заводов и предприятий, приветствуют делегатов, ругают «капиталистических акул», восхваляют советские достижения – бедные и жалкие достижения. Все эти речи произносятся казенным голосом, вот вроде радиопередач из Москвы, которые теперь приходится слушать. Все речи заканчиваются просьбой рассказать там в далекой Англии всю правду о том, что делегаты увидят в Стране

Советов и, таким образом, опровергнуть ту ложь, которую распространяют буржуазные газеты об СССР.

Этот лейтмотив о «всей правде» повторялся во все время нашей поездки тогда и повторяется до сих пор. Это довольно нехитрый трюк, на который, к сожалению, попадают многие из иностранных делегатов.

Англичане встают, отвечают на речи, мы с Игельстром переводим. Их речи намного оригинальнее, живее, разнообразнее, и переводить их гораздо сложнее. Русские же все на один манер, с небольшим вариациями. Под конец собрания театр вдруг разразился особенно бурными аплодисментами; десять делегатов с самоварного завода прошли через зал, держа в руках каждый по два блестящих никелевых самовара. Эти самовары были поднесены англичанам на память. Надо было видеть их радость. Миссис Честер снова утирала слезы, остальные клялись хранить самовары до конца жизни.

Это была одна из взяток советской власти представителям английского пролетариата...

После собрания – ужин. Столы буквально завалены закусками, икрой, балыком, семгой, всякими деликатесами, которых я уже давно не только что не едала, а даже и не видала.

Впрочем, я скоро перестану удивляться. В течение всех сорока дней нашей поездки делегацию кормили и поили до отвала. Большинство англичан переболело по три-четыре раза желудком. Нам – переводчицам – много пить не полагалось, так как мы должны были всегда быть готовы переводить тосты. Но делегаты и делегатки находились почти перманентно в состоянии легкого подпития. При таких условиях легче не заметить многих зловещих фактов, не так ли?

Ужин протекает очень медленно. Произносятся бесконечные тосты. Только самые ответственные коммунисты принимают в нем участие. Англичане пьют

за здоровье «русских товарищей», сперва за Горбачева, потом за Хмару, потом за Слуцкого. Каждый раз, как чествуемому подносят бокал, англичане затягивают традиционную песенку.

For he is a jolly good fellow, for he is a jolly good fellow,  
For he is a jolly good fellow, and so say all of us<sup>[8]</sup>.

Потом, под влиянием революционных тостов с советской стороны, - а нужно отдать товарищам справедливость, они даже в пьяном виде ни одного тоста не произнесут без революционного смысла, - англичане хотят похвастаться тем, что и у них есть революционные песни. И вот они поют милую старую песенку о Мэри и ее ягненке, причем первая, вторая, пятая и шестая строчки остаются традиционными, а третья и четвертая, седьмая и восьмая претерпели революционные изменения. Песенка эта имеет такой вид:

Mary had a little lamb  
With feet as white as snow,  
Shouting out the battle cry  
Of freedom.

And everywhere, where Mary went,  
The lamb was sure to go,  
Shouting out the battle cry  
Of freedom.

Hurra for Mary, hurra for the lamb,  
Hurra for the bolshi-boys,  
Which don't care a damn!<sup>[9]</sup>

Уж если дойдет до песен, то тут русский человек, к какой партии он бы ни принадлежал, в грязь лицом не ударит. Начинают петь «Дубинушку», «Стеньку Разина», «Мы – кузнецы». Приходится переводить слова этих песен англичанам, английских песен – русским.

Председатель губернского комитета партии спрашивает заплетающимся языком англичан:

– Когда же вы сделаете у себя там революцию? Короля-то вашего давно надо бы по шапке, а? Вот смотрите, как у нас хорошо живется, и чего вы смотрите. Товарищи, за английскую революцию, ура!

Я перевожу этот спич. Англичанам становится обидно: что же, в самом деле их будут учить революционности. Вот смотрите какие у нас еще есть песни. И они поют песню о том, как они повесят на «кислой яблоне» и Макдональда, и Джимми Томаса, и Хикса (теперь уже покойного), когда придет революция.

We'll hang Jimmy Thomas on  
The sour apple-tree  
We'll hang Jimmy Thomas on  
The sour apple-tree  
When the revolution come.

Припев:

Solidarity for ever, solidarity for ever,  
Solidarity vor ever, for the union keeps so strong, —

подхватывается всеми англичанами.

– Что, что такое они поют? – интересуются русские коммунисты. Игельстром переводит.

Мы повесим Джима Томаса на кислой яблоне,  
Когда придет революция.

Солидарность навеки,  
Солидарность навеки,  
Потому что в единении сила...

На большевистский вкус эта песенка довольно-таки пресная и совсем не кровожадная. Товарищи начинают отпускать по адресу англичан весьма презрительные и недвусмысленные замечания, но их вовремя берет на узду Горбачев. Мрачно и внушительно он кидает:

- А ну-ка легче на поворотах.

Поздней ночью развеселой гурьбой делегация возвращается в свои вагоны. Рядом с нашим «дамским» купе помещаются четверо англичан, из которых один - представитель Кентского графства, особенно сильно на взводе. Он долго стучается головой в смежную с нами стенку и сочно проклиняет на самом зернистом жаргоне все и вся.

Мои англичанки страшно шокированы.

- What a shame!<sup>[10]</sup>

Понемногу все затихает. Мерно стучит поезд.

- Sleep well. Sweet dreams!<sup>[11]</sup>

Утром прибыли в Харьков. На перроне стояли представители украинского правительства, Центрального комитета горняков Украины, Харьковского горкома и пр. Делегацию провели в бывшие царские покои, а затем к выходу. И тут нашим глазам представилось неожиданное зрелище; вся огромная площадь перед вокзалом была запружена народом. Большевики решили встретить делегацию с помпой и согнали на площадь делегации от всех больших харьковских заводов. Ну а обычные зеваки всегда и везде найдутся. Как только делегаты показались на перроне - раздались звуки Интернационала. Играл большой оркестр одного из

заводов. Делегаты были видимо польщены; председатель Лэтэм и секретарь Смит произнесли приветственные речи. Переводила Игельстром. Я так до конца поездки и не смогла понять Лэтэма, его акцент остался для меня вечной загадкой. И поэтому, когда он начинал говорить, я в панике пробиралась к Софье Петровне и умоляла ее перевести его речь. И она всегда помогала.

После речей с той и с другой стороны нас обступили фотографы и засняли со всех сторон. Вообще, нужно сказать, что эта английская делегация была в особом фаворе.

Нас фотографировали на протяжении всего пути. Снимки поступали в ведение горкомов и губкомов и оттуда направлялись в Москву. К моменту отъезда делегации в Англию каждому участнику ее был поднесен красивый альбом в кожаном переплете, состоявший из фотографий с надписями – когда и где они были засняты. Переводчицам такого альбома, несмотря на их просьбы, получить не удалось. Как мне писали потом делегаты, альбомы эти хранятся у них, как одно из самых ценных воспоминаний. А самовары стоят в виде украшения на видном месте в их квартирах и напоминают им о далекой экзотической стране и о феерической поездке по Кавказу и Закавказью.

В Харькове снова было большое собрание в городском театре. На этот раз мы остановились в гостинице, а не в вагонах, так как должны были провести в столице Украины два дня. Вечером нас повезли в театр, на следующий день делегация разделилась на две части, одни осматривали город, машиностроительный завод; другие посетили детские ясли; третьи, наиболее уставшие, остались отдыхать в гостинице. На следующий день вечером мы выехали в Донбасс.

Делегаты относились чрезвычайно серьезно к своей миссии. У всех были блокноты, в которые они старательно записывали буквально все, что они видели и где они были. Они вели дневники, а кроме того, одному Боярскому известно, сколько сотен открыток отправили англичане за свою поездку домой. Англичанки писали своим мужьям не только ежедневно, но иногда и по два-три раза в день, не считая еще нескольких открыток и писем, которые они отправляли всем своим друзьям и знакомым в Англии и в колониях. Вся эта корреспонденция оплачивалась советскими денежками. Боярский закупал марки целыми тетрадами. Письма отправлялись в Москву, там перлюстрировались (об этом я узнала тоже намного позже) и затем только те, которые выражали благоприятные для СССР настроения, доходили до адресатов. С другой стороны, советская власть следила и за тем, что писали англичанам с их родины. Так, например, письма к миссис Кук от ее мужа приходили всегда с заметным опозданием и она вечно тревожилась и даже плакала. Когда наша поездка затянулась, потому что после грязного и нищего Донбасса большевики решили загладить впечатление и повезти делегатов в Кисловодск, а потом в Грозный, Тифлис и Баку, - Великобританская федерация горняков в Лондоне заволновалась таким затянувшимся путешествием и стала бомбардировать Лэтэма и Смита телеграммами о скорейшем возвращении в Англию, - я сама была свидетельницей, как телеграммы эти исчезали в карманах невозмутимого бандита Горбачева, и англичане о них так до самого отъезда ничего и не узнали.

## По Донбассу

Под звуки Интернационала, провожаемая целой толпой харьковских коммунистов, делегация отбывает в Донбасс. Теперь в течение двух с половиной недель нам суждено жить исключительно в наших вагонах, выезжая только на осмотры шахт и для посещения митингов.

Но здесь, в Донбассе, делегация соприкоснется почти вплотную с живыми рабочими. Поэтому штат делегации увеличен. К нам посадили еще четырех человек, по-моему, чекистов. Двое из них понимают по-английски и следят за каждым движением делегатов и за каждым словом переводчиц. Я чувствую себя стесненной в самых мелких вопросах. До сих пор мне удавалось в моих переводах оставаться более или менее нейтральной, то есть опускать особенно наглые восхваления советского режима, переводить, так сказать, «вольно». Теперь от меня требуют точных переводов.

Необходимо отметить один, не лишенный интереса, факт. Иностранные рабочие делегации очень редко имеют возможность посетить рабочие районы СССР: Донбасс, грозненские и бакинские нефтяные промысла и др. Обычно маршрут рабочих делегаций охватывает крупные центры – Ленинград, Москва, Харьков, а затем, для того чтобы расположить их еще более в свою пользу, большевики везут их либо в Крым – «жемчужину СССР», либо на Кавказские Минеральные Воды – «всесоюзную здравницу», либо, в особо торжественных случаях, как было с Андре Жидом, – в Сочи и на Черноморское побережье. Чисто рабочие центры тщательно избегаются, и если некоторым делегациям посчастливилось посетить Днепрострой и

Магнитострой, то в последние годы эти гиганты объезжаются за тысячи километров. Делается это с той целью, чтобы делегации получили максимум благоприятных и разнообразных впечатлений. Обычно весь день делегации заранее размечен и ей стараются показать возможно больше разных вещей, не давая продумать и осознать полученных впечатлений. Мне приходилось в течение моей дальнейшей работы с делегациями часто слышать: «Дайте же нам хоть немножко отдохнуть. Нам нужно записать то, что мы видели!»

Но не тут-то было! Пестрой вереницей проносятся эти впечатления, делегатов гоняют, как стадо баранов, с одного конца города в другой, из дворцов и музеев – на заводы, из школ и ясель – в театры. Иногда делегаты заболевают от переутомления.

Главное, чтобы они поменьше сталкивались с действительной советской жизнью, чтобы им поменьше попадались на глаза рабочие и крестьяне, с которыми им захотелось бы поговорить. Побольше красот природы – уж тут-то она, матушка, вывозит! Выходит как-то так, что иностранцы совершенно забывают о том, что Кавказ и Крым существовали и до большевиков. А большевики пользуются этим и кичатся этими самыми красотами, как своими достижениями. Вот где у вас в Англии такие горы, как наш Эльбрус или Казбек? Такое синее южное море, такие целебные источники?

И выходит, что маршрут всех делегаций, приезжающих на первомайские или октябрьские торжества, почти тождественен. С.П. Игельстром признавалась мне, что она Кисловодска видеть больше не может: за три года она ездила туда с делегациями и с отдельными делегатами, вроде мистера Страчи из Лондона, – *двенадцать раз*.

Делегация английских горняков была, как я уже говорила, на особом положении. Она была официально

прислана Советом трейд-юнионов и должна была соприкоснуться с советскими горняками всех видов и районов, чтобы поблагодарить их и просить о дальнейшей помощи.

Я не совсем хорошо осведомлена о тех директивах, письменных, телефонных и телеграфных, которые были даны «на места» из Москвы в Харьков, Ростов, Тифлис и пр. об организации приема нашей делегации, но должна констатировать, что в этом отношении организация у большевиков действует на ять. Повсюду нас встречали «рабочие массы», везде устраивались «импровизированные митинги», всюду из рядов рабочих выступали «сами по себе» подставные активисты и произносили «экспромтом» продиктованные и зазубренные приветствия. И наконец – признак величайшего благоденствия населения, – везде были готовы лукулловские завтраки, обеды и ужины, банкеты с коньяками и шампанским. Когда Бернард Шоу, по дороге из Ленинграда в Москву, выбрасывал, как он сам потом об этом писал, из окна вагона продовольствие, данное ему с собой заботливыми родными еще из Англии, ему и в голову не приходило, что население Советской России, представлявшейся ему страной молочных рек и кисельных берегов, голодает в буквальном смысле этого слова. А ведь это был Бернард Шоу... Что же тогда говорить о простых неискушенных пролетариях? Однако, как это ни парадоксально, эти самые пролетарии сплошь да рядом замечают то, чего не заметил ни Бернард Шоу, ни Лаваль, ни сам Эррио. Но об этом позже, Выехав из Харькова, мы стали колесить по Донбассу и раньше всего посетили интереснейшие соляные копи близ Артемовска, с их длинными подземными туннелями и огромными залами-храмами, с их соляными столбами и сталактитами, сверкающими мириадами разноцветных огней. Эта соляная шахта произвела на англичан неизгладимое

впечатление. Потом мы были в шахтах Горловки, Кадиевки, Рутченкова и Юзовки. Из всех шахт особенно запомнилась Рутченковская, знаменитая своими крутыми угольными пластами и спусками.

## В шахте

Утро. Серое осеннее донбасское утро. Кругом степь, грязь и уныние. Даже ряды новых, построенных уже при советской власти шахтерских домиков не могут сгладить впечатления нищеты и покинутости. Эти домики, «коттеджи», как их гордо называют большевики, построены без всякой любви и комфорта. Мы зашли в один такой домик. В каждой из его трех комнат жило по рабочей семье. Спят, очевидно, вповалку на полу, так как никакого следа кроватей мы не заметили. В углу, вместо иконы, – портреты вождей. А на полу, около стены – лужа. Мистер Вольтон, наиболее придирчивый и пытливый из делегатов, попросил меня перевести для него несколько вопросов к стоявшему тут же шахтеру.

– Сколько у вас детей?

– Трое.

– Сколько вы получаете в неделю?

– Как когда, смотря по выработке, от 25 до 40 рублей.

– А что это за лужа у вас на полу?

– Крыша протекает. Уж мы просили рудничное управление починить, да вот так и приходится жить. Весной прямо всю комнату заливает. Товарищ, может, вы замолвите словечко там перед начальством, а то вот у жены ревматизм, все ноги распухли.

Шахтер решил, что это к нему пришли какие-то важные гости. Еще бы, разве можно было в этих хорошо одетых, рослых господах заподозрить своего же брата рабочего.

– Ну а вы довольны своей жизнью?

Этот наивный вопрос, к сожалению, так и не получил ответа. Вмешался один из наших новых

сопровождающих. Он покровительственно похлопал бедного шахтера по плечу и, смеясь, заявил:

- Ну еще бы не доволен. Ведь не то, что при проклятом царском режиме было. Теперь тебе и клуб, и отпуска. Правда ведь, Гаврильченко?

Тот понурил голову.

- Да, оно конечно, но только вот жалованья маловато. Но делегацию уже вывели и потащили на шахту. Там нас повели к кабинкам, где мы должны были переодеться в шахтерские брюки и куртку. В каждой кабинке был диванчик, ванна или душ, вешалка, чистое полотенце и кусочек мыла. Нам сказали, что это рабочая баня. Потом я узнала, что это баня специально для директора, его помощников и инженерного состава. Для рабочих существуют другие бани, грязные и холодные бараки, да и то далеко не на всех шахтах. Кажется, только 30 процентов всех шахт Донбасса имеют бани для рабочих. Тот, кто спускался в шахту и видел тяжелую работу под землей, угольную пыль, пот, копоть, тот знает, какой насущной необходимостью является для шахтера даже простая баня, не говоря уже о благоустроенной.

И вот мы все ждем в надземном помещении шахты, пока за нами поднимется «клеть». Мы все одеты, как шахтеры, только лица и руки у нас чистые. В руках – шахтерская лампочка, которая вообще является символом горняка. Большевики заказали для всех делегатов серебряные миниатюрные шахтерские лампочки и поднесли им при отъезде на память. Одна из этих лампочек долго хранилась и у меня.

«Клеть» – это лифт, но только в самой примитивной отделке. Стенки сделаны из плохо сколоченных досок, на полу слой жидкой грязи. Спускают по восемь человек. Вот и моя очередь. Дверцы захлопываются, и с головокружительной быстротой мы летим в бездну. В ушах образуется как бы пробка. Горняки к такому

быстрому спуску привыкли, и один из англичан рассказывал мне, что, когда он – это было уже очень давно – десятилетним мальчиком поступил на шахту, у них был обычай таких маленьких новичков спускать в первый раз особенно быстро. Нужно сказать, что ощущение из сильных и не очень приятных.

Вот мы и внизу. Там уже ждут несколько русских: директор шахты, инженеры и штейгера из активистов. Подъезжает поезд с маленькими вагонетками без крыш. Обычно в них перевозят уголь. Нас усаживают в вагонетки, коногоны орут диким голосом, погоняют лошадей, и поезд уносит нас по узкоколейке куда-то в неведомую тьму. Туннели, переезды, снова туннели, наконец поезд останавливается. Лошадки стоят понуро, и я вижу, что они... слепые. Оказывается, шахтенных лошадей никогда не выпускают на свет до самой смерти. Без солнца они слепнут...

Но спуск наш еще не кончился, теперь надо было спускаться пешком, или, вернее, ползком. Очень крутые пласты и очень низкие проходы, причем приходилось спускаться на четвереньках, нащупывая под собой следующую зарубину, на которой можно было бы укрепить ногу. Тут же в шахте я крепко стукнулась виском об угольный угол, пошла кровь. Горняки смеялись: вот теперь будет метка на всю жизнь. Оказывается, действительно, осталась метка – синенькая жилка и до сих пор у левой брови. Горняки обычно узнают друг друга по таким меткам. Угольная пыль при малейшем ранении в шахте заходит под кожу и остается навсегда. Своего рода татуировка.

Спуск был тяжел. Мне стало очень душно, не хватало воздуха. Внизу грохотали врубовые машины и автоматические сверла. Полуголые, потные, грязные шахтеры каторжным трудом зарабатывают свой кусок хлеба. И подвергают каждую минуту себя смертельной опасности. Недаром в Германии шахтерское

приветствие звучит: «Glück auf!» Действительно, надо желать счастья всякому спускающемуся в подземное царство. Неизведаны и жестоки его законы. И недаром горняки во всех странах наиболее тесно спаянный цех рабочего класса. Наибольшее количество забастовок падает именно на горняков.

Раздался страшный гул, взрывали динамитом пласты. Делегаты очень интересовались техническими вопросами, толщиной пластов, электровозами, которые теперь как раз стали входить в Донбассе, и условиями труда... Вдруг слева появилась женщина-коногон. Наши англичане насторожились.

- Oh, samgrade Tamara, один вопрос. Допускается ли в советских шахтах женский труд?

Я перевела вопрос директору шахты. В его глазах на минуту промелькнуло смущение, но он тотчас же ответил:

- Нет, у нас женщины под землей никогда не допускаются к работе.

- Oh, well, но вот там только что прошла женщина с лошадью.

Я вопросительно посмотрела на директора. Как-то он теперь выкрутится?

- А это так, случайно... Она принесла мужу завтрак, и он попросил ее повести лошадь на водопой.

- Странно, очень странно. Ведь в Англии женщины никогда не допускаются под землю.

На этот раз пронесло... Позже я узнала, что и в этой шахте, и на соседних, и вообще во всем Донбассе женщины работают под землей наравне с мужчинами. А в последующие годы женский труд стал применяться в совершенно неслыханных размерах. Англичан, конечно, обманули самым нахальным образом. Но думаю, что у них все же зародилось сомнение по поводу женщины, принесшей завтрак своему мужу.

Усталые и грязные поднялись мы на-гора (как называют поверхность русские горняки). Клеть на минуту задержалась, и мы стояли у сквозных дощатых стенок ее и смотрели, как мимо проходила новая смена. Одетые в лохмотья, в рваные гимнастерки и брюки, горняки мрачно и недовольно смотрели на английских делегатов. Мистер Джойс улыбнулся, крикнул им что-то и показал золотые зубы.

- Ишь, сволочь, во рту золото носит, а мы с голодудохнем.

У меня захолонуло внутри. Ведь правда, совершеннейшая правда. Разве можно сравнить этих сытых, почти холеных английских рабочих с нашей советской голытьбой?

Но англичанин, конечно, не понял этого восклицания. Он подумал, что это приветствие и ответил:

- Good luck, comrades, good luck!

## Санитария и гигиена

После того как делегаты, вооруженные карандашами и блокнотами, серьезно и внимательно прослушали ряд разъяснений, данных директором и главным инженером по вопросам насчет заработной платы, норм выработки, размера добычи, отпусков, пенсий и пр., мы отправились в инженерный клуб обедать. И тут произошел первый прискорбный случай... Первый, потому что такие же случаи стали потом происходить все чаще и скоро перестали быть сенсацией... Это случай с... уборной. Среднему европейцу, а особенно англичанину, трудно представить себе, как примитивны в Совдепии санитарные учреждения. Как я уже говорила, во все время поездки мне пришлось заботиться о шести англичанках, и они ходили за мной, как цыплята за наседкой. Перед обедом они захотели «прогуляться». Мы вышли в садик, и я стала искать подходящей постройки. Нечто похожее маячило из-за далеких деревьев. Мы направились туда, причем я имела неосторожность не произвести сперва необходимой рекогносцировки. Миссис Кук, как раз наиболее беспомощная и избалованная из всех моих ледей, прошла в постройку первая. Раздался полный ужаса крик, и она пулей вылетела обратно. С ней сделалась рвота. Остальные англичанки поспешили узнать, в чем дело, и целый поток возмущенных английских возгласов разъяснил мне причину их негодования. Пришлось на этот раз, как, впрочем, и в последующие, довольствоваться просто лоном природы.

Когда через пять недель англичане покидали СССР и составляли обращение к правительству, так называемую декларацию, ни Слуцкому, ни Горбачеву,

ни целой плеяде видных коммунистов не удалось заставить их выбросить из декларации следующую фразу: «Необходимо признать, что санитарные условия во всех рабочих районах, которые мы посетили, крайне негигиеничны и требуют немедленной реформы».

По этому поводу мне вспоминается, между прочим, и такая сценка.

Время - 1932 год. Место действия - Дворец труда. Кабинет генерального секретаря Профинтерна, товарища Лозовского. Товарищ Лозовский беседует с американской делегацией. Высокие, чисто выбритые, краснощекие американцы благоговейно взирают на руководителя международного профсоюзного движения и тщательно записывают в блокноты его, порой остроумные и меткие, порой просто нахальные ответы на их вопросы.

И вот, один из американцев решается задать еще один вопрос:

- Почему во Дворце труда так антигигиенично устроены уборные, что за сто шагов уже знаешь, где они находятся?

Мы все - переводчицы и референты - затаили дыхание и ждем: что-то ответит «сам»?

«Сам» Лозовский, засунув большие пальцы в кармашки жилета, откидывается в кресле, обводит американцев насмешливым взглядом и говорит:

- Мы предпочитаем иметь вонючие уборные, но власть Советов, чем иметь чистые уборные и быть под пятой у буржуазии.

Секунда недоуменного молчания. Затем взрыв аплодисментов. Лозовский победоносно оглядывается на Кастаньяна и других коллег-профинтерновцев.

На следующий день, в шесть часов вечера, Горбачев подозвал меня к себе и, почему-то лукаво подмигивая, сказал:

- Баня готова. Ведите своих «институток».

Оказалось, что шахтное управление решило побаловать англичан настоящей русской баней. Несмотря на то что в «царском вагоне» была ванная, Горбачев решил почему-то никого в нее не пускать, так что потребность вымыться была большая. Сообщение о бане произвело среди англичан сенсацию. Перед отъездом из Англии им рассказывали всякие «клюквы» о России и, между прочим, что-то говорили о «русской бане».

Но дело оказалось не так просто. Мы уже четверть часа в предбаннике, я прошу делегатов раздеваться, доказываю им, что им совершенно нечего стесняться, что мужчин здесь ведь нет. Все безуспешно. Они не привыкли раздеваться в месте, где находится несколько человек. Где же кабинки? Разъясняю, как только могу, что в русской бане и раздеваются, и моются вместе.

- Oh, how shocking!

Нет, они ни за что не будут купаться вместе. Это quite impossible. Это совсем не принято в Англии, и они стесняются. Особенно миссис Кук.

Видя, что уговоры мои не действуют, начинаю с живого примера. Раздеваюсь под их шокированными взорами, выхожу в баню и оставляю дверь открытой. Беру шайку, наливаю воды, начинаю мыться. Через минуты три слышится придушенное хихиканье, переходящее в звонкий и откровенный смех. Самая молодая из моих «институток», миссис Джонсон, делегатка Нортумберлэнда, и ее подруга миссис Грэй, решили в конце концов последовать моему примеру. Разделись и такими Венерами стоят в уголке банной комнаты. Я решаюсь на еще более энергичные действия, хватаю шайку с водой и выливаю на них. Смех, визг, но лед проломан, и скоро мы все моемся

вовсю. Повела их в парную, остались очень довольны. Вспоминают небось и до сих пор.

После Горловки – Сталино, после Сталино – Юзовка. Везде одна и та же картина. Везде встречи, митинги с однотипными речами, везде угощения, банкеты с просьбой рассказать «там, за границей», всю правду о Советской России, везде нам показывают лачуги и землянки, в которых-де жили горняки при кровавом царском режиме и «коттеджи», вроде описанного мною выше. Но чем дальше мы колесим по Донбассу, тем более щелок для «познания» советской жизни.

## Беспризорные

Одной из таких щелок оказался тот факт, что мы жили в вагонах. По утрам на остановках англичане, как правило, выходили на площадку чистить себе ботинки. Никто из «начальства» не обращал на это особого внимания. Я же, как спавшая в одном купе с делегатками, заметила, что они куда-то таскают бумажные пакетики с остатками завтрака, обеда или ужина и очень при этом секретничают. Выхожу как-то следом за миссис Грэй и вижу, как она сует пакетик куда-то под вагон, а оттуда протягивается черная замурзанная детская рука. Ага, вот в чем дело! Беспризорные! Их крутилось всегда много в те и в последующие годы на железных дорогах, но я была так занята, что как-то не имела времени выходить из вагона и поэтому не заметила, как много их собралось как раз у наших вагонов. Они прятались большей частью под буферами и около колес, а когда видели англичан, – просили у них хлеба. Сердобольные англичане давали, но, очевидно, думая, и совершенно правильно, что ребят будут преследовать, старались о них ничего не спрашивать и их не выдавать. Установился, так сказать, немой контакт. Я, разумеется, тоже ничем не выдала того, что я видела. Наоборот, это было очень хорошо: англичане сами увидели хоть частичку оборотной стороны того, что им показывали.

Так прошло несколько дней. В одно прекрасное утро миссис Грэй влетела в купе, страшно возбужденная и бледная. Бросилась на свое место и разрыдалась.

– Что с вами? Что случилось?

Рыдания были ответом. Так и не смогла я ничего от нее добиться. А в тот же вечер С.П. Игельстром

сообщила мне под строгим секретом, что проводник Сергей, который ехал с нами от самой Москвы, застрелил одного беспризорного, причем, один англичанин видел, как остальные беспризорники уволокли трупик... Теперь Сергея сняли с работы за «бестактно проведенную операцию».

Вся эта маленькая эпопея нашла затем свое отражение в той же финальной декларации, где англичане выражали свои пожелания к «большей заботе о бесприютных детях».

А второй щелкой было то, что в рабочих районах англичанам все же приходилось сталкиваться более близко с русскими рабочими. На одной из станций, где мы не должны были высаживаться, был предположен летучий митинг, то есть англичане должны были произнести речи из окна вагона во время стоянки поезда. Рабочие стояли плотной толпой под нашими окнами, так что свободно можно было дотронуться рукой до их голов и плеч. Мистер Вольтон стал держать речь. Вдруг несколько рабочих крикнули:

- Да какой это рабочий! Воротничок, галстук, тоже рабочий!

Я перевела это замечание делегатам, сгрудившимся около окон. Вольтон моментально сорвал с себя и галстук, и воротничок.

- Товарищи, верьте мне, я такой же простой рабочий, как и вы.

Игельстром громко перевела его слова. Толпа довольно заворчала. Вдруг в окно влетела сложенная вчетверо записка. Кто ее бросил, я не видала. Стоявший со мной рядом делегат наклонился, развернул ее. Протянул мне:

- Что там написано?

В записке неровным почерком было выведено:

«Товарищи агличани, вас усе обманують. Нам сдесь советская власть веревку на шею надела, никакой жисти нету. Помогите, братишечки, расскажите там у вас в Англии, что мы здесь зря погибаем».

- Ну что же вы не переводите, товарищ Солоневич?

Я оглянулась. Плечо к плечу со мной стоял Слуцкий. Он, оказывается, все время был тут и прочел записку одновременно со мной. У меня замерло сердце. Что же мне делать? Как перевести?

Должно быть, Слуцкий и в самом деле прочел на моем лице возможность провала. Он спокойно взял у меня записку из рук и сказал англичанину:

- Это наши горняки вас приветствуют, товарищ. И жалеют, что вы тут не остановитесь.

Все это было делом нескольких секунд. Не знаю, заметил ли англичанин мое смущение, но после этого маленького случая он избегал при Слуцком задавать мне какие-либо «вольные» вопросы.

## **С.П. Игельстром**

Наконец блуждание по Донбассу кончилось, и мы приехали в Ростов. Нас приняли очень хорошо и отвезли в лучшую гостиницу города. Англичанок разместили по номерам, а мы с Софьей Петровной очутились наконец совершенно одни в отдельной большой комнате. Это было первый раз за все три недели, что я имела возможность познакомиться с ней поближе. Должна сказать, что, с самого начала и до самого конца нашего с ней знакомства она мне непрерывно импонировала и очень нравилась. Но она и по сей день осталась для меня загадкой. Поскольку я работала с постоянным желанием нанести вред большевикам по мере своих сил, поскольку я ненавидела большевистский режим и чувствовала себя тягостно, а иногда и отвратительно, постольку Софья Петровна работала не за страх, а за совесть, как настоящая идейная большевичка, и чувствовала себя среди большевистского бесправия и обмана как рыба в воде.

Я не сразу узнала ее биографию. Мы об этом совсем не говорили. Но я чувствовала всем существом своим, что она из очень культурной семьи. В детстве у нее были гувернантки, она училась в институте, бывала раньше за границей. Высокая, стройная, с девичьей фигуркой, с мягкими красивыми манерами, с никогда не повышающимся голосом, бесконечно выдержанная, она так не подходила к окружавшей нас обстановке, что мне порой страшно становилось. Точно пава в гнезде ворон. Больше того, за все годы большевизма я не встречала в России женщины более аристократического вида. Были среди наших знакомых аристократы, графы и князья, и все они стремились всеми силами отделаться от своих прежних манер, стушеваться. Это

было нечто вроде мимикрии. Они не мылись, не брились, ходили в рваных башмаках, употребляли народные выражения, старались стать пролетариями, чтобы никто не узнал их происхождения, чтобы никто их не мучил. Софья же Петровна, изящно одетая, слегка манерная и аристократически небрежная, проходила среди наших «товарищей» как царица. И импонировала не только мне, а всем.

Работа ее с делегациями должна была бы, по моему мнению, оплачиваться большевиками на вес золота, так как она не моргнув глазом рассказывала делегатам такие явные небылицы, которым, исходи они из других уст, англичане никогда бы не поверили. А ей *приходилось* верить. И в этом была ее большая польза для большевиков и великая опасность для врагов большевизма.

С самым искренним видом она говорила о все растущем благосостоянии народных масс, об ужасном иге царизма, о советских достижениях, о необходимости раскрыть глаза мировому пролетариату на паутину лжи, ткущуюся иностранной буржуазной прессой и проч. Сперва я обалдела. Я искала в ее глазах хотя бы искорки иронии, но ее не было. Наоборот, взор ее был ясен, голос ровен. Казалось, что это миссионерша, просвещающая негров *ad majorem Domini gloriam*. Казалось, что она сама глубоко верит в то, что говорит.

В самом начале, думая, что, как и все интеллигенты, она тоже против советской власти и притворяется так же, как и я, я сказала что-то о наивности англичан и о нахальстве наших «товарищей». Софья Петровна посмотрела на меня строго и ответила, что для торжества мировой революции все меры хороши. Я так изумилась, что больше этого вопроса не поднимала.

Горбачев и Слуцкий оттого и поселили Софью Петровну с собой в царском вагоне, что она была там им очень полезна. Они всю дорогу «обрабатывали» председателя делегации Лэтэма и секретаря Смита. Эти старые профсоюзные функционеры твердо стояли на платформе лэйбористской партии и трейд-юнионов. Их надо было так повернуть, чтобы они в конечной резолюции и в интервью с корреспондентами газет выразили бы порицание своим социал-демократическим вождям и похвалу советским достижениям.

Заседания «ячейки» происходили почти ежедневно, но меня на них – Боже упаси – не приглашали. Там орудовала Софья Петровна. Там же присутствовали делегаты – английские коммунисты, они всецело подчинялись директивам русских товарищей, а Софья Петровна переводила, переводила без конца. Иногда заседания ячейки продолжались целую ночь. Тогда днем Софье Петровне разрешали спать, а на меня ложилась двойная нагрузка. Одно время я думала, что Софья Петровна коммунистка, и как-то решилась у нее об этом спросить. Оказалось, что она очень хочет поступить в партию, но что ее пока не принимают из-за ее дворянского происхождения.

Тут, в Ростове, Софья Петровна поверяет мне свою тайну. Хотя она замужем, она любит одного испанца, причем все трое – муж, она и испанец – живут вместе, в одной комнатке, в четвертом доме советов, бывшей гостинице «Деловой двор», близ Дворца труда. Комнатку эту Софья Петровна получила в 1924 году с большими трудностями, по приказу самого Томского, который был тогда еще генеральным секретарем ВЦСПС. Комнатка – я потом в ней бывала – длинная и узкая, в одно окно. На ночь раскладывается походная кровать для мужа Софьи Петровны, она спит на кушетке, а испанец Иезус Ибаньес – наверху, в нише

для чемоданов. Выпрямиться он там никак не может, потому что ниша всего в полтора метра вышины.

Здесь, в Ростове Софья Петровна лихорадочно ожидает первого с нашего отъезда письма от Ибаньеса. Приносят почту. Мы все получаем давно жданные письма, я – от своих Вани и Юры, англичане от своих родных и знакомых, а Софья Петровна – от испанца. Она жадно вчитывается в его письмо и по временам смеется. Оказывается, он пишет ей по-русски. А в России он недавно и учится под ее руководством.

Несмотря на десять лет, которые прошли с того ростовского вечера, я как сейчас вижу перед собой ее раскрасневшееся лицо, когда она читает мне для демонстрации его познаний последнюю фразу:

– Я ты много лублу. А сиводни я спал плохо, воеваль немночко с клопых.

Оказывается, что и в четвертом доме советов клопов такое множество, что обитатели не могут спать. Это «воеваль немночко с клопых» долгое время было поводом для веселья у нас с Софьей Петровной.

То, что я сейчас описываю, повредить Софье Петровне никак не может. За эти годы произошло многое, что изменило и ее работу, и ее жизнь. Несмотря на ее необычайную преданность большевикам и идее мировой революции, в 1930 году, во время чистки произошла такая сцена.

Большой зал во Дворце труда. Идет чистка профсоюзов. В президиуме сидят видные коммунисты и делегаты от фабрик и заводов. В зале человек пятьсот согнанных с тех же заводов рабочих, которые должны присутствовать при том, как из профсоюзного аппарата изгоняют «примазавшихся», «обюрократившихся» врагов рабочего класса. Председатель вызывает;

– Товарищ Игельстром.

На эстраду выходит стройная женщина. Следуют обычные вопросы о месте рождения, о возрасте, о

занимаемой должности, о политических взглядах. И наконец, среди общего молчания падает, как камень, вопрос:

- Кто был ваш отец?

- Офицер.

- А, офицер? Да, верно, у вас так и во всех анкетах стоит. Но только не скажете ли вы нам, какую должность он занимал.

Легкая заминка. Потом:

- Он был генералом.

- Генералом? Так, так. Но это все-таки не должность. А не был ли он генерал-губернатором в Варшаве?

- Да, был.

Ответ звучит тихо и безнадежно.

- И вы все эти годы скрывали, что ваш отец занимал такую должность, расстреливал рабочих и крестьян. Вы даже имели наглость работать переводчицей при иностранных делегациях и теперь надеетесь, что вам удастся и дальше нас обманывать. Товарищи рабочие, вы видите, как классовый враг ничем не гнушается, чтобы влезть к нам в доверие. Вы видите, какие гады проползают в нашу среду и, притворяясь одним из наших, продают дело рабочего класса. Предлагаю исключить гражданку Игельстром из профсоюза, уволить с занимаемой ею должности и запретить ей когда-либо работать в учреждениях, имеющих дело с иностранцами.

Бледная и беспомощная стоит Софья Петровна. И ни один из коммунистов, которые с ней работали, которые ей доверяли, которые *знают*, действительно знают, как она предана советской власти, не осмеливается сказать за нее хотя бы одно слово. Это то, что мой муж называет в своей книге «чертовыми черепками». Так платит классовое правосудие своим друзьям.

Последний раз я видела Софью Петровну перед своим отъездом за границу в августе 1932 года. Муж ее, Игельстром, бывший гвардейский офицер, а при советской власти переводчик с английского языка в Профинтерне, долго терпел *menage-a-trois*<sup>[12]</sup>, но как-то пришел со службы и сказал:

- Сонечка, ты ничего не имеешь против того, если я женюсь на Волковой.

- Что ты, Витя, конечно, пожалуйста.

Так кончился их брак. Он не был ни счастливым, ни несчастным, но был, во всяком случае, несколько странным. После развода они остались друзьями, и она часто бывала у молодоженов.

Кажется, в 1922–1923 годах Игельстром занимал какую-то должность в советском полпредстве в Риме. Тогда Софья Петровна посетила Капри, и у нее на всю жизнь сохранилось яркое воспоминание об Италии и о Капри. Она написала роман из того отрезка своей жизни. Понесла в издательства. Его нашли очень красивым и солнечным, но слишком эротичным и малосоветским. Эротика в СССР не в фаворе. Я много бы дала, чтобы иметь этот роман здесь, за границей. Он был написан прекрасно.

В тот августовский вечер 1932 года, когда я зашла к ней попрощаться, Софья Петровна была настроена несколько меланхолично. Она сообщила мне, что работает экономистом в каком то промышленном предприятии. С тех пор как вычистили, ей не позволили больше работать с иностранцами.

- А где Ибаньес?

- Он собирается уезжать в Испанию. Тамарочка, дорогая, не можешь ли ты (она сама предложила мне перейти на «ты», тогда еще в Ростове 1926 году), когда приедешь в Берлин, пойти к испанскому послу и

попросить его о паспорте для Иезуса. Ведь здесь все еще нет официального представителя Испании.

Судьба Ибаньеса довольно красочна. Из очень бедной кастильской семьи, он провел свое детство, бродя с отцом и обезьяной по испанским селам. Потом он перепробовал несколько профессий, потом стал коммунистом, проявил недюжинные ораторские способности и был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Испании. В качестве такового приехал в Москву на конгресс Коминтерна. Босьяк и хулиган по характеру, маленький, коренастый, некрасивый, он имел, однако, большой успех у женщин. В Коминтерне он не смог понять всех махинаций международной банды, которая стоит во главе международного коммунистического движения, стал доискиваться и допытываться, стал протестовать. Кончилось это плохо. Очень плохо. Ему просто не вернули его паспорта, который всякий правоверный коммунист должен сдавать в коминтерновской комендатуре. И он застрял в Москве ни больше и не меньше как на восемь лет. С Испанией, как известно, сношений у СССР не было, протестовать Ибаньес не мог, так как в Испании его за это время приговорили к нескольким годам тюрьмы за революционную работу и за поездку на конгресс. Так и осталось это дитя Юга в холодной и неудобной, чуждой ему Москве. Его подобрала Софья Петровна, приютила, приблизила, пожалела, окультивировала, научила русскому языку так, что он в конце концов зарабатывал деньги переводами с русского на испанский.

Он написал как-то роман «Барселонские террористы», Игельстром перевела его на русский язык, книга вышла в свет, но получила отвратительную критику в «Известиях». И вот мой муж встретил Ибаньеса на улице как раз, когда тот шел в «Известия» «немножко резать» критика. Он всегда носил при себе

испанский нож – наваху. Насилу Ивану Лукьяновичу удалось его отговорить от этой безумной попытки.

Софья Петровна Ибаньеса очень сильно любила. И тогда в Ростове, ложась по вечерам в гостиничную кровать, говорила мне мечтательно:

– Ах, Тамара, ты не знаешь, как эти испанцы умеют любить.

А теперь, в последний вечер в Москве, Софья Петровна призналась мне, что Ибаньес стал совершенно невыносимым, что у него оказались в Испании жена и... десять душ детей (оказывается, испанцы вообще очень плодовиты), что он теперь тоскует по Испании и хочет скорее уехать.

Что, когда они поссорятся, он хватает подаренный ему каким-то мексиканским делегатом граммофон и кричит:

– Но граммофон-то ведь мой!

А кроме того, он невероятно ревнив. Угрожает зарезать Софью Петровну, как барана, если узнает, что за ней кто-нибудь серьезно ухаживает.

На днях к ней должен был прийти какой-то знакомый, который ей очень нравился. Она попросила Ибаньеса на это время уйти. Тот обещал. А сам, в ее отсутствие, залез наверх, на антресоли, спрятался под занавеску и следил за обоими все время. Когда знакомый ушел, Ибаньес спрыгнул сверху и заявил перепуганной Софье Петровне:

– Хорошо, что он тебя не поцеловал, а то я метнул бы в него наваху.

Словом, он Софье Петровне надоел, и она очень хотела, чтобы он уехал обратно в Испанию.

В 1934 году я узнала от одного француза, что Ибаньесу-таки удалось вырваться из СССР и что он теперь играет крупную роль в испанском анархическом движении. Я не завидую его положению: Ларго ли

Кабальеро возьмет верх, или генерал Франко, Ибаньеса все равно в конечном счете повесят.

У Софьи Петровны был замечательный дар переводчицы. Она записывала речи ей одной понятными сокращениями, потом выходила на трибуну и переводила слово в слово, как бы длинна речь ни была. Когда в 1927 году в Москву приехал генеральный секретарь Великобританской федерации горняков, Кук, и говорил в Большом театре ровно два с половиной часа, Софья Петровна перевела его речь так блестяще, так остроумно передала все нюансы его образной речи, что зал встал и минут пятнадцать бешено ему аплодировал.

Да, Софья Петровна много сделала для большевиков. А заплатили они ей «чертовыми черепками».

Недавно, будучи в Финляндии, я узнала от тамошних старожилов, что и Софья Петровна, и ее муж были сначала белыми эмигрантами. Потом сменили вехи и перекинулись на сторону большевиков. А затем вернулись в Москву. И все же, только потому, что ее отец был когда-то генерал-губернатором, ее сняли с работы, на которой в СССР – я это утверждаю – никто лучше ее не смог бы справиться. Она была самой лучшей советской переводчицей.

С большим трудом ей удалось восстановить себя в профсоюзе и получить другую должность. Теперь она работает совсем не по специальности, так как ее богатейшие лингвистические способности – она знает шесть языков в совершенстве – лежат под спудом. Провожая меня, она жаловалась, что с трудом отстаивает свою комнатку в доме советов, что ей почти ежедневно угрожают выселением и что тогда ее положение станет совсем уже невозможным, потому что нанять комнату по вольному найму – это значит

надо платить минимум 300 рублей в месяц, а она получает за свою работу только 275 р.

- Не хотела ли бы ты бежать за границу? - спросила я ее.

Она грустно улыбнулась.

- Нет, я сожгла свои корабли...

Чтобы закончить эту картинку из советского быта, хочу рассказать еще один случай с тем же Ибаньесом.

В 1932 году приехала на Первомайские торжества в Москву, в числе других, и испанская делегация. В Москве испанского переводчика днем с огнем тогда было поискать - теперь, думаю, их расплодилось, в связи с испанскими событиями, десятки. Заведующий Комиссией внешних сношений Гурман был в совершенном унынии. Где взять испанского переводчика?

Я рискнула напомнить об Ибаньесе. Он уже давно считался оппозиционером и троцкистом, и о нем последние годы совершенно забыли. Я знала, что Софье Петровне придется его содержать и что она будет рада, если он хоть что-нибудь заработает. Гурман радостно ухватился за мое предложение. Послали за Ибаньесом. Он явился к Гурману с очень вызывающим видом и заявил, что меньше как за двадцать рублей в день не поедет с делегацией. Ему дали двадцать рублей. Он поехал, но уже с дороги в штаб делегации стали поступать тревожные сведения. Ибаньес много пьет, водит делегатов в городах, где они останавливаются, под видом прогулки, в самые грязные районы, ведет среди них «троцкистскую» пропаганду. Когда переводчица-коммунистка - чрезвычайно редкий случай! - пыталась его немножечко обуздать, он по-испански стал ругать коммунистов вообще и вести себя совсем уже вызывающе. Делегацию поспешили вернуть в Москву, и был превеликий скандал. Гурман напал на меня, что я ему порекомендовала троцкиста, я

отговаривалась тем, что совсем не подозревала о состоянии ума Ибаньеса, словом, неприятностей было много, но Ибаньеса все же не арестовали, как это сделали бы со всяким русским переводчиком на его месте, а просто запретили приглашать его к делегациям.

## Ростов - Грозный - Горячеводск

В Ростове делегация пробыла два дня, причем на второй день был устроен большой банкет, на котором, между прочим, должен был произнести речь и секретарь английской делегации Смит. Мы спустились в ресторан гостиницы, столы были роскошно сервированы, цветы, фрукты, батареи бутылок с золотыми головками, прозрачные графинчики с водкой. Делегаты наши так уже привыкли к таким банкетам, что больше не удивлялись. Первое время они меня все спрашивали:

- Comrade Тамара, неужели все русские так много едят? Я отвечала обычно, что Россия всегда отличалась хлебосольством, но что в обыденной жизни теперь русские едят гораздо, о, гораздо меньше.

Явилась ростовская партийная и профсоюзная верхушка в полном составе. Начались тосты и речи. Я как раз должна была переводить Смита. Оглядываюсь по сторонам, где же он, надо все-таки подсесть к нему поближе, чтобы точно записать его слова. Нет Смита. Иду к Горбачеву:

- Товарищ Горбачев, Смита-то ведь нету, а ему выступать.

- Как нет? Слуцкий, Боярский, - где же Смит? Вероятно, заснул, сволочь, в своей комнате.

Вообще у Горбачева к делегатам было постоянно какое-то невероятно пренебрежительное и презрительное отношение. По своей грубой натуре и бандитско-большевистской закалке он не замечал того, что они неизмеримо культурнее, вежливее и деликатнее его. Он считал все это признаком буржуазного воспитания, а раз буржуазного, значит, не достойного ничего, кроме самого полного презрения.

Боярский и Слуцкий отправились на розыски Смита. Банкет шел своим чередом, и я уже радовалась, что мне хоть один раз удастся провести вечер спокойно, как смотрю – Горбачева куда-то вызывают, среди англичан волнение. Что случилось? Софья Петровка тоже исчезает. Потом возвращается.

– Смит пропал.

– Как пропал?

– Да, оказывается, уже с четырех часов вышел в город, якобы прогуляться по нашей же улице, да так и не вернулся. Будет нам всем теперь нагоняй, что мы за ним не уследили.

– Но куда же он мог деваться? Ведь не похитили же его?

– Не знаю, однако, ты теперь попереводи за меня, а я пойду узнаю, может быть, уже есть что-нибудь новое.

В это время на другом конце зала появился Смит. Но в каком виде? Пьяный вдрызг, в расстегнутой жилетке, с багровым лицом и мутными глазами, он являл собой довольно жалкое зрелище. «Товарищи» бросились к нему и увели его в его номер.

Так он речи своей и не держал. А на следующее утро, уже в поезде Софья Петровна мне поведала под большим секретом, что, оказывается, Смит затащила к себе какая-то веселая девица, напоила его до чертиков, и только крепкое британское подсознание невыполненного долга помогло ему явиться на банкет, хотя и с большим запозданием. Это было особенно комично, потому что в обычное время Смит был очень респектабельным джентльменом, солидным, спокойным и слегка высокомерным.

Теперь Донбасс и Ростов позади. Поезд мчит нас к Грозному, на нефтяные промыслы. Оборачиваясь назад и беседуя с делегатами, я вижу, что от последнего этапа нашей поездки у них осталось довольно сумбурное впечатление. С одной стороны, везде

приемы, чествования, выпивки, говорящие, казалось бы, об обилии плодов земных, с другой – переполненный грязными, оборванными пассажирами ростовский вокзал, который их особенно порастил своей грязью и скученностью. Как везде в СССР в последние десять лет, крестьяне и рабочие кочуют из одного конца отечества в другой: одни в поисках лучших условий труда, другие в надежде добраться до какой-то, существующей лишь в их воображении, страны обетованной, где большевистский гнет был бы не так силен и где можно было бы наконец хоть разик сытно поесть. И везде на крупных железнодорожных узлах одна и та же гнусная, отвратительная картина: вокзал является скоплением тысяч народа, ни скамеек, ни стульев давно нет, все лежат вповалку на полу, везде грязь, вши, мешки, голодные оборванные дети и вонь, от которой тошнит, Ростов один из таких узлов, и англичане увидели тут впервые эту картину. Они в душе очень поражены, но, так как Россия для них вообще варварская полуазиатская страна, они стараются *faire bonne mine au mauvais jeu*<sup>[13]</sup>. Они если и задают вопросы, то очень осторожно. Слуцкий с утра до вечера в нашем вагоне, он все время ведет обработку. Просит задавать вопросы и умело и хитро переплетает каждый ответ и каждое объяснение с параллельными полувопросами насчет английских условий и законов. Против его большевистской техники английской наивности трудно устоять. Я все еще не совсем точно знаю, кто он и что он. Какую роль он играет. Ясно пока одно – он политический руководитель нашей делегации. О нем я напишу отдельно.

Англичане получили в Ростове ряд писем из Англии. И федерация горняков, и Кук, и их родные беспокоятся, что они так долго – уже больше трех недель – ездят по СССР. И все просят их вернуться. Но Горбачев и Слуцкий

во что бы то ни стало хотят показать им еще и Кавказ. Поэтому я слышу, как Горбачев говорит Софье Петровне, которая переводит ему английские телеграммы:

- Это все задержим до Тифлиса. А оттуда уже не страшно, все равно пешком не уйдут.

Вечером в нашем купе, как обычно, собираются делегаты и делегатки. Политикой они не любят слишком долго заниматься. Заводят песни. Ах, эти милые английские песенки, полные юмора и веселья. Замечательно, как взрослые, даже убеленные сединами, горняки преображаются, когда их поют. Искорки веселья загораются в их глазах, морщины на лбу разглаживаются, и все они, будь они из Шотландии, Уэльса или Кента, - поют так стройно, как будто бы они всю жизнь пели в одном хоре.

Чаще всего они поют две песенки, одинаково наивные и одинаково трогательные именно этой своей наивностью. Первая о «трех слепых мышах», очень мелодичная, с припевом.

Один затягивает речитативом:

Three blind mice,  
Three blind mice.  
See, how they run,  
See, how they run.

Остальные подхватывают:

They run after the farmer's wife  
She cuts off their tail with a carving knife  
Did ever you see such a thing in your life,  
As three blind mice!<sup>[14]</sup>

А вторая песенка забавна по своему построению. С каждым новым куплетом темп все ускоряется, и под конец только очень опытный в этих делах специалист не сбивается и поспевает за этой скороговоркой:

One man went to mow,  
Went to mow a meadow,  
One man and his dog  
Went to mow a meadow.

Two men went to mow,  
Went to mow a meadow,  
Two men and their dog  
Went to mow a meadow<sup>[15]</sup>.

И так далее, до момента, когда:

Двенадцать человек пошли косить,  
Пошли косить луг.  
Двенадцать человек со своей собакой  
Пошли косить луг.

Потом куплеты следуют обратно, все понижая число человек до одного. Эта песенка хороша тем, что уже в середине большинство поющих непременно собьется, получается веселая каша, и все кончается общим смехом.

Я очень хотела бы, в свою очередь, продемонстрировать англичанам и наши комические песни, особенно украинские, вроде:

Ой, що-ж це за шум учинився?  
Це комарік тай на муси оженівся...

Узяв собі жінку невелічку,  
Що не вміє шіти-прясти чоловічку.

Но у меня, к сожалению, нет достаточно компетентной компании, так как Софья Петровна все время занята «высокой» политикой, а Боярский – родом из Бердичева и песнями мало интересуется. У него все время какие-то темные операции и вычисления, так как на нем лежит снабжение делегации продуктами, открытками, марками, визами, папиросами и прочим. С момента отъезда из Москвы каждый делегат получает неограниченное количество самых лучших «кремлевских» папирос, которых в обычной продаже не достать. Кроме того, на Боярском лежит обязанность вообще заботиться о делегатах. Если, например, кому-нибудь нужно полотенце, носовой платок, чулки, даже непромокаемое пальто, он должен все это достать. В Ростове, например, все делегаты получили по паре галош, которые с гордостью потом увезли к себе в Англию. Понятно, что Боярский старается провести все эти операции с максимальной для себя прибылью. Поэтому ему не до украинских песен. Делегаты и особенно делегатки смотрят на него в некотором роде как на благодетеля, относятся к нему с неизменным уважением и говорят:

– What a kind man this Bojarski!<sup>[16]</sup>

Так незаметно добрались мы до Грозного. Здесь был снова торжественный прием и большевики устроили делегации банкет в инженерном клубе. После банкета нас повезли осматривать нефтяные вышки. Как известно, в самой Англии нефти нет, и поэтому англичанам здесь все было внове и очень интересно. Расспрашивали подробно о процессе производства и записывали старательно ответы в свои блокноты.

Вспоминаю, между прочим, и такой случай. Засаленный и грязный рабочий кряхтит у насоса, которым выкачивают нефть из недр. Мы подходим, и Вольтон спрашивает:

- Сколько вы получаете в неделю?

- Сорок рублей.

- Сколько это будет на английские фунты? - обращается Вольтон ко мне.

Мне так и хочется сказать ему, что ведь советский рубль далеко не полноценен, что если по курсу эти сорок рублей и составляют два английских фунта (это было до всяких девальваций достоинственного фунта), то по покупательной способности - это не более чем десять шиллингов. И я оглядываюсь по сторонам. Как будто никого опасного около меня нет.

- Это два фунта, - говорю я, - но цены на хлеб и прочее выше, чем у вас в Англии, так что на самом деле это меньше чем два фунта.

- О, - говорит мистер Вольтон, - а мне Слуцкий еще сегодня утром говорил, что цены на продукты в Советском Союзе значительно ниже наших. Как это возможно?

- Что они говорят? - спрашивается рабочий.

- Он сравнивает вашу зарплату с зарплатой английского горняка.

- Да он разве тоже горняк? - удивляется рабочий. - Ишь ты, а как хорошо одет, нам бы пиджачок такой. Из Англии, значит? А сколько же он там зарабатывает?

- Восемьдесят рублей в неделю.

- Вот это да. Живут, значит, ничего себе. А еще бастуют черти.

Я, конечно, не рискую перевести последней фразы Вольтону, к нам как раз подходит коммунист Ллойд Дэвис. Он вечно около меня крутится, видно, от ячейки задание получил. Разговор обрывается. Вечером Вольтон ловит меня во дворе инженерного клуба;

- Comrade Тамара, не можете ли вы назвать мне цены на важнейшие продукты?

Что мне делать? Ведь если я их перечислю, он запишет их, а затем будет везде ими оперировать при беседах и со Слуцким, и с другими коммунистами. Я говорю, что составлю ему список на днях. Хорошо, что он этим удовлетворяется. Я же надеюсь как-нибудь узнать у Слуцкого, что такое он навывдумывал Вольтону о ценах. Может быть, перед самым отъездом делегации в Англию мне и удастся подсунуть Вольтону настоящие цены. Пусть хоть поздно, но узнает правду.

Тяжела ты, шапка советской переводчицы!

На следующее утро нас везут показать новый горняцкий поселок. Нужно отдать справедливость, что грозненские промыслы, равно как и бакинские, оборудованы несравненно лучше, чем донбасские шахты. Потому ли, что до революции здесь хозяйничал иностранный капитал, или потому, что нефть составляет важнейший продукт советского экспорта, все здесь как-то благоустроеннее. Большевики с гордостью показывают нам улицу новых «коттеджей» для рабочих. Действительно, десятка два довольно красивых домиков выстроены вдоль асфальтированной улицы. Но это и все. Остальные рабочие живут буквально в жалких лачугах. А англичан как раз всего больше поражают советские жилищные условия. В Англии люди вообще привыкли к большому комфорту. Выясняется, что у каждого из наших делегатов имеется, как правило, собственный домик от четырех до восьми комнат. У многих есть ванная, не говоря уже об элементарных удобствах. Что бы они сказали, если бы узнали, как живем мы - москвичи! Иногда по восьми душ в одной комнате. Но они, конечно, этого не узнают. Никто, в том числе и я, не осмелится им об этом рассказать. А здесь, в Грозном, они удивляются, что рабочая семья помещается в одной комнате, потому что

каждый коттедж рассчитан на три семьи. По нашим же советским условиям, уже и эти коттеджи – большое достижение.

Возвращаемся к обеду в клуб. Тут нас ждет сюрприз. У Грознефти имеется собственный санаторий на местном курорте Горячеводске, и нас хотят туда повезти отдохнуть. Это где-то в горах, там имеются серные горячие источники, там можно будет выкупаться и подышать горным воздухом.

Подают автобусы. Усаживаемся и едем. Чудесная, вьющаяся между скалами дорога. Стоит как раз хорошая погода, север остался далеко позади, а конец сентября у нас на юге России дивно хорош. На поворотах автобусы накрываются то вправо, то влево, нас бросает друг на друга, получается веселая свалка, и делегатки звонко и заразительно хохочут.

Поздно вечером приезжаем в Горячеводск. Мелькают гостеприимные огоньки санатория. Там уже предупреждены о нашем приезде, нас ведут в предназначенные нам комнаты, мы моем руки и направляемся в столовую. Огромный стол буквой П накрыт посреди санаторной столовой и уставлен всякими яствами. Мне смертельно надоело целыми днями переводить. Мне так хочется, хоть один разик, покушать спокойно, чтобы не прислушиваться к речам, к вопросам, хочется наконец перестать быть переводчицей и сделаться простой смертной, но не тут-то было. Директор санатория – конечно, коммунист – тоже хочет приветствовать делегацию. И здесь, в глуши предкавказских гор, начинается та же волынка:

– Товарищи, ваша геройская борьба против нашего общего врага – капитализма должна окончиться победой. Товарищи, Советский Союз уже оказал вам помощь и будет ее оказывать до победного конца. Товарищи, в старое время здесь, на курорте, лечились только богачи и буржуи. А теперь, товарищи, здесь

лечатся рабочие-нефтяники и их семьи. Когда вы вернетесь к себе в Англию, товарищи, вы опровергайте ложь подлой буржуазной печати, говорите, что вы видели в стране социализма, рассказывайте всю правду, товарищи. Да здравствует мировая революция, да здравствует английский рабочий класс, долой социал-предателей!

И так далее, и так далее, без конца.

Записываю, перевожу, снова записываю и снова перевожу. Софьи Петровны нет, она исчезла куда-то вместе с Горбачевым и Слуцким. О чем это они все совещаются?

Наконец ужин кончается, и в час ночи я отправляюсь к себе в комнату и валюсь на постель.

Просыпаюсь от жгучих лучей солнца. Открываю настежь окно. Совсем лето, даже мошкара летает. Хорошо! Кругом горные вершины, лесистые и покрытые синей дымкой. Наскоро одеваюсь и выхожу в сад. Делегаты уже встали, позавтракали и хотят идти смотреть серные источники. Какое чудное место этот Горячеводск, и как мало даже мы – русские о нем знаем. До приезда в Грозный я, например, никогда о его существовании и не слышала. И что сделали бы с таким прекрасным курортом немцы! Это был бы курорт мирового значения. А теперь это просто горсточка деревянных домишек, носящих громкое название санатория Грознефти. На открытом воздухе вырыт просто в земле большой бассейн, и туда постоянно течет из земли горячая серная вода. Большинство пациентов тут же и купаются, обычно без всякого костюма: в одни часы мужчины, а в другие женщины. Простота поистине райская. Но сейчас почему-то курортников до странного мало. Всего человек десять. Не имею, к сожалению, времени, чтобы выяснить причину такого безлюдья. Англичане, несмотря на

донбассовское банное действо, упорно оказываются лезть в бассейн. Им готовят ванны, – таковые, оказывается, тоже имеются – для избранных. Я беру тоже ванну. Удивительно мягкая вода. Кожа после нее становится как атлас. Никаких институтов красоты не надо. Банщица уверяет, что после месяца купания даже морщины исчезают.

После ванны нам всем разрешается двухчасовой отдых, делегаты расходятся по комнатам писать письма. Я ложусь отдохнуть. После четырех недель напряженной работы устала. Но в мою комнату лезет Горбачев. Вообще в последнее время я замечаю, что имела несчастье ему приглянуться. Он как-то плотоядно, если можно вообще определить выражение его заплывших жиром свиных глазок, на меня поглядывает. А во время поездки в автобусе все старается сесть рядом со мной и прижать меня своим бедром. Я делаю вид, что ничего не замечаю. Ведь я знаю, как опасно приглянуться влиятельному большевику. В таких случаях советская служащая попадает в положение жертвы удава. При неумелом обхождении можно и в ГПУ попасть. Ему всегда ГПУ поверит, а ей – никогда. Поэтому я делаю наивные глаза.

– Что, товарищ Горбачев, переводить надо, что ли? Я очень устала, хотела полежать. Не позовете ли вы Софью Петровну?

Он внезапно почти конфузится.

– Да нет, товарищ Солоневич, просто хотел вам сказать, что вы теперь гораздо лучше переводить стали. Я, признаться, когда мы из Москвы выехали, все думал: напрасно мы ее с собой взяли. А теперь у вас совсем хорошо выходит. В Донбассе на митингах вы так громко и хорошо переводили, что я залюбовался. Думаю, вы теперь и Софью Петровну за пояс забьете.

- Ну что вы, товарищ Горбачев, разве можно сравнить? Ведь Софья Петровна уже несколько лет переводит, а это мой первый опыт.

- Да что ж вы мне не верите, что ли? Если вы будете хорошей, я вас, как в Москву приедем, к себе в Цека заберу. Нам такие работницы нужны.

О, ужас, Горбачев хочет подсесть ко мне на кровать, хотя я уже давно не лежу, а сижу. Что же мне теперь делать.

В это время в дверь спасительный стук. Боярский вызывает товарища Горбачева.

- Как назад будем ехать, вы садитесь на переднюю скамейку второго автобуса, ладно?

Боярский торопит за дверью:

- Товарищ Горбачев, вас вызывают к телефону из Грозного.

На сей раз пронесло. Но что же будет дальше!

При советском бесправии положение служащей женщины гораздо тяжелее, чем в капиталистических странах. Потому что, кроме потери работы, ее могут затравить, арестовать по ложному доносу того, кому она не угодила. И благосклонность Горбачева для меня - крупная неприятность. Хорошо, если я его перехитрю, а если не удастся? Ведь предлогов для придирки можно найти сколько угодно.

Вечером выезжаем обратно в Грозный. Я все кручусь у автобусов и не занимаю места до самого последнего момента. Смерклось, и трудно отличить одного человека от другого. Слышу, как Горбачев кричит:

- Где Солоневич?

Я не отзываюсь. У первого автобуса заводят мотор. В самый последний момент вскакиваю в него. Ничего, что все полно, как-нибудь проеду, лишь бы опять не рядом с Горбачевым. Пусть поищет. Автобус наш уже мчится...

## Минеральные Воды - Владикавказ

Из Грозного нас повезли в Кисловодск, причем на станции Минеральные Воды был организован митинг, на который были согнаны главным образом стоявшие неподалеку воинские части. Когда два английских делегата и я, в качестве переводчицы, взошли на наскоро сооруженную деревянную трибуну, огромная площадь около вокзала была совершенно запружена народом. Говорили потом, что присутствовало около 8000 человек. Было уже темно, горело несколько фонарей, и толпа ощущалась как темное чудовище, отдельных лиц нельзя было разобрать, кроме разве самых первых рядов. К этому времени я уже более или менее научилась переводить, но еще волновалась по-прежнему и каждое выступление было для меня истинным мучением.

На таких больших митингах Слуцкий и Горбачев старались всегда выпустить одного из «ручных» английских коммунистов, либо Уильямса, либо Ллойд Дэвиса. Последний особенно подходил для этой роли, так как был далек от обычной английской сдержанности, характером обладал чисто галльским и особенно темпераментно умел кричать после речи, прищелкивая при этом пальцами, на манер кастаньет:

- Hip, hip, hurra!

Так и теперь, говорил Ллойд Дэвис, восторгался советскими достижениями (чего другие лейбористские делегаты публично никогда не делали), призывал поддержать бастующих «братьев» и закончил бравурным:

- Three cheers for the Soviet workers! Three cheers for the word-revolution!<sup>[17]</sup>

Толпа, понятно, разразилась рукоплесканиями, хотя перевод еще не был сделан. Толстая фигурка Ллойд Дэвиса, его выкрики и подхваченное хором англичан «ура» говорили за себя.

А позже, когда делегация шла на вокзал, одному из делегатов была подсунута записка, которую тот передал Софье Петровне. Уже ночью в гостинице, куда нас по прибытии в Кисловодск отвезли прямо с вокзала, она мне ее показала: Там стояло:

«Дорогие братья! Вас обманывают, мы не добровольно жертвуем на стачку, а с нас насильно вычитают, кусок хлеба изо рта вырывают, дети у нас босые и голые, а вы вон как хорошо одеты. Не верьте, товарищи, советская власть нас душит, а вам все врет, что у нас свобода».

Прошло десять лет с того вечера, но эта записка стоит и сейчас живым укором перед моими глазами. На грязном клочке бумаги, написанная каракулями, строчки уходят куда-то вниз вправо, а орфография такая, что иностранец, даже умеющий читать по-русски, все равно ничего бы не разобрал. Бедный автор этих строк надеялся, что они попадут к англичанину и откроют ему глаза. Но советская власть зорко следит за иностранцами, а обслуживающий персонал так терроризирован, так боится за свою жизнь, что никогда не осмелится сказать правду. Я сама находилась в таком же положении и знаю, что это так. Иностранцы в большинстве случаев так наивны, что, возвращаясь к себе на родину, часто в своих описаниях Советского Союза цитируют те или иные слова и объяснения переводчицы. И ясно, что переводчицы не рискуют говорить правды, ибо один намек на такую «измену рабочему классу» может стоить им головы.

В Кисловодске сезон уже кончался, парк и нарзанная галерея были почти пусты, но в санаториях

были еще больные. Английской делегации были предоставлены лучшие комнаты в гостинице, а обедали и ужинали мы в санатории, не то «Красная звезда», не то «Красный Октябрь» – точно не помню. Днем нас всех повели брать нарзанные ванны. От этих ванн англичане остались особенно в восторге, это так интересно, когда сидишь в ванне, а все тело покрывается пузырьками газа. После ванн пили нарзан, которым тоже восхищались. Осмотрели парк и «красные камни», но пошел дождь и экскурсия на «Замок коварства и любви» была отменена.

В Кисловодске санатории советской аристократии – ВЦИКа, ЦИКа и военного ведомства – славятся своим кулинарным искусством. Я, кажется, нигде так изысканно и торжественно не ела, как в этот раз в Кисловодске. Достаточно сказать, что поданный делегации пломбир изображал из себя Кремль, со стенами, башнями и часовыми из шоколада. Он напомнил мне пломбир в отеле в Монре, где я останавливалась в 1913 году проездом из Парижа. Там тоже было подано чудо в виде Шильонского замка. Делегаты охали, млели и пели свои милые песенки.

Во время обеда неожиданно в столовой появился высокий красивый господин, оказавшийся мужем Софьи Петровны. Оказалось, что он отдыхает в Кисловодске и только что узнал о приезде делегации. Англичане, которые были здорово навеселе, стали шутливо поздравлять Софью Петровну, кто-то произнес тост за «счастливую супружескую пару», потом хором была исполнена песенка «For he is a jolly good fellow».

Для меня, знавшей истинное положение вещей, все это звучало горькой иронией. Горбачев счел своим долгом разрешить Игельстрому спать в нашей гостинице, меня перевел в другую комнату.

Однако эта дань английскому пуританизму ничего не смогла изменить в надтреснутых супружеских

отношениях Софьи Петровны.

На другой день она говорила мне:

- Представь себе, просыпаюсь и вижу - около меня спит какой-то мужчина. Думаю, кто бы это мог быть? Оказывается - Витя.

Мы долго этому обе смеялись.

В Кисловодске митингов не было, и мы немножко отдохнули. Надо было готовиться к коронному номеру - перевалу через Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге. Несмотря на большие трудности и дороговизну такой экскурсии, советская власть не щадит никаких сил для того, чтобы делегаты остались довольны своим пребыванием в СССР.

Ранним утром приезжаем во Владикавказ. Лучи солнца ослепительно сверкают на снеговых вершинах гор. Нас уже ждут шесть легковых автомобилей, мы завтракаем на вокзале, садимся в автомобили, нас укутывают пледами. О горе, ничего не могу сделать, приходится ехать с Горбачевым и Смитом, или вернее между ними двумя, ибо Горбачев настойчиво заявил Софье Петровне, что она должна ехать с председателем делегации Лэтэмом, а что он-де хочет немного обработать секретаря Смита. Впереди шофер, а на заднем сиденье мы трое. Это отравит мне все удовольствие, я ведь раньше никогда не ездила по Военно-Грузинской дороге и так радовалась этой поездке.

Горбачев - толстый низкорослый человек, с короткой шеей, или, вернее, почти совсем без шеи. У него кирпичного цвета физиономия. Господь Бог над ней очень не много потрудился, все наклеплено кое-как, толстый бесформенный нос, неприятные жестокие губы. Особенно противны у него руки, с четырехугольными, как бы обрубленными, пальцами. Они вселяют в меня какое-то необъяснимое

отвращение. И потом, выражение глаз и лица. Надменное, самодовольное и презрительное буквально ко всему окружающему. Говорит он чрезвычайно мало, с резко выраженным костромским акцентом, противоречий не терпит. У него в Москве жена и четверо детей. Он – бывший горняк, принимал, кажется, участие в ленских беспорядках, старый большевик и поэтому пользуется большим влиянием. С «товарищами» он говорит, как какой-нибудь раджа со своими подчиненными, еле роняет слова. С делегатами он вообще избегает говорить, так как, вероятно, не хочет ронять своего авторитета.

Смит – английский профбюрократ. Тоже полный, тоже немного надменный, но благодаря высокой культуре своей родины – более корректен. Однако, надо признаться, тоже несимпатичен. Он затаил, по-моему, какую-то заднюю мысль, ни за что не хочет пойти на то, чтобы письменно зафиксировать восторг делегации перед советскими достижениями и заклеить своих лейбористских вождей – Макдональда, Томаса и других. Поэтому Горбачев хочет его «обрабатывать». Удастся ли это ему? Мне лично кажется, да простит мне мистер Смит эти строки, что Смит ждет не то взятки, не то какого-то обещания.

Наши автомобили мчатся среди гор и ущелий, все выше и выше унося нас в первозданные лабиринты Кавказа. Свист ветра, шум мотора, красота окружающего ландшафта не дают Горбачеву много говорить. Изредка он перекидывается через мое посредство со Смитом двумя-тремя словами, вроде:

– А у них в Англии есть такие горы?

Или:

– Небось в жизни такой красоты не видал!

Смит укутался в свой плед так, что только кончик носа виден, и что-то мычит в ответ. Не важно, я сейчас

особенно стараться не хочу. Я вся отдаюсь чудным незабываемым впечатлениям: Кавказ!

После Крестового перевала дорога начинает также серпантинном спускаться. Разница между подъемом и спуском сказывается сразу. Раньше мы ехали в гору, назад оборачиваться было трудно, и поэтому как-то неясно представлялась та высота, на которую мы поднимались. Теперь мы спускаемся, и нашим взорам представляются долины, скалы и горы. Весь склон покрыт расцвеченными осенней листвой деревьями. Зрелище получается поразительной красоты. Автомобили мчатся, когда посмотришь вправо, в пропасть – дух захватывает. Там, внизу, чернеет что-то. По мере приближения выясняется, что это горный духан. Подъезжаем. Сюда уже прибыли из Тифлиса представители правительства Закавказского ССР – два восточных человека. Здесь же делегацию нашу ожидает обильный обед с некоторыми кавказскими специалитетами: шашлык, чахохбили и проч. Англичанки очень заинтересованы черкесками, в которые одеты представители, они застенчиво трогают пальцами газыри и недоумевают, зачем этим людям кинжалы. Не игрушечные ли они? Но один из «черкесов» вынимает кинжал и дает потрогать лезвие.

– Oh, how lovely!<sup>[18]</sup>

Потом, ко всеобщему удовольствию, оба представителя садятся в их автомобили – по две англичанки, а посередине черкес в огромной папахе. Получается очень экзотично. Фотограф и мистер Поль щелкают затвором. По какой-то неизвестной причине эти фотографии не попали в альбом делегации.

Продолжаем путешествие. Вдали начинают вырисовываться контуры города. Теперь наш путь лежит по улочкам предместья Тифлиса. Навстречу попадаются ослы с поклажей, на которых иногда

восседает толстопузый горец, женщины с кувшинами воды на головах, черноглазые и черноволосые грузинские и армянские ребятишки. Кусочек всамделишной Азии мчится нам навстречу и берет нас в полон своею сказочной экзотикой. Да, Россия - это такой конгломерат самых неожиданных самоцветных красот, что европейцу есть чем восторгаться. Англичанам надо тащиться по морям почти месяц, чтобы увидеть чудеса Индии. А тут все под боком.

## Тифлис

В Тифлисе мы пробудем, кажется, дня четыре. Делегатам надо отдохнуть, предстоит прием у закавказского правительства, посещение турецких бань и восточного базара, где они могут купить себе шелка и ковры (за валюту, конечно). О рабочих поселках, яслях, заводах – здесь не будет и речи. Делегаты должны набраться самых приятных и новых впечатлений, чтобы во время обратного пути в Москву составить и подписать резолюцию о том, что они видели в Советском Союзе. Правда, предстоит еще Баку, где будет много митингов и выступлений, но это уже последний этап.

Мы останавливаемся в самой лучшей гостинице города, я забыла ее название, знаю только, что при ней имеется сад, в котором расположился очень недурной ресторан. По вечерам играет музыка. Только при входе в этот сад стоит некто и требует пропуска. Сильно подозреваю, что далеко не всем гражданам этот ресторан доступен. Вероятно гепеушный.

На следующее утро нас везут осматривать город. Он очень интересен, это многонациональный город, и даже в самом центре встречаются национальные костюмы. Вообще, из всех городов СССР, которые мне удалось видеть при советской власти, Тифлис произвел на меня самое приятное впечатление. В нем как-то удалось до самого последнего времени сохранить видимость прежней жизни. Об этом же впечатлении пишет и г-н Вартанов, бежавший в 1934 году из СССР, в своей книге «Un russe retrouve son pays»<sup>[19]</sup>. Тифлис всегда спекулировал с границей через Батум и через Эривань, так что там можно было даже купить заграничное белье, тогда как в остальной России его

достать было невозможно. Софья Петровна была об этом хорошо осведомлена и в первый же наш выход в город потащила меня в какой-то полутемный магазинчик, где мы и приобрели по три комбинезона. Они были из самой дешевой бумажной материи. Хвастаться ими перед англичанками было, конечно, нечего. С каким вожделием смотрели мы на их гардероб! Ведь у каждой из них было с собой по крайней мере по двадцать пар добротных английских чулок из искусственного шелка, а в СССР о таком шелке в 1926 году еще не имели никакого понятия.

Вечером нас приняли представители закавказского правительства. В огромном зале с колоннами был устроен блестящий банкет, на котором делегаты познакомились с «красой и гордостью» революции – Л. Гогоберидзе, Буду Мдивани и Кикнадзе. Кроме них, был еще седовласый старец, заслуженный коммунист, который произнес длинную речь и рассказал о том, как при царском режиме сидел по тюрьмам и как он был сослан в Туруханский край. Он заявил, что рад пожать руку английским рабочим в «стране победившего пролетариата» и призывал их свергнуть короля и буржуазное правительство и водворить «такую же великолепную (он так и сказал „великолепную“) советскую власть, как в СССР». Англичане были заметно польщены знакомством с таким аутентичным революционным борцом старого времени и даже стали просить у него автографы. Он охотно давал.

На ярко начищенном паркете появилась пара. Народная артистка республики исполнила со своим партнером лезгинку. Легкая и воздушная, в национальном грузинском костюме, окутанная в белую прозрачную вуаль – она, казалось, почти не касалась земли. Закрывшись вуалью, она ускользала от своего кавалера, а он в белой черкеске, в черных лаковых

сапожках, стройный и гибкий, гнался за нею, достигал, потом снова терял. Где-то за колоннами играла задорная музыка, на столах появились старые вина из правительственных погребов. Между делегатками разместились грузины, армяне, чеченцы, – мне было очень трудно, так как каждая речь переводилась на четыре языка, для каждой национальности отдельно, а затем приходилось переводить ее еще и на пятый – на английский.

Постепенно языки развязались, кавказские товарищи стали обнимать наших миссис, некоторые предложили даже выпить на брудершафт. Это было презанятное зрелище. Миссис Грин, обладавшая недюжинным юмором, умоляла только не звать фотографа, так как тогда по возвращении на родину неминуемо возникнет ряд разводных процессов...

После лезгинки, которая вызвала у делегатов бурю восторга, каждая англичанка непременно хотела хоть один раз потанцевать с артистом-черкесом. Тогда товарищи, после некоторого колебания стали приглашать делегатов, англичане – артистку и присутствовавших двух большевичек. Под звуки «Марша Буденного» пары задвигались в... фокстротте, потому что выяснилось, что, кроме вальса, делегаты танцуют только танго и фокстротт. А в те дни и вплоть до недавнего времени, когда Сталин провозгласил «счастливую и веселую жизнь», фокстрот и танго были строжайше запрещены в СССР. Когда я в 1931 году вернулась со службы в берлинском торгпредстве и везла граммофонные пластинки, у меня на таможене отобрали все фокстроты.

Но для большевистской буржуазии никакие законы не писаны, и товарищи лихо отплясывали фокстрот с англичанками. Горбачев только сопел и делал вид, что ничего не замечает, а Слуцкий щурил свои близорукие глаза и говорил:

- Что это за обезьяний танец они танцуют?

Кавказцы тем временем затянули свои песни «Мравол Джамие», «Алаверды» (но с новым революционным текстом) и другие. Думаю, что этот вечер остался особенно ярко в памяти делегатов.

На другой день погода была прекрасная. Синее небо, яркое солнце. Англичане к такому климату не привыкли и были очень довольны. Через улицу против нашего ресторана, где мы завтракали, была лавка с сигарами, а так как англичанам папиросы надоели, часть их отправилась туда. По недосмотру никто из обслуживающего делегацию персонала с ними не пошел. Когда они вернулись, у них был заговорщический вид, они стали шептаться со своими товарищами, потом и те пошли туда же. С ними, однако, увязался и Слуцкий. Через несколько секунд он выбежал из лавки весь красный, отозвал в сторону Горбачева и стал ему что-то возмущенно говорить. Оказалось, что первый из англичан при покупке сигары захотел разменять фунт стерлингов. Продавец разменял и дал ему сдачи не по официальному курсу, а по курсу черной биржи, что-то раз в пять больше. Курс фунта, установленный советской властью, был до последней девальвации 20 советских рублей. До этого же инцидента англичане меняли свои фунты исключительно у Боярского и у Слуцкого, которые и давали им по двадцать рублей за фунт. А в лавке они получили по 100 рублей за фунт. К тому же продавец оказался немного говорившим по-английски, так что у наших делегатов немного просветлело в мозгах относительно реальной стоимости советского рубля. Каким образом такой недосмотр мог произойти, сказать очень трудно, но, во всяком случае, нам с Софьей Петровной здорово влетело, а продавец, наверное, жестоко поплатился за свой неосторожный поступок. Я

себе представляю, как, сидя позднее в ГПУ, он проклинал тот день и час, когда в его магазинчик зашел первый делегат.

Нам было приказано объяснить англичанам, что продавец – просто-напросто злостный спекулянт, что он остаток недорезанных буржуев, и поэтому всячески стремится подорвать доверие к советской валюте, и что вообще англичане впредь должны менять свою валюту только у Боярского. Слуцкий вызвал меня для перевода и устроил делегатам маленькую лекцию на тему о прячущихся в каждой щели врагах рабочего класса, о необходимости развития пролетарской бдительности у делегатов, о том, что они посланы английским рабочим классом для того, чтобы рассказать *всю правду* о Советском Союзе и что, следовательно, они должны уметь отличать врагов пролетариата и так далее, и так далее.

Делегаты были как бы немного пристыжены, но я слышала, как вечером мистер Джонс, старый умный мистер Джонс, говорил своему соседу по столу:

- I suppose we are damnably fooled here [\[20\]](#).

## Международный пропагандист Слуцкий

В этот вечер я наконец решилась спросить у Софьи Петровны еще раз и в более настойчивой форме, кто же такой Слуцкий. До сих пор она старательно обходила этот вопрос, но сегодня я решила добиться у нее более или менее исчерпывающего ответа. Было после полуночи, когда нас наконец отпустили и мы улеглись в свои кровати. Было тепло, окна были раскрыты и звездная южная ночь темнела черным бархатом.

- Соня, кто такой Слуцкий?

- Да разве ты до сих пор не догадалась?

- Я теряюсь. Говорит на многих языках, политически здорово подкован, видимо, специалист по международному рабочему движению... Но где он работает, откуда он?

- Ну ладно, так и быть скажу, только ни одного слова, ни одного намека делегатам. Это тайна, понимаешь? Они совсем не должны подозревать, что с ними едет представитель Коминтерна и Профинтерна.

- Коминтерна?

Но Софья Петровна, в числе своих прочих особенностей, имела и такую: в любое время дня и ночи она могла прикорнуть в самой неудобной позе и моментально уснуть. Должно быть, частые поездки с делегациями и постоянная усталость ее к этому приучили. Так и теперь. Уснула и оставила меня с целым ворохом неотвеченных вопросов и мыслей в голове.

Коминтерн! Во всех уголках мира известно это слово. Кажется, нет организации, которая была бы окружена такой тайной и наделена такой легендарной вездесущностью. В Индии ли, в Уругвае или в Японии - каждая забастовка и каждое восстание объясняются

работой агентов Коминтерна. В самом СССР Коминтерн окружен еще большей таинственностью, чем его агенты за границей. Пять лет спустя мне пришлось, вследствие особых обстоятельств, о которых я расскажу в другом месте, присутствовать на одном из заседаний английской секции Коминтерна. Проникнуть туда очень трудно. Вы входите в комендатуру, за решеткой сидит человек, посетители толпятся перед этой решеткой, все они по очереди заявляют, что хотят к такому или к такому-то лицу. Человек сносится по телефону с указанным лицом, затем соединяет вас с ним. Тут обман невозможен, работник Коминтерна должен либо знать вас лично и узнать ваш голос, либо вы должны иметь записку или рекомендацию. Иначе вас в само здание Коминтерна не впустят. Всюду вооруженная охрана. Если вас решили пропустить, вас сопровождает такой же вооруженный солдат. При этом вы получаете пропуск, который вы должны вернуть при выходе. Думаю, что труднее проникнуть только в ГПУ.

Тогда, в 1926 году, только что приехав из провинции, я совсем плохо представляла себе, что такое Коминтерн. Могу только сказать, что мне от слов Софьи Петровны стало страшно. Агент Коминтерна ездит со мной вот уже месяц, а я этого даже не подозревала. Я припомнила острый, сверлящий взгляд Слуцкого, когда он следил за моими переводами, его постоянные придирки и поправки к неправильно переведенным марксистским терминам. Словом, эту ночь я совсем не могла заснуть. А за утренним кофе я невольно стала приглядываться к Слуцкому и наблюдать за ним.

Высокий, худой еврей лет тридцати пяти. Такой типичный еврей, что дальше идти некуда. Сутулится, близорук, большой свисающий нос, оттопыренные уши, развалистая утиная походка, носками внутрь. Очень осторожен и отчасти даже нерешителен. Любит выпить,

но не пьянеет совершенно. Только в известный момент, о котором никто кроме него догадаться не может, срывается с места, уходит в свое купе (если мы в вагоне), или в свой номер (если мы в гостинице) и там засыпает тяжелым мертвым сном. Тогда нужно принимать совсем героические меры, чтобы привести его в сознание. Более крепкий организм Горбачева может вынести гораздо большую дозу алкоголя, и поэтому он презирает Слуцкого именно за эту его невыносимость. Бывали случаи, когда Горбачев приказывал проводникам вылить несколько графинов воды на голову спящего Слуцкого, чтобы привести его в чувство.

С 1921 года он является бессменным генеральным секретарем Международного комитета пропаганды и действия революционных горнорабочих. О работе этого комитета и других таких же комитетов – химиков, кожевников, моряков, текстильщиков, металлистов и прочих – мне придется рассказать в ряде отдельных очерков, так как после поездки с английской делегацией меня «мобилизовали» в комитет горнорабочих, и мне пришлось проработать там переводчицей под начальством того же Слуцкого в течение ряда лет.

Ежегодно, а иногда и два раза в год Слуцкий выезжает за границу, иногда на международные конференции горнорабочих, иногда для поддержания духа горняцких забастовок, а иногда и с другими тайными заданиями. Нечего и говорить о том, что ГПУ любезно предоставляет ему в таких случаях любой паспорт на любое имя. Но часто он ездит и под своей собственной фамилией. Не то в 1929, не то в 1930 году Слуцкий пробрался таким образом в Шотландию, где имеется единственный в Англии красный союз горняков – Scottish Miner's Union в Абердине, английским секретарем которого является Мурфи. Там Слуцкий

выступал на митингах, за что и был из Англии выслан и не как-нибудь, а в результате запроса в парламенте. Теперь въезд в Англию Слуцкому запрещен. О запросе же этом я своими глазами читала в Times. За годы большевизма Слуцкий более четырнадцати раз был за границей. С делегатами он очень быстро сошелся, он вообще добродушен и очень циничен. Особенно дружен он с миссис Честер, делает вид, что за ней ухаживает, а она кокетливо хлопает его концами пальцев по носу и говорит:

- You, old duck!<sup>[21]</sup>

Слуцкий женат, имеет двух детей, но, надо отдать ему справедливость, о семье своей заботится мало. Он вообще бессребреник, очень непрактичен в отношении денег, и у него никогда нет ни рубля за душой. Он весь в авансах и долгах. Когда я с ним ближе познакомилась, он рассказал мне, что родители его были набожные евреи, что он учился в хедере и знает древнееврейский язык. С пятнадцати лет он попал в революционные кружки, стал пропагандистом, сидел в харьковской тюрьме, во время Гражданской войны работал в Киеве в подполье, знаком лично с генеральным секретарем Профинтерна Лозовским, который ему очень протезирует. Слуцкому доверяют и в Коминтерне и в Профинтерне, потому что он выполняет важную для обеих организаций работу по пропаганде среди горняков всех стран мира и потому что его можно послать за границу с уверенностью, что он не украдет денег и вернется обратно. Такие политико-пропагандные посты в СССР, пожалуй, единственные, кроме правительственных, на которых люди держатся так долго, как продержался Слуцкий. И все же, когда я в 1932 году уезжала навсегда за границу, Слуцкий, будучи все еще в Международном комитете, учился в Горном институте (без отрыва от «производства») и

хотел стать горным инженером, «так, знаете, на всякий случай!».

## Тифлис - Баку

Жизнь делегации текла своим чередом. Почти весь третий день был посвящен турецким баням. Посреди города из земли бьет целебный серный горячий ключ. И тут построены так называемые турецкие бани. В смысле благоустройства и гигиены они оставляют, конечно, желать лучшего, так как мне пришлось опять-таки купаться в одном маленьком бассейне с четырьмя англичанками, но вода действительно превосходна, а банщицы, искусные в нескольких видах массажа – от «пенного» до «каменного» включительно – вызывают у купающихся, особенно у иностранцев, восхищение.

Кругом бань проложен довольно глубокий ров, через который перекинут мост. Вот на этом-то мосту делегаты после купания остановились, простояли там около полутора часов, и их с большим трудом удалось оттащить и увести в гостиницу. Оказывается, что по рву течет горячая вода из источника и туземки моют в ней белье. Смуглые восточные женщины в алых, зеленых, желтых юбках и разноцветных шалях сидят на корточках и полощут белье, такое же пестрое, как они сами. Это такая экзотическая и для европейца невиданная картина, в ней столько *couleur locale*, что англичанки, а особенно англичане никак не хотели уходить. Все оставшиеся фотографические пленки были пущены в ход, щелкали кодаки, тут же в записные книжки записывались впечатления, одним словом – это было для наших гостей, пожалуй, самое захватывающее зрелище из всего их пребывания в СССР. Я уверена, что если кто-нибудь из них прочтет когда-нибудь это описание, он непременно улыбнется и вспомнит этот кавказский гротеск.

Вечером в вестибюле гостиницы я столкнулась с выходящим Горбачевым.

- Товарищ Солоневич, хотите пойти проветриться?

- Куда?

- А тут местные товарищи меня в погребке ждут. Я было хотел отказаться, да неудобно, скажут, что я загордился. Идемте, а?

- Нет, товарищ Горбачев, спасибо, мне что-то нездоровится, голова очень болит, я лучше пойду прямо спать.

- Брезгуете, значит? Так, так...

- Да что вы, товарищ Горбачев, если бы голова не болела, я бы с удовольствием...

Горбачев нахмурился и бросил мне недобрый взгляд.

Но я уже бежала вверх по лестнице.

- Спокойной ночи, веселитесь.

Береженую и Бог бережет.

На другой день осматривали Мцхет, с его древней крепостью, и новостроящуюся электростанцию Загрэс. Делегаты порядочно устали после Донбасса и Грозного и не очень интересовались условиями труда. Вечером мы выехали в Баку.

Здесь нас встречали представители азербайджанского правительства, и так как все промысла были подготовлены к митингам с участием английских делегатов, то было решено разделить делегацию на три группы, причем каждая группа отправится на определенный промысел. Вот только с переводом речей как быть? Делегатских переводчиц было только две - Софья Петровна и я. Поговорили с одним из местных коммунистов. Он побежал куда-то и притащил какую-то маленькую толстенькую еврейку, которая заявила, что свободно может перевести речь с английского. Мы разделились на три группы и поехали

на митинги. Мне пришлось ехать в так называемый «Черный город». Огромный зал был уже переполнен рабочими-нефтяниками. Отдохнувшие за кавказскую поездку англичане произнесли очень живые приветствия, русские, тюркские и азербайджанские товарищи повторили трафаретные речи и снова просили англичан свергнуть капиталистический режим и водворить у себя царство социализма. Слуцкий, который поехал с моей группой, вышел на трибуну и сообщил собранию, что в делегации находится жена известного борца за дело горняков, Артура Кука. О Куке тогда говорили на всех собраниях, партийных, профсоюзных и беспартийных, о нем писали ежедневно все советские газеты в своих отчетах о забастовке английских горняков, так что все рабочие о нем знали. Активисты поспешили инсценировать бурю восторга, слышались крики: пусть она скажет речь! Мы хотим ее видеть!

Миссис Кук, стоящая, как и всегда, в заднем ряду, краснела и бледнела, упиралась вовсю, но ее вытолкнули помимо ее воли вперед, и ей ничего другого не оставалось, как произнести речь. Это было уже не в первый раз, что ее так вызывали, и я уже писала о том, как она из такого положения выходила. Тихим, чуть слышным голосом, потупив в землю глаза, она произнесла, как всегда, три-четыре ничего не значащие фразы. Переводить ее было чрезвычайно легко. Слова ее были покрыты взрывом аплодисментов.

Когда мы вернулись в отель, оказалось, что одна из групп уже вернулась раньше нас, причем у руководителей были несколько смущенные, а у делегатов очень негодующие лица. Оказалось, что новая переводчица подвела. Мистер Джон произнес довольно длинную, и как ему казалось, очень значительную речь, переводчица же, по-видимому,

плохо его поняла или просто не успела всего записать. Поэтому перевела она речь, так сказать, классически:

- Товарищи, вот этот английский горняк привез вам привет от бастующих горняков Англии и просит вашей помощи для доведения забастовки до победного конца. А остальное... товарищи, ну вы сами знаете, что в таких случаях говорят.

И сошла с трибуны.

Аудитория была поражена, произошло неловкое замешательство, потом стоявший тут же Горбачев стал неистово аплодировать, за ним последовали все коммунисты и активисты, но мистер Джонс был оскорблен, а вместе с ним и остальные члены делегации. Он знал, что говорил двадцать минут, а перевод занял не более двух минут. Не знаю уж, как Горбачев его успокоил, но вечер был испорчен и англичане были очень недовольны.

Переводчицы этой я больше не видала...

На следующее утро нас повезли осматривать нефтяные вышки, потом жилища нефтяников и новые поселки. Баку и до революции был сравнительно благоустроенным городом, потом там хозяйничали англичане, потом советская власть стала усиленно экспортировать нефть за границу и особенно заботиться о нефтяных рабочих, так что сейчас в Баку они устроены лучше, чем в угольных и рудничных районах. На улицах много электрических фонарей, так что город прекрасно освещен.

Горбачев и Слуцкий распорядились о том, чтобы был заказан лавровый венок и делегатов повезли на могилу 26 расстрелянных бакинских комиссаров. Это, так сказать, местные большевистские герои. Старик Лэтэм - председатель делегации и ее секретарь Смит торжественно возложили венок на могилу, а перед этим делегация должна была выслушать речь секретаря областного комитета партии о героизме этих

комиссаров и о их гибели от пуль английских капиталистов.

Потом группу желающих повезли покататься на катере по Каспийскому морю, а вечером вся делегация посетила женский тюркский клуб. Этот клуб очень интересовал англичанок, так как на перегоне Тифлис – Баку Слуцкий часа два втолковывал им достижения советской политики в области раскрепощения женщины магометанских национальных меньшинств. И хотя на улицах Баку мы несколько раз видели женщин в паранджах, с совершенно закрытыми черными покрывалами лицами, здесь, в клубе, нас встретили тюркские женщины, конечно, без чадры и, конечно, с довольными и улыбающимися лицами. Заведующая – местная коммунистка – сделала доклад об ужасах и гнете царского режима и о любви и преданности азербайджанских женщин советской власти, которая-де их раскрепостила и дала им свободу и счастье. Англичане сочувственно улыбались. И все данные и цифры были ими тщательно занесены в блокноты, что и требовалось доказать. О культурном значении большевистского раскрепощения женщины Востока было много написано в советской и в заграничной печати. На деле раскрепощение это произошло главным образом не вследствие пропаганды, а вследствие перманентного процесса раскулачивания всего населения российского, в том числе и национальных меньшинств. В связи с общим обнищанием женщине Востока, наравне с остальными русскими женщинами, пришлось идти на заводы и фабрики, а мужчине Востока не под силу стало содержать по нескольку жен. Таким образом советский режим, даже и без всякой пропаганды, неминуемо ликвидировал бы и многоженство, и закрепощение восточной женщины. Что же касается паранджи, то мы являемся

свидетелями ее упразднения и в таких далеких от большевизма странах, как Турция и Албания.

А Кемаль-паша не только что паранджу, а даже и феску ухитрился снять. Жизнь берет свое.

После клуба был устроен банкет. На сей раз среди «товарищей» было много кавказцев, но и много и чистокровных русских. Пили преимущественно коньяк, какой-то очень душистый и крепкий коньяк – четыре звездочки. Когда делегация уезжала, нам принесли в вагоны несколько ящиков этого коньяка на дорогу и в подарок. Даже мне удалось получить для мужа несколько бутылок у Боярского, так что, когда мы вернулись в Москву, наши знакомые приезжали специально к нам в Салтыковку, чтобы угоститься этим замечательным коньяком и посмаковать его. Такого коньяка в Москве нельзя было достать ни за какие деньги.

Здесь на бакинском банкете мне пришлось впервые познакомиться с пресловутой большевистской кровожадностью. Подвыпивший секретарь партийного комитета произнес очень резкую речь против английского правительства и стал допытываться у наших англичан, почему это они до сих пор не казнили своего короля. Остальные «товарищи», все на большом взводе, стали хором выкрикивать:

– Крови! Крови! Крови!

Как ни пьяны были наши делегаты, они все же не утратили типичной английской респектабельности, которая в первую очередь выражается в уважении к королю. Оба английских коммуниста, как отрясшие от своих ног всякую английскую традиционность, стали добиваться от своих социал-демократических коллег более или менее ясного ответа, но те упорно отмалчивались, а некоторые из них даже стали протестовать. Могло бы кончиться скандалом, если бы

совершенно пьяный Уолтон не стал петь шутливое завещание алкоголика:

And when I die, and when I die,  
Dont burry me at all,  
Just put my bones  
In alcohol.

Put a bottle of wine  
At my head and my feet  
Ane then I know  
My bones will keep [\[22\]](#).

## «Обработка»

Наконец, после еще двух митингов и осмотра школы на нефтяных промыслах, где англичане были поражены убожеством классов и отсутствием на стенах каких бы то ни было учебных пособий, карт, диаграмм, и проч., делегация села в поезд, который должен был теперь идти без задержек три дня и четыре ночи до Москвы. Еще в Баку, накануне отъезда, Горбачев позвал Софью Петровну и меня к себе в номер. Там уже сидел Слуцкий.

- Ну, товарищи переводчицы, довольно погуляли. Теперь пора и за работу.

Я недоуменно посмотрела на Софью Петровну. Но у той было, как всегда, совершенно невозмутимое выражение лица. Как я уже говорила, выдержка у Софьи Петровны была удивительная, она никогда не выходила из себя, никогда не повышала голоса, и, может быть, именно это свойство так и импонировало большевикам.

- Теперь, значит, пора составлять резолюцию. Текст у нас уже выработан, надо его перевести на английский и все эти три дня посвятить тому, чтобы делегаты ознакомились как следует с текстом и чтобы во что бы ни стало резолюцию эту перед отъездом в Англию подписали. Всякие песни и разговорчики теперь надо отставить. Поняли, товарищ Солоневич?

- Почему вы это специально ко мне обращаетесь, товарищ Горбачев?

- Да потому что вы там в вашем вагоне все больше на неполитические темы разговариваете. Не для того вас послали, чтобы развлекаться, пора и поработать. И предупреждаю, если делегаты не захотят подписать резолюции, отвечать будете вы - переводчицы.

- Но позвольте, товарищ Горбачев, сколько раз делегаты хотели именно с вами побеседовать, ведь для них мы не авторитет, а только обслуживающий персонал. А вы всегда отвечали, что у вас времени нет. Теперь же всю ответственность на нас возлагаете.

- Прошу не разговаривать. Ознакомьтесь с текстом резолюции и дайте свои дополнения.

Софья Петровна взяла одну копию текста, я - другую.

Если вам попадутся в руки советские газеты того времени, то есть с 1925 приблизительно по 1929 год, вы прочтете в номерах, следующих за первомайскими и октябрьскими торжествами, длиннейшие резолюции то одной, то другой иностранной рабочей делегации, покидающей пределы СССР. Мне всегда было странно читать их. Текст их обычно похож как две капли воды на текст следующей или предыдущей делегации. Везде говорится о том, что, покидая страну победившего пролетариата, делегация уносит самые светлые впечатления о виденном и слышанном. Что условия труда, социального страхования, зарплаты несравненно улучшились по сравнению с царским временем, что советская власть ведет русский народ к прогрессу, что постройка детских ясель, детских садов и просветительных учреждений не оставляет желать лучшего и пр. Делегаты благодарят за радушный прием и обещают рассказать в капиталистических странах всю правду о Советском Союзе.

Когда я читала эти резолюции, мне всегда приходил в голову вопрос: для чего это надо, ведь такая банальная резолюция ни на кого не действует. Но я многого не понимала. Оказывается, большевики очень хорошо учитывают самую обычную человеческую честность и на ней играют. Если тот или иной делегат подпишет свое имя на такой резолюции, он уже считает

себя более или менее связанным этой подписью. У него только в исключительных случаях хватит мужества выступить у себя на родине с докладом, противоречащим или даже совершенно опровергающим те пункты резолюции, под которыми он подписался. И на это большевики рассчитывают.

Резолюция обычно составляется в недрах Коминтерна и Профинтерна и дается ответственному руководителю делегации с собой в дорогу. Первоначально текст резолюции содержит такую массу невыносимых по своему нахальству и бахвальству пунктов, что *никогда* не принимается полностью ни *одной* делегацией. Если бы какая-нибудь делегация подписала полностью такой текст, ее наверняка не впустили бы власти обратно в ее родную страну и арестовали бы на границе, так как резолюция прославляет коммунизм, всячески хулит существующие в остальном мире виды государственного строя, от республики до монархии включительно, и содержит обещания всячески способствовать свержению государственной власти. Никакому Маккиавелли не удалось бы убедить делегатов подписать резолюцию в ее оригинальном тексте. И вот в обязанность как ответственных, так и неотвественных сопровождающих делегаций вменяется обработка делегации в таком духе, чтобы она возможно меньше вычеркнула из резолюции и, Боже упаси, не внесла бы каких-либо враждебных или критических советскому строю пунктов.

Характерным, однако, для советского кабака фактом является то обстоятельство, что на эту, казалось бы, с точки зрения большевизма серьезную работу ставятся такие вот олухи царя небесного, как тот же Горбачев, или такие неопытные переводчицы, как ваша покорная слуга. Ведь перед отъездом из Москвы никто ни одним словом не обмолвился передо

мной, что мне предстоит, собственно говоря, политическая работа. Никто не побеспокоился ознакомиться с моими познаниями в марксизме, ленинизме и политграмоте. В теории предполагается, что всякий советский служащий должен быть вполне политически грамотным, но о том, чтобы он таковым стал, не заботится, в сущности, никто. Ибо нельзя же принимать всерьез те кружки политграмоты, которые обычно делают вид, что функционируют при каждом советском учреждении, и на которые никто обычно не ходит, а если и ходят, то на одну лекцию из десяти. Но попробуй тот же советский служащий, в данном случае, например, я, оказаться в нужный момент политически неграмотной. Арест, тюрьма, ссылка, а иногда и расстрел – вот расплата за наивность, глупость или ротозейство. И поэтому всякий советский служащий притворяется политически грамотным. И благо ему, если советская действительность не поставит его лоб в лоб с тяжелым испытанием.

По этому поводу и в виде, так сказать, иллюстрации к тексту я вспоминаю такой случай: в 1932 году – это значит на пятнадцатом году революции – одна новенькая переводчица, хорошенькая рыжекудрая девица, сидит за столом в Гранд-отеле с американской делегацией. С ней рядом моя сослуживица, тоже переводчица, Израилевич. Идет разговор на всякие темы. Затем один американец спрашивает:

– А можно узнать, сколько получает переводчица в месяц? «Новенькая» отвечает:

– Триста рублей.

– Oh, well, это совсем не плохо, это значит полтора ста долларов.

И вот тут-то происходит нечто, с точки зрения советского гражданина, катастрофическое. Переводчица громко на весь стол заявляет:

- Но ведь, вы знаете, наш советский рубль - это совсем не то, что половина вашего доллара. На наш рубль ведь ничего нельзя купить, а у вас, вот мне тот товарищ рассказывал, - и она указывает на краснощекого американского рабочего-металлиста, - что за пятьдесят центов пару чулок можно купить. Наш рубль - это все равно что ваши полцента.

Американцы поражены. Израилевич, из чувства солидарности и, может быть, сострадания к своей коллеге интенсивно толкает ее ногой под столом. А та:

- Чего вы толкаетесь, ведь это же правда.

Эта переводчица погибла от своей наивности. Люди, которые никогда не жили в СССР, сочтут это, может быть, геройством. Но есть геройства никому не нужные, и это одно из таких.

Переводчицу эту, ровно через полчаса после обеда, сняли с работы, арестовали, и дальнейшая судьба ее мне, к сожалению, неизвестна. И самое обидное в этом то, что пользы она никакой не принесла, потому что политруководители, вроде Слуцкого, постарались затушевать этот инцидент, выставили эту девушку в глазах американцев «отрепьем буржуазной семьи», врагом народа, несознательным элементом, нарочно клеветущим на советскую власть! И американцы поверили.

А представим себе, что переводчица, сопровождавшая г-на Доржелеса или Андре Жида, позволила бы себе такую роскошь, как - в часы, когда их никто посторонний не слышал, - рассказать им всю правду о гнете большевизма в России, о голоде, о ссылках и казнях. Разве этот самый г-н Доржелес, который теперь с такой иронией говорит из своей прекрасной далекой Франции о «*Cette petite guide de l'Intourist*»<sup>[23]</sup>, удержался бы и не повторил бы на

страницах «Энтрансижан» того, что она ему рассказала? Обязательно повторил бы, хотя бы для сенсации, даже не думая о том, что он этим причинит огромное зло честной переводчице. Вот это-то и заставляет переводчиц быть очень осторожными, и только путем очень ловких и тонких маневров – если переводчица умна – сеять в умах делегатов или интуристов сомнения в советских «достижениях».

Итак, не имея никаких директив, кроме вышеприведенной горбачевской, мне предстояло «работать» с делегатами для того, чтобы навязать им большевистскую резолюцию. Должна теперь откровенно сказать, что по своей собственной инициативе я ровно ничего в этом направлении не предприняла. Я только прочла англичанам текст и предоставила им обсудить его между собой. Никому из начальства я не передала тех крепких выражений, которыми англичане это чтение и обсуждение сопровождали. Софье Петровне же отдали на растерзание председателя делегации Лэтэма и секретаря Смита. Ибо у англичан особенно сильно развито чувство общественной дисциплины. Они еще до отъезда из Англии избрали этих двух лиц в президиум делегации и теперь добровольно подчинялись их решениям. Слуцкий и Горбачев правильно полагали, что, если резолюция будет подписана этими двумя представителями, остальные делегаты не смогут особенно долго сопротивляться.

Однако мои функции, оказалось, на этом не кончились. Первый день пути прошел, делегаты разошлись по своим купе, как вдруг в купе постучался проводник:

– Товарищ Солоневич, Горбачев вас зовет.

Мне стало тревожно. Чего хочет от меня Горбачев? Было уже около одиннадцати часов. Поезд шел, резко раскачиваясь, полным ходом. Я накинула шаль и пошла

в «царский» вагон. В столовой ярко горело электричество. За столом сидел Горбачев, рядом с ним Слуцкий, а напротив них трое делегатов, которых вызвали, оказывается, за полчаса до меня. На столе стояли бутылки коньяку, и Горбачев был на большом взводе. Он уже перешел на «ты», что для англичан было, в сущности, все равно, так как они не понимали, «ты» или «вы» он им говорит.

- Ты вот ему скажи, - начал Горбачев, обращаясь ко мне и показывая пальцем на одного из делегатов, - ты ему скажи, что ведь мы с ним друзья. Правда ведь, Джонка, друзья?

Англичанин чокнулся и пробормотал что-то невнятное. Нужно сказать, что во все время пути Горбачев держался очень изолированно от делегатов, старался с ними не говорить непосредственно, так что они не имели никакого представления о степени его развития и о его прошлом. Они смотрели на него, как на одного из крупных большевиков, как на одного из тех, кто доставил им удовольствие поездки по фантастической стране, кто угощал их этими изысканными завтраками, обедами и ужинами. Словом, как на гостеприимного хозяина страны. И это обязывало их быть любезными. Теперь они сидели все трое, пожилые потомственные горняки, солидные и серьезные, приготовились выслушать что-то важное и новое.

- Да ты им скажи, что ихние социал-предательские вожди - все эти Макдональды, Томасы, Гендерсоны - это изменники рабочего класса, их повесить надо. Потому как единственная партия, которая, конечно, так сказать, рабочий класс во как защищает, - эта ихняя забастовка, мы, конечно же, помогаем, золотом, - ты скажи им - **ЗОЛОТОМ**, им, сукиным сынам - переводим, они разве ж понимают. Ты им скажи...

Горбачев говорил совершенно бессвязно и не потому, что он был пьян, а просто потому, что, оказалось, он говорить не умеет. Говорил так, как часто говорят в Советской России пролетарии: без подлежащего, без сказуемого, без начала и без конца. И главное, требовал от меня точного и полного перевода. Останавливался после трех-четырех минут такого несвязного нанизывания одного слова на другое и требовал:

- Да ты верно переводи, слышишь.

А Слуцкий, попыхивая трубочкой, тоже пьяный, но еще не дошедший до точки, следил за каждым моим словом, и если я, стыдясь перед англичанами того, что у нас такое начальство, старалась невольно облечь фразу хоть в какую-нибудь форму, прерывал меня и требовал почти дословного перевода.

Англичане слушали внимательно и настороженно. Они переспрашивали меня, старались уловить смысл, не понимали, огорчались, потом им подливали все чаще и чаще коньяку, а Горбачев поминутно поднимал бокал и лез к ним чокаться.

- Выпьем, товарищ... (следовало нецензурное ругательство).

В салон-вагоне жарко и накурено. Ярко горит электрическая люстра, скатерть смята, залита вином, усыпана пеплом папирос. Рядом с Горбачевым - еще какой-то русский коммунист, подсевший к нам в Петровске. Четыреугольное грубое лицо, бесцветные выпуклые глаза смотрят не отрываясь на одного из делегатов. Никакой мысли в них нет, никакого выражения... Горбачев продолжает то, что ему самому кажется верхом коммунистического дипломатического искусства. Он нанизывает безо всякой связи слова одно на другое и требует перевода.

Мне противно и неприятно перед англичанами, и забываю, что ведь они по-русски ничего не понимают.

Наконец, в разговор вмешивается Слуцкий:

- Товарищ Джеймс, считаете ли вы, что ваши вожди Томас, Рамзэй Макдональд и другие защищают интересы рабочего класса?

Слуцкий, говоря хорошо по-английски, в разговорах с делегатами пользуется почти исключительно русским языком и требует очень точного перевода. Думаю, что таким образом он имеет возможность хорошо продумывать ответы, а кроме того, всегда, в случае какой-нибудь ошибки, свалить все на неправильность перевода.

Джеймс пыхтит своей трубкой и на минуту задумывается:

- Нет, конечно, это профбюрократы, они давно забыли, что сами были когда-то рядовыми рабочими, они получают большое жалование и не всегда бывают на высоте.

- Значит, вы за то, чтобы их сменить?

На такой, прямо поставленный, вопрос ни один из делегатов обычно отвечать сразу не хочет.

- Ведь они срывают стачки, они сорвали, например, всеобщую забастовку, они идут на компромиссы с предпринимателями, одним словом - они предатели рабочего класса? Не так ли? Не лучше ли наша советская система, где каждый волен выбрать кого хочет, где рабочий имеет право критиковать, где самая широкая демократия. Вот теперь вы и ваши товарищи проехали по нашей стране, видели ли вы недовольство среди рабочих? Жаловался ли кто-нибудь вам на угнетение? Буржуазные газеты клеветают на нас, но вы, когда вернетесь в Англию, ведь вы так же, как и все ваши товарищи, сделаете доклады и расскажете, что вы видели в стране социализма?

- Да, да, долой предателей Томаса, Макдональда, долой Болдуина и Хигса, да здравствует советская Англия!

Мы все оборачиваемся от неожиданности. Оказывается, что на боковом диване давно уже сидят делегатские коммунисты: Ллойд Дэвис, Уильямс и редактор «Сэндей уоркер» Поль. Это Ллойд Дэвис истекает теперь энтузиазмом.

Англичанам-социалистам становится неудобно.

- Да, конечно, мы против этих социал-предателей.

Тут Слуцкий дергает за поплавок:

- Так вы вставите этот пункт в свою резолюцию? Иначе русские рабочие подумают, что вы поддерживаете предателей рабочего класса, что вы на стороне твердолобого правительства, а ведь наши рабочие урывают деньги из своей заработной платы, чтобы помочь теперь вашим бастующим братьям. Русский рабочий класс ожидает от вас свержения вашего буржуазного правительства. Ведь если в Англии будут Советы, мировая революция и торжество рабочего класса обеспечены, тогда Советский Союз не будет так изолирован.

Англичане мнутя, несмотря на солидное количество выпитого коньяку. Ллойд Дэвис, конечно, заранее прорепетировавший свою роль с тем же Слуцким, подбегает к столу с бумажкой в руке.

- Вот я здесь сформулировал этот пункт. Посмотрите, товарищи, ведь так будет вполне приемлемо? Раз русские рабочие от нас этого ждут, простое чувство пролетарской солидарности заставляет нас вставить это.

Мистер Джонс надевает очки и пытается прочесть написанное. Но он умен и проницателен - этот шахтер-ветеран, ему под семьдесят, он видал виды, и, несмотря на дьявольскую хитрость большевиков, он до сих пор не поддался ни на одну из их провокаций. Так и теперь он спасает положение.

- Я сейчас плохо вижу, позвольте взять этот пункт к себе в вагон, завтра мы посмотрим с товарищами и

решим, подписать его или нет.

Слуцкий чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается настоять на своем:

- Но ведь этот пункт всецело отражает настроения делегации, ведь вы только что были совершенно согласны с товарищем Джеймсом? Не стоит оставлять на завтра.

Но если британец на чем-нибудь уперся, его трудно сдвинуть с места. Любезно улыбаясь, все три делегата встают, жмут руку Горбачеву, его соседу - коммунисту и Слуцкому и уходят к себе в вагон. Коммунисты остаются. Представление окончено. Занавес спущен, и режиссер накидывается на незадачливого статиста:

- Ну и зачем ты раньше времени выскочил! Я же тебе говорил, что я знак сделаю рукой, когда тебе говорить. Теперь старик заупрямился, а завтра и совсем раздумает, ты же знаешь, какие они все осторожные.

Ллойд Дэвис моргает глазами и пытается оправдываться: - Я думал, что как раз время, мне показалось...

- Показалось, показалось! Ни в чем на вас нельзя положиться, того и гляди в лужу сядете.

И Слуцкий, теперь говорящий на английском языке с акцентом Сохо-сквера, испускает площадное английское ругательство.

Я спешу скрыться, чтобы меня не заметили.

Ибо не дай бог беспартийной, если она нечаянно узнает секреты посвященных. Она тогда становится опасной и с ней могут посчитаться.

На следующее утро делегаты оживленно обсуждают резолюцию, спорят, переделывают ее по-своему, женщины принимают в дискуссиях самое живое участие. Ни к какому определенному тексту они еще не приходят. О пункте, обсуждавшемся в прошлый вечер,

Слуцкий вопроса пока не поднимает. Он понимает, что сейчас еще не время.

Поезд мчится и мчится, англичанки умиляются величине России. Они уже устали от поездки и хотят на родину. Кроме того, в Москве их ожидает почта, и им хочется поскорее ее получить.

Вечером повторяется та же история, что и накануне. Только вместо первых трех делегатов приглашаются следующие три. Женщин Горбачев игнорирует, он считает, что мужчины на них, конечно, повлияют и что те подпишут все, что подпишут председатель и секретарь делегации. Снова те же бессвязные речи, снова коньяк в самых невероятных количествах, снова попытки Слуцкого провести пункты, резко отмежевывающие делегацию от Лейбористской партии. Так постепенно готовится окончательный текст резолюции, которая должна быть подписана в последний день путешествия, так как в Москве уже будет некогда, и делегаты будут отвлечены мыслями об отъезде.

Последний день - самый трудный. Текст почти готов. Покидая пределы СССР, делегаты благодарят советское правительство и народ за оказанный им прием, считают, что советская власть ведет страну к прогрессу, что здесь действительно осуществляется на практике социализм, что в области социального страхования, отпусков, пособий по беременности, охраны материнства и младенчества, и прочее, и прочее, достигнуты огромные успехи. Имеется также пункт о проклятом царском наследии, о Гражданской войне, которая, дескать, разрушила страну и до сих пор задерживала развитие дорог, городского благоустройства и т. д. Имеется пункт о лжи и клевете буржуазной прессы, каковые ложь и клевету делегаты обязуются опровергать во всех своих докладах на шахтах. Но большевикам никак не удается заставить

англичан принять пункты о предательстве их профсоюзных вождей, о желании превратить Англию в страну советов. Тут не помогли ни лукулловы пиры, ни ликеры, ни коньяки, ни самовары. Мало того, они хотят даже вставить свои собственные пункты о замеченных ими на шахтах непорядках, но против этого и Горбачев, и Слуцкий так настойчиво возражают, что делегаты из вежливости уступают. В одном они ни за что не хотят уступить – это в пункте об антисанитарных условиях в Донбассе и на нефтяных промыслах. И так как резолюция, при небольшой критике, приобретет безусловно большую аутентичность и правдоподобность, наши «вожди» соглашаются. Делегатки почти довольны и горды: все-таки и свой пункт удалось вставить.

На четвертое утро мы подъезжаем к Москве. На вокзале нас встречает Гецова с букетом цветов и представители ВЦСПС. Предстоит еще посещение Большого театра, последний прощальный ужин, и завтра делегация покинет пределы СССР.

В гостинице «Балчуг», где делегация снова разместилась, мне приходится невольно быть свидетельницей подкупа большевиками английских коммунистов. Уильямс и Ллойд Дэвис обращаются ко мне с просьбой сказать Гецовой, что у них не осталось ни гроша в кармане и что у одного порвались брюки, а у другого башмаки. Я передаю их просьбу Гецовой. Ей, видимо, очень неприятно, что они обратились к ней именно через меня. На следующее утро мы с Софьей Петровной сидим в номере и разговариваем, когда появляется Гецова и просит Софью Петровну позвать Ллойд Дэвиса и Уильямса. Те приходят, и я вижу, что Гецова смотрит на меня как-то недовольно выжидающе. Не могу понять, в чем дело. Наконец она говорит:

– Товарищ Солоневич, выйдите, пожалуйста, на минутку, нам нужно поговорить с товарищами.

Выходя, я слышу:

- Соня, скажи им, что я фунтов не достала, придется им дать долларами.

Вечером мы все на Белорусском вокзале провожаем делегацию. Объятия, рукопожатия, пожелания счастливого пути. Делегаты получили на память со снимками их маршрута альбомы, им дали отдельный вагон до Негорелого и снабдили всем необходимым. Гудок, оркестр рабочих завода «Динамо» играет Интернационал, и поезд гладко отходит, увозя милых англичан в далекую и такую недоступную Европу.

При прощании миссис Честер и мистер В. просили меня писать им, и мы затем несколько лет переписывались. На следующий год к октябрьским торжествам мне сообщили, что один из делегатов просит меня зайти к нему в номер. Я зашла, и, к моему величайшему удивлению, получила от миссис Честер отрез на синий шевиотовый костюм. Оказалось, что она два раза высылала его мне простой посылкой и оба раза получала обратно с надписью «к ввозу запрещено». Она и представить себе не могла, что мануфактура многие годы не пропускалась из-за границы в Россию, и, наконец, решила передать мне этот отрез через делегата. С каким трепетом я выносила его из отеля – один бог знает, и мне до сих пор удивительно, как меня при выходе не остановили и не арестовали. Бывают чудеса на свете! Милая добрая миссис Честер, она видела бедность моего костюма и решила меня порадовать подарком. О том, как я ей за этот подарок была благодарна, не буду и говорить.

## В лефортовском изоляторе

После отъезда делегации я стала искать себе новую работу. Мечты о загранице, которая одна могла избавить нашу семью от большевистской жизни, нас не оставляли. Я решила попытаться счастья в Наркомате внешней торговли. Подала заявление о том, что прошу командировать меня в какое-нибудь торгпредство в качестве стенографистки-машинистки со знанием четырех языков. Заявление было принято, меня пригласили на экзамен, проверили знание стенографии и знание языков, затем спросили – где я работаю. Когда я сказала, что я безработная, сделали кислую мину и предупредили:

– Вот когда вы найдете работу в Москве да послужите парочку лет в учреждении, имеющем какую-либо связь с заграницей, тогда приходите снова. Из провинции мы работников не командидуем.

Одновременно со мной держала испытание стенографистка Профинтерна, которая хотела переменить работу. В день, когда мне отказали, я встретила ее на лестнице Наркомвнешторга, она бежала красная и возбужденная вверх. Я спускалась.

Не останавливаясь, она помахала мне рукой и крикнула:

– Иду за паспортом, уезжаю в Константинополь!

Как я ей позавидовала! И вместе с этой завистью в мою душу закралась мысль о том, что, может быть, для осуществления нашей цели – ухода из СССР – стоит начать работать как раз в Профинтерне. Но эта мысль зажглась и потухла. Однако судьба ее как будто подслушала, потому что на следующий день Гецова позвонила моему мужу на службу и сказала, чтобы я пришла, так как для меня есть временная работа.

Снова Дворец труда. Длинные полутемные коридоры, полные мечущихся людей, разыскивающих то тот, то другой профсоюз. Ибо до самого последнего времени человек, попадавший во Дворец труда, бродил, как верблюд в пустыне. Бесплодны всякие вопросы, задаваемые встречным, можете быть уверены, что они тоже ничего не знают и направить вас в нужное место не могут. Комнаты, комнаты, комнаты с номерами, очень часто безо всяких надписей. Как тут что-нибудь найти? Только в 1932 году начальству пришла в голову гениальная по своей простоте мысль - вывесить в каждом этаже список помещающихся в нем учреждений. Но так как в Советской России нет ничего стабильного, учреждения эти кочуют из комнаты в комнату и из этажа в этаж, так что и знаменитые указатели большой помощи советским гражданам оказать не могут.

Снова Комиссия внешних сношений. И снова товарищ Гецова, «висящая» на телефонах. Десять минут ожидания. Потом;

- Ах это вы, товарищ Солоневич? Хорошо, что пришли, а то я хотела уже за вами посылать. Надо пойти с двумя австралийцами в Кремль и в Лефортовский изолятор. Сейчас устрою пропуски.

Потом взгляд на мои ноги. А в Салтыковке к концу ноября так развезло, что туфли мои являют собой совсем не эстетическое зрелище. Я пытаюсь их спрятать под стул, но Гецова продолжает:

- Что это, разве у вас калош нет?

- Нет. Искала-искала, но никак не могу найти.

- В таком виде нельзя идти с иностранцами. Надо почистить. А на калоши я вам выпишу талон в Инснаб.

Сказала и опять повисла на телефонах. Звонила в Кремль, в Управление домами заключения, опять в Кремль.

Я смотрела на эту красивую женщину и вспомнила, как Софья Петровна рассказывала мне, что Таня Гецова из очень хорошей семьи и что поэтому ее не принимают в партию, что она была крайне несчастна в браке, развелась, а теперь влюблена в одного немца – видного коммуниста. Он приехал в Москву с какой-то немецкой делегацией. Таня была тогда еще переводчицей – она отлично владеет немецким языком, – поехала с делегатами в турне по России, оба влюбились друг в друга, но он оказался женатым человеком и... уехал обратно в Берлин.

Через год после того, как я познакомилась с Гецовой, она добилась разрешения на кратковременный выезд в Берлин, причем клятвенно обещала вернуться в положенный срок. За нее поручились два коммуниста, – а когда срок пришел, она не вернулась, вышла в Берлине фиктивно замуж за немецкого коммуниста Штрауса и стала германской подданной, так что большевикам не оставалось ничего иного, как с этим фактом примириться. Когда в 1928 году я приехала на службу в берлинское торгпредство, я встретила Гецову как-то вечером в торгпредском клубе на Дессауэрштрассе, а потом – потом произошло нечто совсем для меня неожиданное. Придя в обеденное время наверх, в «казино», то есть в торгпредскую столовую, я своим глазам не поверила. Гецова, ворочавшая когда-то Комиссией внешних сношений, стала заведующей торгпредской столовой. В белом халате она бегала между столами, а иногда и носила сама тарелки с супом или жарким товарищам, которые иногда громко выражали недовольство размером порции или найденным в тарелке женским волосом.

Она меня часто приветливо останавливала, заговаривала со мной о том и о другом, приглашала к себе (она жила со своим возлюбленным, который так

развода добиться и не смог, и имела от него ребенка). Но я к ней так и не собралась.

В торгпредской столовой, как правило, шли кражи и злоупотребления, Гецова стала экономить на том и на другом, меню ухудшилось, сотрудники возмутились, стали писать о ней в стенгазете, стали форменно ее травить, так что в один прекрасный день она пришла ко мне и стала спрашивать, на знаю ли я, в какой отдел ей проситься, чтобы как-нибудь избавиться от столовки.

Очевидно, принимая во внимание ее прошлые заслуги перед советской властью, а также роль, которую играл ее фактический муж в Германской коммунистической партии, к ней отнеслись и на этот раз снисходительно и перевели ее экономистом в отдел оптических приборов, но потом окончательно сократили. Впрочем, ей удалось перебраться в Дерунафт (Deutsch-Russische Naphta-Gesellschaft). Оказалось, что в Германии она сразу поступила в немецкую компартию, чем очень гордилась. Как она живет в новой национал-социалистической Германии, сказать затрудняюсь.

Через два часа я сидела в шикарном номере гостиницы «Савой» и ждала, пока миссис Х. пудрилась, я надевала шляпку. Оказалось, что это действительно австралийцы: он – миллионер из Мельбурна, пожилой дородный господин, с добродушным румяным лицом, она – прехорошенькая француженка лет тридцати, избалованная и капризная. В автомобиле, который повез нас в Кремль, австралиец сидел на переднем сиденье и два раза чуть не вылетел на мостовую, так как дверца то и дело раскрывалась, а шофер заворачивал на углах с беспощадным ухарством, свойственным, кажется, во всем мире только московским шоферам.

У всех ворот Кремля стоит сильная охрана. Комендатура находится у Никольских ворот. Я зашла в комендантскую с пропуском, дежурный справился по телефону, отметил число, час и минуту нашего входа, и мы все трое прошли под столь знакомыми мне по моим прежним посещениям Москвы в детстве и юношестве сводами Никольских ворот. У меня сильно билось сердце. Ведь я вхожу в цитадель большевизма. Здесь где-то, в этих прекрасных белых дворцах, решаются судьбы моего народа, здесь выносятся драконовские и бессмысленные законы, здесь спит, ест и живет всеми ненавидимый, страшный Сталин...

Безлюден и как будто бы мертв Кремль внутри. По каменным плитам шагают часовые, изредка пройдет красный офицер конвоя, но в общем странно пустынно. Не верится, что здесь бьется пульс великой страны. Анахронизмом кажутся царь-пушка и царь-колокол... Впереди и позади нас вооруженные люди. Нас ли они охраняют от кого-нибудь или кого-нибудь от нас? Вот и Оружейная палата. Музей – без посетителей, на все залы – мы единственные. Женщина-гид ведет нас и дает разъяснения, я перевожу. Австралийцы остаются равнодушными к старине, но им льстит, что они смогли проникнуть в цитадель правительства. Когда мы выходим из палаты, они спрашивают, нельзя ли заснять внутренний вид Кремля. Оказывается, что у мистера Х. в кармане миниатюрный аппарат. Я перевожу его вопрос конвоиру. Тот меняется в лице.

– Как, у него есть аппарат? Разве вас не предупредили, что аппарата ни в коем случае в Кремль брать нельзя? Ни под каким видом нельзя фотографировать. Скажите им сейчас же.

Я перевожу. Австралиец неприятно поражен.

– Но ведь здесь нет ничего особенного, двор как двор, я хотел просто на память. Странно!

– Строго запрещается.

Конвой спешно выводит нас из Кремля через те же ворота. Новый штемпель на пропуске, который затем забирает последний караул. Насколько я могла заметить, минимум человек десять стоят у начала ворот, посреди и в конце ворот, а в караульной сидят человек двадцать.

Принимая во внимание, что охраняется пять ворот, это составляет одного внешнего караула человек сто.

Австралиец интересуется:

- Скажите, а нельзя ли нам повидать Сталина? Бывает ли он в театрах, на собраниях? Гуляет ли он, как английский король, в каком-нибудь парке, ездит ли верхом?

Но в 1926 году Гитлер еще не был у власти и никто не вызывал у Сталина черной зависти по линии популярности у народа. Тогда Сталина было невероятно трудно увидеть. Кроме майского и ноябрьского парадов и пары съездов в году, он нигде не показывался. Его портретов нигде не печатали. Нужно было, чтобы Гитлер пришел к власти, чтобы появились его портреты в кино и в газетах, где он был изображен разговаривающим с детьми, окруженным молодежью, произносящим речь на предприятиях, чтобы Сталин решился показать и себя «своим народам». Когда я вижу известный снимок, изображающий зловещую физиономию «обожаемого» Иосифа Виссарионовича рядом с головкой чернокудрой маленькой девочки, мне становится тошно. Так не вяжется это бездушное жестокое лицо с лицом невинного ребенка. Это просто профанация.

И я объясняю австралийцу, что Сталина увидеть нельзя.

- Странно, ведь даже папу римского можно видеть.

По возвращении в отель мы уславливаемся, что завтра утром я заеду за ними, чтобы ехать в изолятор.

Признаюсь, я не люблю страданий. Описание страданий в книге, тяжелая пьеса в театре или трагический фильм в кино – меня отталкивают и глубоко расстраивают. По натуре я оптимистка, и мне всякое страдание кажется гримасой жизни, позором человечества. Если бы человечество было умнее, оно должно было бы окончательно побороть и нищету, и страдания. После же того, как вся моя семья сидела при большевиках в тюрьме, после того, как моя мама умерла в тюрьме, – я ненавижу всякое место заключения. И для меня совершенно непонятно, как находятся люди, которые, приезжая в чужую страну, первым делом хотят посетить пенитенциарные учреждения. Более того, упрощенно – мое мнение таково: ни одна тюрьма никогда не исправляет преступника, а, наоборот, толкает его на новые преступления. Будучи позже в Германии, я из судебных отчетов узнала, что почти все преступники – люди, состоявшие под судом и отбывавшие наказания по четыре, пять, иногда – пятнадцать раз... Это подтверждает мое мнение.

В силу такого моего склада характера ехать в Лефортовский изолятор мне было крайне неприятно. Я сказала Гецовой, что завтра у меня есть очень важное дело и что я прошу меня кем-нибудь заменить. Она вдруг рассердилась:

– Где же я теперь найду английскую переводчицу! Что еще там за дело! Нет, нет, обязательно поезжайте в изолятор. Если бы дело шло о французском или немецком языке, я нашла бы кого-нибудь, а на английский сейчас никого нет. Игельстром уехала в Ленинград с одним американцем. Иначе я скажу Мельничанскому, и он вас мобилизует. Вы не имеете права отказываться, раз взялись.

Пришлось ехать.

По дороге австралийка-француженка рассказала мне, что они с мужем ездят вокруг земного шара, теперь им осталась еще Индия и Япония, они в пути уже тринадцать месяцев и очень много видели интересного. И в каждой стране они посещают хоть одну тюрьму. Так интересно посмотреть на преступников. Есть такие страшные.

Я решила ей сказать, что в советских тюрьмах сидят большей частью не уголовные, а политические преступники. Она открыла свои наивные синие глаза.

- О, политические, это тоже интересно. А что они сделали?

Я поняла, что для того, чтобы ей объяснить хотя бы в общих чертах, за что сидят десятки тысяч в советских тюрьмах, мне необходимо, во-первых, часа два времени, а во вторых – быть за границами досягаемости ГПУ. Поэтому я ответила:

- Это люди, которые недовольны существующим режимом.

Старый муж ее, по-видимому, кое-что понял, потому что в глазах его промелькнул лукавый огонек. Но француженка осталась такой же девственной, как и прежде.

Автомобиль подъехал к Лефортовскому изолятору. Это сравнительно небольшая, но очень строго охраняемая тюрьма. Одновременно она является и показательной, хотя ни по гигиеническим условиям, ни по содержанию заключенных ее нельзя сравнить с английскими или германскими тюрьмами. Я много слышала о чистоте последних от немецких и английских коммунистов, приезжавших в СССР.

Изолятор снаружи имеет вид крепости. Мы сошли с автомобиля, предъявили пропуск (впрочем, администрация была уже, разумеется, заранее предупреждена управлением домами заключения о нашем визите), и мы вошли в первое здание. Тут нас

встретил изысканно приветливый и вежливый начальник тюрьмы. К сожалению, не помню его фамилии. Шутливо улыбаясь, он повел австралийцев в канцелярию, где просил их сказать ему, чем они особенно интересуются, и дал цифровые сведения, указав на достижения советской власти в пенитенциарной области.

- У нас нет тюрем, а только исправительные дома. Мы делаем из преступников честных людей, приучаем их к труду, даем им возможность учиться. У нас есть мастерские, клуб, библиотека. Заключенные бывают на митингах и собраниях, им читают лекции...

Потом мы спустились по лестнице во двор. Кругом поднимались высокие красные кирпичные корпуса, а между двумя из них - большие тяжелые ворота и около них караул. Оказалось, что мы еще только в преддверии изолятора и в корпусах живут только служащие. Прошли через ворота и массивная дверь захлопнулась за нами, лязгнул замок. У меня похолодело на сердце. Вспомнилась одесская тюрьма. Стало невыносимо тяжело.

Во втором дворе - высокий корпус изолятора с узенькими окнами за тяжелыми решетками. При входе снова караул. Мелькнула мысль: отсюда убежать совсем уж невыносимо... Мрачные лестницы, металлические помосты, балконы и этот непередаваемый, специфический тюремный запах. Тяжелый и назойливый. Запах скученности и параш.

- Это особо строгая тюрьма, - поясняет начальник все с той же благодушной улыбкой. - Здесь сидят только те преступники, которые присуждены не менее чем на пять лет. И только за тяжелые преступления.

У австралийки разгораются от любопытства глазки. Мне становится нестерпимо противно. Как несправедлива судьба! Тут это никчемное ветренное созданыце, которое может пользоваться полной

свободой и которое никогда, наверное, не попадет за решетку, пока в Австралии не будет большевистской революции, а там за тяжелыми дверями ценные люди, иногда титаны мысли, осмелившиеся даже при каторжном сталинском терроре оказать какое-то сопротивление, может быть, заявить громко, что они хотят свободно дышать и думать.

Начальник останавливается около одной камеры.

- Здесь сидит уже седьмой год один старый грузинский революционер. Он принял участие в восстании, отошел от рабочего класса, от генеральной линии партии. Упрямый старик, вот сами увидите.

И он поворачивает ключ в замке. Маленькая узкая камера. Под потолком небольшое окошко, выходящее в стену. Сюда, видимо, никогда не проникает луч солнца. У железной койки стоит - он, очевидно, встал при первом звяканье ключа, несчастный, может быть, ждет амнистии или... расстрела - старый высокий человек с седой бородой и густо нависшими бровями. Увидев двух женщин, он гордо отворачивается.

- Вот спросите его сами, за что он сидит, - хихикает начальник. - Ведь не скажет ни за что.

Я перевожу.

Австралийка любезно спрашивает:

- За что вы сидите? Что вы сделали?

Перевожу.

Молчание. Начальник вмешивается:

- Почему не отвечаете, это иностранцы, скажите, за что сидите.

Молчание.

- Удовлетворены ли вы тюремным режимом? Хорошо ли с вами обращаются?

Но старик уже повернулся спиной и продолжает хранить жуткое, почти невыносимое, молчание. Какая трагедия кроется в этой гордой старческой голове? Сколько похороненных надежд и иллюзий!

Начальник тюрьмы уже лязгает ключом. Дальше... Дальше... Он доволен, что старик ничего не сказал. Под его смешком скрывалась все же какая-то неуверенная тревога. А вдруг гордец не выдержит и скажет иностранцам что-нибудь неподходящее. Сколько душевных пыток должен был выдержать этот кавказец, чтобы так замкнуться в себе? И сколько пыток вынесли его родные, жена, дети?

Дальше, дальше...

Еще несколько камер, теперь уже не одиночных. В них по четыре человека. Камеры все тесны, раньше в них помещалось по двое. Между двумя парами нар остается только самое крошечное расстояние, достаточное разве чтобы с трудом протиснуться к окну и столу. И отовсюду несетя смрадный, отвратительный запах... Австралийка крутит своим напудренным носиком.

- Почему не открывают окон? Неужели нельзя было бы хоть на час в день проветривать камеры, оставляя двери и окна открытыми?

Начальник тюрьмы грациозно извивается.

- У нас уже работают над новейшей системой вентиляции. Скоро будут установлены огромные электрические вентиляторы...

Иностранцы удовлетворенно машут головой.

Это было в 1926 году. Через шесть лет, весной 1932 года, моя знакомая переводчица Интуриста посетила этот же Лефортовский изолятор с двумя американцами. Я спросила ее насчет вентиляции. Она ответила кратко, но вразумительно:

- Вонь такая, что мне чуть дурно не сделалось.

А ведь Лефортовский изолятор считается чуть ли не образцовой советской тюрьмой. В другие тюрьмы иностранцев не водят.

Теперь начальник тюрьмы ведет нас по каким-то коридорам, и мы входим в бывшую тюремную церковь.

Вместо алтаря устроена сцена, остальное помещение занято рядами скамей. Это клуб, и здесь проводятся доклады и лекции для заключенных. В данный момент клуб пуст и имеет очень запущенный вид, точно в нем давно уже никого не было.

Начальник начинает обычную песню о советских достижениях в области исправления преступников. Я перевожу. Австралиец надел очки на нос и записывает с самым серьезным видом. Лютя фразы о жестокости царского режима и о гуманности советского. Что мне делать? Что **мне** делать? Как дать понять этому австралийцу, что все это наглая ложь? Но я беспомощна, и пусть тот, кто в данных условиях был бы отважнее меня, бросит в меня камень. Дело в том, что, кроме начальника, за нами следуют по пятам еще двое типов, самого подозрительного вида. Конечно, чекисты. И кто их знает, что они понимают и чего не понимают в той странной смеси французского языка с английским, которой мне приходится пользоваться, так как австралийка лучше говорит по-французски – это ее родной язык, – а ее муж говорит только по-английски...

Из клуба нас ведут в библиотеку. Здесь тоже никого нет, только за столом сидит какая-то мрачная личность и записывает что-то в большую книгу.

– Это один из наших заключенных. Он заведует у нас библиотекой.

– В чем вы обвиняетесь? – спрашивает австралийка. Заключенный молча смотрит на начальника.

Тот говорит нетерпеливо:

– Ну, отвечайте, за что вы сидите.

Заключенный как будто смелеет.

– Да вы же сами знаете, что я ни в чем не виноват.

Такого ответа начальник, видимо, не ожидал. Первое, что он делает, – это впивается глазами в меня, как удав в кролика. Но я уже перевела:

- He says he's not guilty at all<sup>[24]</sup>.

К сожалению, на австралийцев этот ответ не производит желательного впечатления. Мистер Х. снисходительно пожимает плечами:

- Да, это они все говорят. Но за что-то же его все-таки арестовали?

Тем временем между начальником и заключенным уже произошел оживленный обмен мнениями: угрожающий шепот с одной стороны, испуганная реплика с другой. Клапан закрылся. Все в порядке.

Начальник объясняет:

- Он взял большую взятку, занимая очень ответственную должность. Пять лет изолятора.

Мы удаляемся. Боюсь, что бедному библиотекарю дорого обойдется его срыв...

- А теперь я покажу вам наши мастерские. Советская власть стремится вывести преступников на путь честного труда. Каждый должен изучить какую-нибудь специальность. У нас есть разные мастерские, но я покажу вам трикотажную.

Мы выходим из главного корпуса. Гулко захлопываются за нами тяжелые двери. Внутренний двор. Всюду часовые. В подвале соседнего корпуса тюремщики открывают новую дверь, и мы спускаемся в подземелье. Глаза не могут сразу привыкнуть к царящему тут полумраку. Гудят текстильные машины, между ними работают несколько десятков заключенных. В то время как я перевожу мистеру Х. какие-то интересующие его детали и начальник ведет нас дальше, меня вдруг хватает кто-то за рукав. Это так неожиданно, что я вздрагиваю. Быстро оборачиваюсь. Это один из наших подозрительных спутников.

- Товарищ переводчица, идите скорее, там надо переводить.

Оказывается, что наша австралийская француженка отстала от нас и ведет оживленный французский разговор с каким-то заключенным. Это высокий, стройный молодой человек, с очень правильными и красивыми чертами лица, с большими карими глазами. Переводить здесь мне совершенно нечего, ибо оба наперебой болтают по-французски. Разговор идет самый оживленный. Оказывается, мать молодого человека француженка, живет в Париже и не знает, что он арестован и заключен в изолятор на шесть лет. О своем «преступлении» молодой человек отвечает как-то уклончиво. Он не то возвращенец, не то был выпущен в свое время во Францию, а теперь вернулся, причем проиграл в рулетку в Монте-Карло крупную советскую сумму. Одним словом, история весьма темная. Бояться за него большевикам, видимо, нечего. Он не скажет ничего того, чего нельзя было бы сказать, а впечатление у иностранцев создастся такое, что вот, дескать, им позволили даже самим поговорить с заключенными без помощи переводчика.

Молодой человек влюбленно смотрит на миссис Х. и умоляет ее написать его бедной матери, «а ma pauvre mère», и сказать, чтобы она не волновалась, что ему здесь не плохо.

Австралийка очень тронута. Она обещает, записывает адрес. Чекист позвал меня только для видимости, никогда начальник не допустил бы так спокойно подобного экспромта.

Все заканчивается, таким образом, к обоюдному удовольствию. Я до сих пор думаю, что этот молодой человек был подставным заключенным.

Бледные лица остальных заключенных провожают нас, и глаза смотрят умоляюще и укоряюще. Кто и когда освободит их...

У отеля «Савой» мы прощаемся, и австралиец пытается дать мне что-то на чай. Я, конечно,

отказываюсь.

А вернувшись в свою Австралию, он, вероятно, будет говорить;

- В Стране Советов на чай не берут.

## На новой работе

На этом моя работа с делегациями временно прекратилась. Обстоятельства принудили меня перейти на международную профсоюзную работу. Произошло это так.

Когда на следующий день после отъезда австралийцев я пришла к Гецово́й за деньгами, она мне сказала;

- Несколько раз звонил Слуцкий, зайдите к нему сейчас же. Он в Профинтерне, вы знаете - пятый этаж, рядом с конференц-залом.

Я поднялась на пятый этаж. Здесь, как и в четвертом этаже Дворца труда, где помещается ВЦСПС, потолки выше, окна больше, коридоры чище. На дверях надписи:

ФРАНЦУЗСКАЯ СЕКЦИЯ  
АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ СЕКЦИЯ  
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ СЕКЦИЯ  
ОРГОТДЕЛ АГИТПРОП

и прочее в том же «международном» духе.

Первое, на что я натолкнулась, был... негр. Согласитесь сами, что встретить негра в самом центре Москвы все же большая редкость. Как затем оказалось, он был представителем американских негров и ведал пропагандой среди негров всех стран, где таковые могли обретаться. Он очень любезно указал мне, где конференц-зал.

В этом зале происходят заседания Профинтерна и стоит огромный, вдоль трех стен буквой П тянувшийся стол, крытый красным сукном. На стенах, как водится,

портреты вождей. На одной из боковых дверей – маленькая, едва заметная вывеска:

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ГОРНЯКОВ

Вхожу. Два стола и два еврея: Слуцкий и Кушинский. Слуцкий разъясняет мне, что ему нужна такая работница, как я, то есть знающая языки, машинку, стенографию. Ему нужно привести бумаги Комитета в порядок. Комитет существует с 1921 года, но служащих в нем, кроме самого Слуцкого, до сих пор не было. Есть большой архив писем и протоколов заседаний заграничных секций комитета. Их нужно классифицировать по странам, нужно создать картотеку. Комитетом выписываются иностранные журналы по горной промышленности, нужно из этих журналов выбирать все, что касается добычи угля, руды, цветных металлов, роста безработицы среди горняков всех стран, шкалы заработной платы, условия труда, коллективные договора...

Я слушаю. Все это так мало мне знакомо, ведь я вообще впервые познакомилась с горняками только два месяца тому назад.

Слуцкий говорит:

– Ничего, товарищ Солоневич, вы человек понятливый, а тут и товарищ Кушинский вам поможет. Мне придется теперь на месяц уехать. Надо, чтобы, когда я вернусь, комитет смог начать работать. Приобретете мебель, канцелярские принадлежности.

– Но ведь я к этой работе не подготовлена.

– Пустяки! Не боги горшки лепят! Теперь только надо согласовать ваше назначение с Горбачевым. Лозовский уже дал распоряжение вас от Гецовой перевести к нам.

– А если она не согласится?

- Это уж наше дело. Да вы, может быть, не хотите работать для мировой революции?

И Слуцкий смотрит на меня иронически-пытливым оком. Вопрос поставлен ребром.

Я не успеваю, не соображаю, что ответить.

- Нет, нет, я пошутил. Вы ведь будете только технической работницей. Беспартийные делать мировую революцию не могут. И потом, мы и спрашивать вас не намерены - хотите вы у нас работать или нет. Мы вас мобилизуем, и кончено. Как член профсоюза, вы обязаны подчиниться. А теперь я позвоню Горбачеву.

Слуцкий берет телефонную трубку:

- Цека горнорабочих? Дайте Горбачева... Горбачев? Слушай, мы решили взять Солоневич в наш комитет. Да, да, конечно, технической работницей. Что? Не согласен? Почему? Пусть зайдет лично? Ладно, сейчас ее пришлю.

У меня екает сердце. Идти к Горбачеву? Зависеть еще раз от Горбачева?

- Товарищ Слуцкий, я вам очень благодарна за то, что вы хотите предоставить мне работу. Но право же, я для нее не подхожу. Посудите сами. Я политически еще так мало подкована, я боюсь, что не справлюсь.

Но моя хитрость не удастся. Слуцкий, как говорят в Советской России, «заел».

- Мы (он как-то особенно подчеркивает это «мы») считаем вас подходящей. Идите к Горбачеву. Ведь вы же не хотите, чтобы вас исключили из профсоюза за неподчинение профсоюзной дисциплине.

Еще бы я этого хотела!

Иду к Горбачеву. Что значит лишнее унижение для советского человека? Он и без того унижен, пришиблен, раздавлен так, как ни один гражданин другой страны. Порой сам себе становишься до того противным, что не хочется жить. Оттого-то в Советской России царит

озлобленное настроение, нервы у всех обнажены, достаточно мелочи, одного слова, толчка, иногда просто взгляда, чтобы тут же на улице, в магазине, в учреждении разыгрался самый гнусный, самый неприличный скандал.

Я шла по лестницам и коридорам и чувствовала себя, как очень часто и раньше, жалкой рабой. В буквальном смысле этого слова. Снова и снова овладевало страстное, безудержное желание бежать от этой проклятой сатанинской власти, которая не дает человеку даже возможности самому выбрать себе работу, которая закабалила шестидесятимиллионный народ, ограбила его, уничтожила лучших его сынов и с бесконечной наглостью обманывает весь мир, утверждая, что создала царство социализма. Бежать, да, бежать. Пусть за границей я буду голодать и нуждаться, но я буду чувствовать себя человеком, а не машиной в руках каких-то проходимцев.

Но вот и Центральный комитет профсоюза горнорабочих. Он, как один из наиболее производственных союзов, помещается тоже в привилегированном четвертом этаже. Вхожу в дверь, на которой гордо красуется:

## ПРЕЗИДИУМ

Огромная комната с ярко начищенным паркетом. В самом конце ее стол, за которым сидит белокурая, гладко причесанная женщина, которая при более близком контакте оказывается латышкой. Это тип старой коммунистки, на вид спокойной и простой женщины, на самом же деле опасной и безжалостной. Для них, отъевшихся и обюрократившихся, не существует ничего, кроме сухой догмы. Человек, как

таковой, никакой роли не играет. Сидят такие коммунистки – землячки в миниатюре – обычно на местах секретарш у главков, реальной работы у них никакой, нужна только «пролетарская бдительность». Часто они заведуют также отделом личного состава какого-нибудь ответственного учреждения, и это хуже всего. Об этих представительницах господствующей в России партии мне придется рассказать побольше, но уже в другом месте.

Недобрый, холодный взгляд встречает меня.

– Что вам, товарищ?

– Меня Слуцкий послал к товарищу Горбачеву.

Она берет трубку. Поворачивает голову ко мне:

– Как ваша фамилия?

– Солоневич.

Через минуту я вхожу в смежную с секретарской комнату. Это кабинет секретаря ЦК горнорабочих – Горбачева. Позже мне пришлось видеть кабинеты председателей разных центральных комитетов профсоюзов. Те еще шикарнее. Во всяком случае, Горбачев сидит там, как министр. Огромная комната, красивая дубовая мебель, шкафы с книгами, географические карты и диаграммы на стенах. Огромный министерский письменный стол, два телефона. Некрупная толстенная фигурка Горбачева и особенно его тупое лицо со свинными глазками резко дисгармонируют с этим кабинетом.

Он сухо здоровается со мной, даже не протягивает мне руки. Я ищу хоть какого-нибудь выражения торжества в его глазах, но не могу ничего найти. Владеть собой он умеет, это, между прочим, его отличительная черта.

– Что скажете, товарищ Солоневич?

– Товарищ Слуцкий сказал, что вы хотите меня видеть.

- Я вас вовсе не хотел видеть. Слуцкий предполагает взять вас к нам на работу. Но мне думается, что политически вы не совсем подготовлены. Вашей работой с английской делегацией я не вполне доволен.

- А помните, товарищ Горбачев, как вы меня в Горячеводске хвалили, говорили, что я хорошо перевожу.

Горбачев поджимает презрительно губы.

- Да, тогда мне так казалось, теперь же я другого мнения. Я хватаюсь за соломинку.

- Товарищ Горбачев, я ведь так просто для восстановления истины напомнила об этом. Лично я тоже держусь такого мнения, что эта работа не по мне. Мне, кстати, предлагают службу в одной библиотеке.

Но оказалось, что я неправильно рассчитала. На таких типов, как Горбачев, сопротивление оказывает как раз обратное действие: а, ты не хочешь, так я тебя заставлю.

Он встает и начинает ходить по кабинету.

- Знаете, товарищ Солоневич, вы слишком гордая. Нельзя так. Вы могли бы занять у нас хорошее место, только для этого надо бросить ваши... барские замашки. У нас ведь теперь так все просто делается.

Голос Горбачева становится все мягче. Вот он подходит вплотную к моему стулу. Кладет руку на спинку и нагибается ко мне совсем близко. Дыхание его обжигает мне шею, и я с ужасом чувствую, что от него разит водкой.

- Тамара, - говорит он, и это слово звучит так странно из его уст. - Тамара, ведь я к вам всей душой, ведь я вам приятелем хочу быть. Неужели вы этого за всю нашу поездку не заметили? Будете хорошей ко мне, любую должность получите, один поцелуй... - И он пытается запрокинуть мне голову назад.

Оторопев на секунду, я вскакиваю и во мгновение ока оказываюсь возле двери. Вылетаю в секретарскую, в коридор. Бегу сама не зная куда. Рассказать все мужу? Он вспылит, пойдет бить Горбачеву морду, а дальше? Разве можно против «них» бороться прямо? Нет, тысячу раз нет. Что делать... Как быть?

Три дня я не показывалась во Дворце труда. На четвертый день посыльный Профинтерна принес мне официальное извещение, что я назначаюсь на должность референта Международного комитета горняков.

Когда я явилась в комитет, Слуцкий встретил меня словами:

- Ну и битву же мне пришлось вынести из-за вас с Горбачевым. Но я к самому Лозовскому пошел. Ничего. А теперь приступайте к работе!

Об этой работе я должна буду рассказать в отдельных очерках так же, как о работе в берлинском торгпредстве, где я пробыла с 1928 по 1931 год. Цель данной книги - дать возможно полнее картину моей работы с иностранными делегациями. Для этого мне придется перепрыгнуть через пять лет...

## Через пять лет

Итак, мои стремления попасть за границу хоть отчасти увенчались успехом. Мне с моим сыном Юрой удалось хоть на три года покинуть Советский Союз. Мужа моего большевики так и не выпустили, несмотря на все его хлопоты и заявления. Даже моя серьезная болезнь, опасность операции со смертельным исходом, о которой телеграфировал в Москву главный врач немецкой клиники, не помогли. Бежать же он не мог, так как брат, Борис, был в это время в ссылке. Только очень надежным своим холопам разрешают большевики выехать за границу всей семьей. Обычно же обязательно кто-нибудь остается заложником.

Я была счастлива уже и тем, что Юра смог поступить в немецкую, а не советскую школу, что он смог овладеть немецким языком и приобщиться к высокой германской культуре. Хоть на три года я оторвала его от разлагающей советской системы воспитания.

Стать невозвращенкой я не могла, так как Иван Лукьянович оставался в Москве: его бы сослали в Сибирь, имущество конфисковали бы. И поэтому весной 1931 года я с бесконечно тяжелым чувством переехала обратно через советскую границу. Страшное ощущение охватывает советского гражданина, когда поезд отходит от последней польской станции Столбцы и медленно начинает проходить через пограничную зону к знаменитой, воздвигнутой большевиками арке, на которой стоит «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сердце сжимается, человек идет как на заклание, добровольно возвращается в клетку, из которой чисто случайно ему на время удалось вырваться... Будучи в торгпредстве, я каждое лето проводила отпуск в

Салтыковке, и каждый раз, переезжая границу, не знала, удастся ли мне снова выехать в свободную Европу. А теперь я возвращалась в СССР, как мне казалось, навсегда. Казалось, что жизнь вообще кончена. Насколько я знаю, даже видные коммунисты возвращаются в Советский Союз с очень тяжелым чувством.

## Снова у старого корыта

По приезде я обязана была явиться в Наркомвнешторг и сдать туда свой заграничный паспорт. Оттуда, как правило, служащий либо направляется на работу по линии внешней торговли, либо на свою прежнюю службу. И вот меня откомандировали к тому же Слуцкому. Горбачева уже давно не было. Он провинился в каком-то недосмотре, был обвинен в уклоне и отправлен на низовую работу в качестве директора одной из юзовских шахт.

За три года моего отсутствия из Москвы положение на всех фронтах ухудшилось. Коллективизация была в полном разгаре, продуктов питания не было почти вовсе, приходилось изворачиваться, как кто мог и умел. Если раньше, в 1926 и 1927 годах, еще сохранились остатки нэпа (новой экономической политики) и за деньги все же было можно достать самое необходимое, то теперь, в 1931-1932 годах, советская власть ввела карточки и распределители, уничтожив таким образом последнюю видимость равенства. Работавшая со мной в Международном комитете Е.И. Урисон-Фушман, жена заместителя наркома легкой промышленности Фушмана, имела пропуск в три самых привилегированных распределителя: ВЦИК, ЦИК и ГПУ, - и все же ее жизнь была не из легких. Как только Слуцкого не было в комнате, она начинала лихорадочно звонить по телефону, разыскивая свою «домработницу», как Советы считают необходимым называть прислугу, то дома, то в одном, то в другом, то в третьем из этих кооперативов и дирижируя ее дальнейшими передвижениями, в зависимости от получаемых от нее сведений о том, «что сегодня дают». Вообще этот вопрос - «что сегодня дают» - является

самым важным вопросом дня для советского гражданина. Ибо пропустить то, что сегодня дают, значило остаться на долгие недели без соответствующего продукта. Нередко происходили такие сценки. Урисон узнает, что «сегодня дают» лук в кооперативе ГПУ, но домработница стоит в очереди за гречневой крупой в кооперативе ЦИКа. Положение критическое. Приходит Слуцкий, и Урисон просит:

- Товарищ Слуцкий, сегодня в кооперативе ГПУ дают лук, можно мне пойти? Я пробегаю не больше чем полтора часа.

Слуцкий мрачно разрешает.

- Только и мне пару луковиц дадите.

- Ну, конечно, товарищ Слуцкий.

Хотелось бы мне знать, в каком еще государстве жена товарища министра (а Фушман занимал именно этот пост) должна, во-первых, служить, во-вторых, бегать и стоять в очереди за... луком! И это привилегированный слой населения. Что же говорить о массе! Во всем остальном, кроме продовольствия, Фушманы, впрочем, были обставлены несравненно лучше среднего советского обывателя. Так, например, когда Евгении Исааковне надо было разрешиться от бремени, она была устроена в Кремлевской больнице, что ее все-таки не спасло от того, что ребенок на девятый день умер от какой-то совершенно невиданной болезни - с него сошла вся кожа. Полтора года тому назад я прочла в газетах известие о трагической смерти Фушмана, он попал под паровоз, переходя через железнодорожный путь. Как-то теперь живет Евгения Исааковна!

Нужно отдать ей справедливость - она всегда делилась со мной и с другими своими знакомыми предоставленными ей привилегиями. В ее трех кооперативах давали первые годы неограниченное или, вернее, почти неограниченное количество некоторых

продуктов. И вот, придет она из одного кооператива, где, например, дают рыбу или конфеты (пусть на крахмале и без всякого вкуса!), и говорит:

- Тамара Владимировна, хотите карточку, там дают рыбу...

И вот после службы бегу в кооператив, прохожу, под страхом того, что всегда могут открыть, что я не Фушман, внутрь, предъявляю пропуск, стою в очереди, но зато вечером семье есть что сварить хотя бы на ужин.

Вторая моя сослуживица, Лидия Максимовна Израилевич, хорошенькая белокурая евреечка, русифицированная и наружностью, и петербургским акцентом настолько, что даже я, узнающая евреев по кончику носа или ушей, сперва стала в тупик: фамилия еврейская, а еврейского ничего нет, - тоже пользовалась карточками и пропусками Урисон-Фушман.

## **В штабе по приему делегаций**

Наступил октябрь 1931 года. Приближались ноябрьские торжества. Однажды утром я пришла по обыкновению на работу. Израилевич уже сидела за своим столом и что-то писала.

- Знаете, Тамара, и меня, и вас вызывали в Комиссию внешних сношений, наверное, опять придется ехать с делегациями.

В мои планы такая поездка совсем не входила.

- Я категорически откажусь. По семейным обстоятельствам я должна остаться в Москве. Разве за эти пять лет еще не создан определенный штат переводчиков? Ведь многие окончили Институт иностранных языков, кажется, достаточно надежная смена нам, старым интеллигентам.

- Я тоже не хотела бы ехать, но Гурман настаивает. Вряд ли удастся отвертеться.

- Одна надежда на Слуцкого. Если мы его попросим, он может нас просто не пустить.

В это время дверь отворилась и вошел Слуцкий. Как всегда утром, невыспавшийся и потому хмурый и раздражительный. Я решила воспользоваться этим его настроением:

- Григорий Юльевич, Гурман звонил, что хочет забрать меня и Лидию Максимовну для работы с делегациями.

- Что? Гурман? Ни в коем случае! Опять этот нахал у меня работниц сманивает! Вместо того чтобы самому создать штат, он все на чужой счет норовит. Не пушу.

Мы с Израилевич переглянулись. Ей, работавшей уже около четырех лет с делегациями, надоело ездить вечно по одним и тем же маршрутам. Вроде блаженной

памяти Софьи Петровны – она что-то раз одиннадцать побывала в Кисловодске.

Раздался резкий звонок. Слуцкий схватился за телефонную трубку. Через секунду его близорукие и обычно сощуренные глаза округлились и едва не вылезли из орбит от гнева. Произошел следующий диалог, одной стороны которого слышно не было, но о смысле ее легко было можно догадаться.

- Да, Слуцкий.

- ...

- Гурман, я тебе сто раз говорил, что своих работниц переманивать не позволю.

- ...

- Ничего подобного, я у тебя никого не переманивал.

- ...

- Я не виноват, что у меня хорошие работницы, которые владеют несколькими языками. Я не обязан только потому, что ты растяпа, уступать тебе своих служащих.

- ...

- Не пуцу, и кончено.

- ...

- Плевать мне на твои угрозы!

- ...

- Ну и жалуйся, черт с тобой!

Слуцкий возмущенно треснул телефонной трубкой о стол.

- Это просто безобразие. Он требует, чтобы я вас обеих освободил на три недели, на все ноябрьские торжества.

И выбежал из комнаты.

Увы, в этой неравной борьбе было ясно, что в конечном счете победит Гурман. Времена Гецовой прошли безвозвратно. Комиссия внешних сношений значительно выросла и изменилась в своем составе. Как

и большинство центральных советских учреждений за последние годы, она подверглась окоммунизированию. Во главе ее стоял теперь секретарь ВЦСПС Аболин (по последним сведениям, на днях смещенный с должности в связи с троцкизмом и синдикализмом), а заправлял всем Гурман. Невысокий щуплый еврей, лет тридцати пяти, с лысиной, очень подвижной, очень нахальный, коммунист и спекулянт, проживший много лет в Америке и говорящий хорошо по-английски. В общем, продувной парень.

Вместо прежних трех-четырех человек, теперь Комиссия внешних сношений состояла из двенадцати. За эти годы, что я не была в Москве, очень развилось Общество друзей СССР, которым заправлял англичанин Альберт Инкпин. Я слышала, что у него в Лондоне два собственных дома. Это не мешает ему быть членом политбюро Коммунистической партии Великобритании и генеральным секретарем международной большевистской организации, смущающей умы рабочих во всем мире.

В прежнее время Комиссия внешних сношений ограничивалась околпачиванием только рабочих делегаций. Теперь ее функции были значительно расширены. Всесоюзному фотографическому объединению «Союзфото» было поручено снабжать многочисленные иностранные иллюстрированные журналы левых тенденций фотографическими снимками, всегда прикрашенными, припомаженными и абсолютно не отображающими истинного положения вещей в СССР. Тут же издавался известный журнал «СССР на стройке» (UdSSR im Bau), который затем под аналогичным заголовком шел на разных языках во все страны. Изобретались письма ударников, описывавших новую жизнь при Сталине. Письма эти иллюстрировались фотографиями из квартиры автора – стол, покрытый скатертью, самовар, за столом

счастливая советская семья, на заднем фоне обязательно фикусы и окна с занавесками.

Нам, жившим в это время в СССР, противно было смотреть на эти «потемкинские деревни», ибо мы изо дня в день проходили по грязным улицам, мимо домов с облупившейся штукатуркой, с немытыми подслеповатыми окнами, на которых было все, кроме занавесок, так как еще со времен военного коммунизма, а затем в течение последующих страшных лет советского ига все занавески, пикейные одеяла и скатерти либо пошли в деревню в обмен на продукты питания, либо были перешиты на платья и белье.

У меня самой занавесок давно уже не было, а самовар в Совдепии вообще отошел в область преданий, так как деревянного угля не достать, и все кипятят чай на примусе.

Но это не мешало Союзфото давать бесконечные кипы чудесных снимков, снятых, как нам казалось, только для того, чтобы лишний раз поиздеваться над бедным советским гражданином:

- Вот смотри, как бы ты мог жить, если бы... не советская власть...

Под снимками делались надписи, которые затем переводились на все языки и отсылались за границу как для журналов «друзей СССР», так и для существующих на советские деньги еженедельников, вроде «Вю». Мне самой, после того как у меня снова завязались связи с комиссией, доводилось брать сверхурочную работу по переводу таких надписей.

Я получала в 1931 году высшую ставку для референта со знанием четырех языков - 250 рублей в месяц, из которых около 50 рублей уходило на займы, размещающиеся, как известно, в принудительном порядке, на Осоавиахим, профсоюзные взносы, общество «Друзей детей» и на другие поборы. Между тем мясо стоило 20 рублей килограмм, сахар - 25

рублей, одно яйцо – 2 рубля. Легко себе представить, что мне приходилось подрабатывать сверхурочно.

И вот непосредственно после службы, которая кончается в четыре часа, садишься в опустевшем комитете за иностранную машинку и начинаешь переводить всякие небылицы. Наступает вечер, в коридорах Дворца труда становится совсем тихо... И вдруг шуршание... Из своей норки вылезает мышь и начинает играть со своими мышатами в двух шагах от меня на полу. Потом лезет, как маленький акробатик, вверх по корзинке с бумагами, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь съестного. Но бедным мышам тоже в это лихолетье есть нечего было. Я не очень боюсь мышей, но как-то инстинктивно подбираю под себя ноги и пишу, пишу, иногда до девяти-десяти часов вечера. Подработаю рублей двадцать за вечер. Жаль только, что работа непостоянная была.

В Комиссии внешних сношений работал в одно время со мной и товарищ Ласло, известный теперь под псевдонимом «Рудольф». Это был очень милый и образованный венгерский коммунист, не знаю как попавший в Москву и там застрявший. Теперь он выпустил ряд антисоветских книг, но, насколько я знаю, все же от левых убеждений окончательно не отряхнулся. Ласло был замечателен тем, что знал энное количество языков и на все их переводил безукоризненно. Для большевиков он был, естественно, курицей, несшей золотые яйца, и они его эксплуатировали на полный ход.

Хаос в комиссии был невероятный. На мой взгляд, там, где управляет еврей, вообще порядка быть не может, а всегда будет спешка и то, что на добром одесском жаргоне называется «гармидер». Блеф и халтура процветали вовсю. Меня, например, никто никогда не проверял – правильно ли я подсчитала страницы перевода и реален ли счет. Подписывали не

читая. Гурман был вечно в бегах, вечно придумывал какие-нибудь жульнические комбинации и операции, всегда старался ухватить что плохо лежит. Остальные служащие почти ничего целые дни не делали, но атмосфера в комиссии была забавно деловая: шум, гам, беготня, споры из-за выеденного яйца.

Секретарша стонет, что она перегружена, хотя о перегрузке в нормальное время, то есть не в мае и октябре, когда приезжали делегации, не могло быть и речи. Словом, типичный советский бедлам.

## **В штабе по приему делегаций**

Итак, Слуцкий должен был уступить под натиском Гурмана, и мы с Израилевич были вызваны на первое заседание комиссии, в числе прочих переводчиц Дворца труда. В подавляющем большинстве это все были кадровые беспартийные служащие международных комитетов текстилей, металлистов, химиков и проч. Но было и несколько коммунистов. Они, правда, не очень владели языками, но кое-как могли объясниться, что при наличии партийного билета в кармане давало им гордый и независимый вид. Они ездили с делегациями больше в качестве наблюдательниц, политических руководителей и шпионов.

Израилевич уже раньше была знакома с Гурманом, так как она постоянно обслуживала Инкпина, когда тот приезжал в Москву. Я ее попросила, чтобы меня не посылали в провинцию с делегацией.

Она поговорила с Гурманом и после заседания радостно мне сообщила, что мы обе останемся в Москве, при «штабе по приему делегаций». В функции наши будет входить встреча делегаций на вокзале, сопровождение их в отель, обслуживание их в отеле, хождение с ними в разные учреждения в самой Москве, посещение по вечерам театров и концертов. Я лично, кроме того, должна буду сидеть днем на площадке между первым и вторым этажом и давать справки как делегатам, так и лицам, приходящим к ним в отель по делам.

Этой осенью 1931 года положение в СССР было очень напряженным, – крестьянские массы, раскулаченные и «колхозированные», перерезали весь имевшийся у них скот и, в предчувствии голода, стали покидать деревни и устремляться в города. Возле

вокзалов наблюдалась одна и та же картина: горы мешков и на них несчастные, изможденные, оборванные женщины с детьми. Так они дневали и ночевали под открытым небом у вокзалов. А мужья ходили в поисках какой-нибудь работенки и куска хлеба. Нищенство развилось страшное. Принимало оно иногда совсем удивительные формы.

Еду как-то в пригородном поезде. Как всегда, вагон набит битком. Открывается дверь, и между скамьями протискиваются трое людей в рваных полушубках и лаптях. Один из них бросается в проходе на колени и взывает:

- Дорогие братья! Помогите нам. Мы едем из Сибири, нам не хватает три рубля сорок копеек на билет до нашего родного места.

И он делает земной поклон.

Нужно отдать справедливость русским людям: несмотря на безмерно тяжелые годы, русская душа осталась отзывчивой к чужому горю. Там, где европеец пройдет равнодушно, русский отдаст последнюю копейку. Человек прошел вдоль скамей с шапкой и набрал гораздо больше, чем ему было нужно для его билета.

Говорили, что в рабочих районах, на Днепрострое и в Магнитогорске, положение со снабжением обстояло очень неважно, и поэтому было решено сократить вообще число приезжающих в СССР на ноябрьские торжества делегатов, а также провезти их только по испытанным местам - в те же Кисловодск, Сочи, Ялту... При этом поезда шли главным образом ночью, а утром делегатов высаживали каком-нибудь городе и возили по показательным учреждениям, чтобы они не видели всей нищеты глухой советской провинции - пустых базаров близ вокзалов и битком набитых вокзальных помещений и платформ. В эти годы русский народ

кочевал больше, чем когда-либо, из одного конца России другой, в поисках хлеба, с одной стороны, и просто безопасности - с другой.

## **В гостинице «Европа»**

Гостиница «Европа» на Неглинном. Два номера заняты специально под «штаб». Здесь целый день толпится народ. Ряд других номеров, наиболее шикарных, отведен «знатным» иностранцам. Фаворитом на этот раз является чешско-германо-еврейский писатель Эгон Эрвин Киш, поразивший воображение советского обывателя книгой, на обложке которой стояло:

ЭГОН ЭРВИН КИШ ИМЕЕТ ЧЕСТЬ  
ПРЕДСТАВИТЬ  
ВАМ АМЕРИКАНСКИЙ РАЙ...

Сейчас он уезжал в Среднюю Азию, вернувшись из которой должен был выпустить книгу о советских достижениях. Он занимает два номера. Коренастый жовиальный еврей, болтает прилично по-русски, к нему непрерывно приезжают советоваться из Коминтерна и Профинтерна, Еще бы, он знает хорошо Европу и является там признанным журналистом. С ним всюду ездит его жена-секретарь, бледная молчаливая женщина с седеющими волосами. Он капризен, этот Киш, и командует ею как хочет. Разве любая русская коммунистка не к его услугам?.. Проходя по коридору гостиницы, я вижу, как он тискает в темном углу одну из наших переводчиц-коммунисток.

Я читала, что затем он ездил в Австралию и хотел читать там доклады, восхваляющие Советскую Россию. Но Австралия оказалась очень умной, его спустили на берег, а затем посадили на месяц в тюрьму, после чего он был отправлен, несолоно хлебавши, в Европу. С приходом к власти Гитлера Киш попал в

концентрационный лагерь, но, увы, сумел из него бежать через чешскую границу, и теперь вешает, конечно, на гитлеровский режим всех собак, хотя сам, к сожалению, остался цел и невредим. Хотелось бы знать, что стало бы с ним, если бы он был врагом коммунизма и попал в один из советских концлагерей. Оттуда ему вряд ли удалось бы так легко выбраться!

Другим знатным иностранцем являлся хорошо известный теперь, в связи с Front Populaire во Франции, Вайян-Кутюрье. Нужно отдать справедливость, что он очень мало похож на коммуниста. Довольно привлекательной наружности, веселый и обходительный, он – галантный кавалер, любит хорошо покушать и вообще привык к комфорту. Я хорошо помню разговор Гурмана с комендантом гостиницы.

– Завтра приезжает Вайян-Кутюрье с женой. Какой номер ты ему наметил?

– Думаю – номер двадцать первый.

– Нет, что ты в самом деле! Ему надо обязательно двойной, лучше всего тот, знаешь, с голубой мебелью. А жене его отдельный номер. Он так просил.

И действительно. Жена Вайян-Кутюрье – американская журналистка, как она себя величает, поселилась в отдельном номере. Кутюрье – большой ловелас, и по его адресу в Москве ходят самые невероятные слухи.

Третьим важным иностранцем был Фриц Геккерт, представитель Германской компартии, впоследствии удивительно удачно сумевший переселиться из Берлина в Москву перед самым приходом Гитлера к власти. Но судьба настигла его и тут. Кажется, зимой 1935 года он неожиданно скончался, и урна с его прахом, замурованная в Кремлевской стене, дожидается того момента, когда проснувшийся русский народ ее выбросит, вместе с другими останками международной

банды, не то в Москву-реку, не то в гигантское аутодафе...

О роли и деятельности Фрица Геккерта я буду впоследствии рассказывать отдельно. Мне пришлось отчасти с ней познакомиться довольно близко.

Все эти знатные гости были окружены самым лучшим комфортом, но тут это делалось не из желания показать им Советский Союз в розовом свете, а просто потому, что они являются ставленниками Коминтерна за границей, получают от него деньги и работают для него. Они полезны ему и требуют за это известного к себе внимания.

Наступили первые дни ноября, и делегации стали съезжаться. Должно было приехать около 200 делегатов из разных стран. В том числе приехала и германская делегация, в которой одной из сенсаций дня являлся пастор Эккерт. Я не знаю точно его истории. В эти последние годы перед приходом Гитлера к власти коммунисты в Германии особенно распоясались, пропаганда велась совершенно открыто, и пастор Эккерт даже проповедовал коммунизм с церковной паперти. Партия учла все выгоды такого «завоевания», и были приняты меры к тому, чтобы он был «избран» рабочими того городка (сейчас не могу вспомнить его названия), где он служил.

На пастора Эккерта возлагались большие надежды. Это была сильная и интересная личность. Высокого роста, худощавый, он производил впечатление аскета.

Я целыми днями должна была сидеть, как сказано, на площадке лестницы за столом и давать всякого рода справки. На моем же столе рассматривалась и распределялась почта для делегатов. Эккерт подходил по несколько раз к столу и спрашивал:

- Haben Sie etwas für mich?

Он ждал писем от своей жены. А их все не было да не было.

Он приходил почти в отчаяние.

- Этого не может быть, моя жена обещала писать мне каждый день.

Мне было неприятно. Как будто бы я спрятала его письма.

На третий день Целяско - русская немка, бывшая секретарем Международного комитета химиков и игравшая при делегациях весьма темную и загадочную роль, - принесла и положила мне на стол пачку писем:

- Это для Эккерта.

Я взглянула на штемпеля. В Москве всегда отмечается дата прибытия письма.

- Но ведь это за несколько дней. А он меня все время спрашивает, где его письма. Прямо замучил. Откуда они, где были?

Целяско прищурила левый глаз.

- Где? В нашей цензуре. Понятно? Но ему ни слова... Слышите? И впредь все письма, которые будут приходиться на его имя, вы обязаны передавать Гурману. Нам важно знать, что ему жена пишет. Два письма мы вообще задержали.

У меня захватило дыхание. Как она мне доверяет! Этак я и еще что-нибудь более интересное узнаю... Потом пригодится. Потом... когда буду за границей окончательно.

Через несколько минут появился Эккерт.

- Вот, господин Эккерт (его никто еще не осмеливался называть товарищем), вам целая пачка писем.

Надо было видеть, как этот человек обрадовался. Очевидно, он очень любил свою жену. Но потом недоброжелательно спросил меня:

- Почему так долго шли и где они лежали? Ведь тут за несколько дней письма.

Но мне нельзя было ему сказать ничего, кроме:  
– Я не знаю, господин Эккерт.

Из Москвы его скоро повезли в Ленинград, отделив от остальной делегации. И в Москве, и в Ленинграде, насколько я смогла понять, с ним происходили долгие совещания, даже с каким-то советским епископом; вероятно, была предложена какая-либо компенсация за его дальнейшую работу *ad majorem Stalini gloriam*. Позже я потеряла его из виду и даже в газетах ничего о нем не читала. Может быть, все-таки плакали советские денежки.

Кроме Эккерта, меня занимала Софья Либкнехт, вдова Карла Либкнехта. Одесская еврейка по рождению, она была второй женой Либкнехта и воспитала его детей. В Берлине у нее, кажется, на Байришер-плац, была премилая квартирка, где культивировался как бы некий культ умершего Карла. Под балдахином стояло большое кресло, в котором он любил сидеть, его скамеечка для ног, его ноты – все хранилось в неприкосновенности. Софья Либкнехт получала нечто вроде пожизненной пенсии от Германской компартии, а иногда, когда ей не хватало, она приезжала в Москву. Она не коммунистка и никогда в партии не была, и этого ей советская власть простить не может. За ней особенно не ухаживают. В тот ноябрь 1931 года она оказалась как раз в Москве, жила в Большой Московской, ныне гранд-отель, в небольшой комнатке на самом верхнем этаже. Безо всякого комфорта и безо всякого особенного внимания. И так как ей было скучно, она пришла к нам в «Европу» и заявила, что будет работать с делегациями. Она очень образованная женщина, знает несколько языков, но нервная, издерганная и неуравновешенная. Может быть, это отчасти объясняется ее бурным

темпераментом, который не находит больше себе выхода, ввиду наступающего бальзаковского возраста.

Как раз в это время Слуцкий появился на моем горизонте и стал требовать, чтобы я ехала сопровождать делегацию горняков в Донбасс. Надо было от него отделаться. Я теперь была умнее. Мне пришла в голову блестящая идея, которую я и поспешила претворить в действительность.

- Товарищ Слуцкий, попросите Софью Либкнехт с вами поехать. Подумайте, какой фурор произведет в шахтах, если горняки узнают, что с вами вдова самого Либкнехта.

Слуцкий посмотрел на меня недоверчиво.

- А она поедет?

- Ну, конечно, поедет, я ее уговорю.

- Тамара Владимировна, у вас прямо-таки «юдишер копф». Это замечательно.

Вечером я уговаривала Софью Либкнехт.

- Вы подумайте только - увидите Донбасс, настоящие шахты. Ведь вы никогда еще не спускались в шахты?

- Никогда.

- Ну вот, и, кроме того, проедете по России. А то что это - Берлин - Москва, Москва - Берлин. Вы давно не были на юге России?

- Тридцать лет.

- Ну вот, видите. Поезжайте. Будут очень интересные впечатления.

Прошло две недели. Ноябрьские торжества кончились, и делегации разъехались по своим странам. Как-то утром я сидела в Международном комитете горнорабочих и стучала на машинке. Отворилась дверь, и в комнату ворвался Слуцкий. Мрачный и злой.

- А, товарищ Слуцкий, приехали?

Он что-то буркнул в ответ, побежал к своему столу, порылся в нем. Потом схватил трубку и стал, по своему

обыкновенно, телефонировать всяким своим знакомым. Израилевич в комнате не было, Урисон-Фушман была больна.

- Ну, как съездили, товарищ Слуцкий?

- Как съездили, как съездили! Подвели вы меня, Тамара Владимировна, с этой Либкнехт. Я вас не раз недобрым словом поминал. Во-первых, она истеричка, во-вторых, она белоручка, в-третьих, она с рабочими вздумала по-русски говорить. На чистейшем одесском наречии. Ну, вы сами себе можете представить, какой от этого эффект получился. Рабочие говорят: какая же это жена Карла Либкнехта, тот ведь немец был, а эта наша же русская, подделка, должно быть, фальшивка. Словом, полный провал. И потом, все не по ней. И гостиница грязная, и уборная ниже всякой критики, и у нас в Германии гораздо чище... А то вдруг не захотела переводить, «мигрень» - говорит. Подумайте только - *мигрень*. Да у нас в Советском Союзе и о термине таком забыли - мигрень. Нет, уж увольте на следующий раз от таких женщин. Очень я на вас зол, что вы мне ее навязали.

Мне ничего не оставалось, как скромно потупить очи и промолчать.

Вечером я зашла к Софье Либкнехт в гостиницу. Она лежала на кровати с холодным компрессом на голове и еле отвечала на мои вопросы.

- У меня страшная мигрень. Ну и вовлекли вы меня в невыгодную сделку. Этот Слуцкий меня прямо замучил. Нет, уж я сама не рада была, что ввязалась в эту историю. Больше я с делегациями не езжу. И бескультурье же в Донбассе... Вообще всякий раз, как я тут долго пробуду, меня тянет обратно в Германию. В мою тихую квартирку, к моим книгам и роялю.

- Можно узнать, почему вы не поступили в партию?

- Я, знаете ли, не приспособлена для партийной деятельности, достаточно уже, что Карл ею занимался. Я - человек более романтически настроенный.

Я не знаю, где теперь Софья Либкнехт, но перед самым отъездом из СССР я слышала, что советское правительство поставило ей ультиматум: либо она навсегда переезжает в Советскую Россию, либо ей прекратят платить пенсию. И хотя официально пенсию ей выплачивал Центральный комитет Германской компартии, но, по существу, деньги эти, конечно, ассигновывались Москвой. Не принять этого ультиматума она не могла. И сидит она теперь где-нибудь в одной комнатенке в московском жилкооперативе, вспоминает о своей уютной квартирке на Байришер-плац и думает, вероятно, про себя, что ее дорогой Карл мог бы приложить свои силы на дело, гораздо более безубыточное и грязное, чем «освобождение всемирного пролетариата от оков проклятого капитализма».

## **В подвалах гостиницы «Европа»**

Слово «подвал» само по себе звучит для каждого советского жителя грозно. Ибо оно всегда ассоциируется с «подвалом ОГПУ» или с «лубянским подвалом». Я хочу рассказать о несколько ином, более прозаическом, подвале. О подвале гостиницы «Европа», в которой обычно принимаются иностранные делегации.

В том же ноябре 1931 года я как-то сидела вечером в помещении «штаба по приему делегаций» на втором этаже гостиницы. Стоял холодный осенний вечер, я знала, что дома сын мой Юра голодает, что я обещала ему достать в каком-нибудь привилегированном кооперативе чего-нибудь съестного. На душе было тяжело и неуютно. Сама-то я питаюсь в гостинице, а вот ему-то каково! Работа с делегациями отнимала у меня весь день, и бегать по городу в поисках продовольствия у меня не было возможности. И мальчик мой в самом цветущем возрасте, когда организм наиболее интенсивно работает для наверстывания роста и общего развития организма, все худел и бледнел от недоедания. 1931 год в Москве был чрезвычайно тяжелым.

Возле меня на столе стоял телефон, по которому можно было переговариваться внутри гостиницы. Вдруг раздался звонок, я взяла трубку. Говорил комендант гостиницы еврей Варшавский.

- Алло, товарищ Израилевич там?

Действительно, Израилевич была тут же, она подошла к телефону, и между ней и комендантом завязался несколько таинственный и интимный разговор.

- Я здесь, Сашенька, что скажешь?

- ...

- Значит, сегодня можно прийти?

- ...

- Да, у меня есть с собой чемоданчик.

- ...

- Хорошо, я сейчас спущусь.

Только человек с очень ограниченными умственными способностями, проработав в СССР в еврейском окружении десять лет, может остаться равнодушным к такому диалогу.

И когда Израилевич положила трубку, я решила ее из своего поля зрения не выпускать.

- Лилли (она очень любила, когда ее так называли), куда вы идете? Что-нибудь интересное?

Вышло так, что мне помог случай. Как раз в это утро Израилевич, обычно очень вспыльчивая и резкая особа, наговорила мне грубостей, правда, потом извинялась, но все же чувствовала некоторую за собой вину. Поэтому мое обращение ее обрадовало.

- Знаете, Тамара, берите какую-нибудь сумочку или побольше бумаги и идите со мной. Варшавский даст нам кое-что «пошамать».

Я не стала спрашивать, что и как. Я почувствовала бесконечное облегчение в душе. Значит, удастся что-нибудь притащить Юрочке.

Спускаясь по лестнице, Израилевич шепнула мне:

- Только никому ни слова. Совсем конфиденциально. Я мотнула головой.

Мы прошли уже первый этаж. Красивая лестница, крытая ковром, превратилась в витую узкую лестничку. Куда же мы идем?

Наконец мы в подвале. Правда, в довольно приличном, чистом и ярко освещенном, но все же подвале. Длинные коридоры и по сторонам двери, запертые, кроме обычных, еще и на всякие замки. Кругом ни души. Наконец посреди одного коридора

упираемся в деревянную перегородку, запертую тоже на всякий замок. Останавливаемся.

- Подождем здесь. Саша сейчас придет.

Израилевич - очень способная женщина. Способности ее не только в знании четырех языков, на которых она говорит с безукоризненным акцентом, но и в умении моментально сходить с любым, даже самым заядлым и недоверчивым, коммунистом. Она на «ты» почти со всеми окружающими, необходимыми ей, людьми. Ей очень доверяют, а кроме того, она обладает неограниченным нахальством. Она может, например, вызвать по телефону в любую минуту из кремлевского гаража автомобиль, заявив, что ей необходимо перевезти кого-нибудь из видных иностранцев, а на самом деле использовать его для того, чтобы он ее отвез домой. Она может накричать на любого советского служащего, причем будет иметь такой высокопартийный вид, что никто никогда не усомнится в ее принадлежности к правящей верхушке. Сама она происходит из богатой петербургской купеческой семьи Брик, и ее кузина была последней женой Маяковского. Лидии Максимовне несколько раз предлагали поступить в партию, но она достаточно дальновидна, чтобы не совершить подобной ошибки. Она замужем за инженером, имеет маленькую комнатку в одном из сухаревских переулков, но держит прислугу, а продовольствия у нее, благодаря ее связям, всегда достаточное количество. Как один из образцов ее нахальства, укажу на следующий факт.

К Женскому дню, то есть к 8 Марта, в Москву приезжают из-за границы женские делегации. И вот в одной из таких делегаций Израилевич пришлось переводить. Между делегатками была шведка, а скандинавских переводчиков в Москве раз-два и обчелся. На этот раз пригласили какую-то даму, которая заявила, что она умеет хорошо говорить по-шведски.

При советском хаосе никто ее не проверил. Делегатка произнесла речь, переводчица записала по мере своих сил, но, когда настала очередь переводить, она перепугалась и, как ее ни выталкивали на трибуну, уперлась и ни за что не решилась выйти. Руководительница делегации была в отчаянии и обратилась за помощью к нашей Израилевич, которая всем своим видом, осанкой и манерами производит впечатление человека энергичного и инициативного.

– Израилевич, выручай.

И Израилевич выручила. Она вышла на трибуну и произнесла по-русски за шведскую делегатку великолепную трафаретную речь, заглядывая в тетрадку, где ровно ничего не было записано, и изредка делая паузы, как бы вспоминая, что же действительно говорила шведка. Все остались чрезвычайно довольны, а присутствовавший в президиуме покойный ныне Орджоникидзе, знавший Израилевич по прежним ее выступлениям, искренно восторгался и говорил сидевшему с ним рядом Швернику:

– Какая замечательная лингвистка эта Израилевич, ведь, смотрите, она даже скандинавские языки знает.

Секрет же заключался в том, что Израилевич шведским языком вовсе не владела и что ее речь была сплошной импровизацией.

Так и в гостинице «Европа» Израилевич сразу обжилась, с первого же дня учуяла выгоду близкой связи с комендантом и перешла с ним на «ты». Тучный и дородный еврей, говоривший на многих языках, бонвиван и жуир, он был не прочь пофлиртовать с белокурой и довольно хорошенькой Лилли, результатом чего и явилось наше посещение подвала гостиницы «Европа».

Через минуту в конце коридора появилась грузная фигура коменданта. Он несколько удивленно воспринял мое присутствие, но Лилли его успокоила:

– Ничего, Сашенька, Тамара никому не скажет.

Звякнули ключи, перегородка раскрылась, мы попали во вторую часть коридора, там остановились у какой-то из дверей, опять звякнул ключ, и моим изумленным взорам представилось совершенно по тем временам для Москвы феерическое зрелище: на стенах висели окорока и колбасы, а на полу стояли полураскрытые ящики с апельсинами (которых в Москве в то время ни за какие деньги достать было нельзя), с прекрасными экспортными яблоками, печеньями, карамелью, кроме того, в особом металлическом ящике на льду лежали семга и балыки. Варшавский достал из одного ящика большой острый нож и стал резать всего по куску. Для Израилевич и для меня. Потом, небрежно указав толстым пальцем на пол, бросил:

– Берите, сколько нужно.

Мы стали лихорадочно совать в бумагу апельсины, печенья, карамель. Это был такой случай, каких в Советской России вообще не бывает. То есть, не бывает для простых беспартийных смертных. И я поняла, почему Лилли так любезно всегда улыбалась Варшавскому. Для нее это было уже не впервой, она, наверно, в течение всей работы в «Европе» пользовалась этим подвалом. И как тщательно от всех скрывала!

Когда я в ту ночь вышла на улицу, со мной было три туго набитых пакета. Юрочка уже спал, когда я приехала домой, но я разбудила его, и он кушал и кушал, а я смотрела и радовалась. И не думала, что поступок мой грешит против всех законов божеских и человеческих. Голод – великий деморализатор, и пусть тот, кто его не испытал ни на себе, ни на своих близких, не очень жестко меня судит.

Запасы же эти, как я потом узнала, являлись собственностью Комиссии внешних сношений и должны были служить для пополнения меню иностранных

рабочих делегаций. Уверена, однако, что львиная доля этих запасов шла (да, вероятно, и в настоящее время идет) не делегатам, а обслуживающим и не обслуживающим их чекистам и коммунистам. Случай с Израилевич и со мной – беспартийными переводчицами – является чрезвычайно редким.

## Австралийская делегация

Наступал май 1932 года, последнего года, проведенного мною в СССР. Снова Комиссия внешних сношений отвоевывала себе переводчиц для обслуживания делегаций. Снова жестоко ругался Слуцкий с Гурманом по телефону, и снова я постаралась не ехать в турне, а остаться в Москве. На этот раз штаб делегаций находился в бывшей Большой Московской гостинице. Приехала, как новинка, довольно большая австралийская делегация. В ее составе был один железнодорожник (фамилию которого никак не могу вспомнить). Он родился в Сибири, в юности эмигрировал в Австралию, занимает там хорошую должность, не был в России лет двадцать пять, получил за это время австралийское подданство, но не женился и все мечтал вернуться в Россию и взять себе русскую жену. Когда «друзья Советского Союза» в Австралии стали вербовать желающих поехать на первомайские торжества в СССР, он решил поехать посмотреть. О большевиках рассказывали так много разноречивых вещей, что он не знал, кому верить.

Первым делом на границе ему обменяли его австралийские добротные фунты на советские рубли, по двадцать рублей за фунт. А кило сахара стоило тогда двадцать пять рублей. Наш австралиец, как владеющий русским языком, довольно быстро ориентировался в советских условиях и, хотя делегатам строго запрещалось выходить из гостиницы одним, он умудрился переговорить с несколькими советскими людьми, совершенно не подозревавшими, что они имеют дело с австралийцем.

Через несколько дней, чуя во мне небольшевистскую душу, он обратился ко мне за

советом, как ему быть. Он уплатил в Австралии всю причитающуюся с него сумму для проезда от Сиднея до Ленинграда и обратно. Однако ему бы хотелось обратный путь совершить через Сибирь, чтобы навестить там своих родных. Центральный комитет профсоюза железнодорожников сразу же обратил на него внимание. Вообще техника приема делегаций такова, что советская власть о каждом делегате знает почти все необходимое, чтобы составить о нем определенное мнение. Кроме сведений, получаемых от О-ва друзей СССР и братских компартий, в самый день приезда делегации ей раздаются анкетные листки, и каждый должен заполнить все графы. Вот по графе-то «где родился» большевики и узнали, что наш австралиец на самом деле русский. Как известно, большевики больше всего боятся делегатов, владеющих русским языком. Ведь через них правда о Советском Союзе может проникнуть за границу. Поэтому-то на австралийца-сибиряка было обращено особое внимание. И, прося у меня совета, он сказал:

- Профсоюз железнодорожников предлагает мне, чтобы я отстал от остальной делегации, они мне обещают дать бесплатный билет до Владивостока, и я смогу остановиться у своих родных. Только вот уже прошла неделя, скоро наша делегация уезжает, а они ничего определенного о сроке не говорят. Как бы так узнать?

- Хорошо, я постараюсь добыть вам нужные сведения. И посоветовала ему, между прочим, притвориться, что он уже забыл русский язык. Он, кстати, до этого дня говорил только по-английски.

На следующий день, увидя в коридоре гостиницы сотрудницу ЦК железнодорожников - коммунистку, с которой я немного была знакома, я ее спросила:

- А как будет с этим австралийским железнодорожником?

- Ах, этот? Да ведь он, оказывается, русский. Его надо будет отделить от делегации. Что? Через Сибирь? Не знаю, может быть, и дадим ему билет, только надо будет дать ему хорошего сопровождающего.

- Он нервничает, хочет знать, когда поедет. Ведь делегация скоро уезжает, и он остается один. А денег у него хватит только на пароход от Владивостока до Сиднея.

- Ничего с ним не станется. Подождет.

И действительно. Делегация уехала, а бедный сибиряк остался ждать. Его перевели в более низкопробную гостиницу, отобрали у него его фунты якобы на хранение и все кормили «завтраками». Мне пришлось встретить еще два раза два в коридорах Дворца труда его унылую фигуру, преисполненную тревоги и почти страха. Я старалась допытаться, в чем же, собственно, дело, но ничего узнать так и не смогла. Потом он выпал из моего зрения. Хотелось бы знать - удалось ли ему живым выбраться из советского рая?

Остальная австралийская делегация состояла главным образом из средних интеллигентов-учителей и др., а также из высококвалифицированных рабочих. В то время в Москве, как и во всем остальном СССР, мясо было редкостью, так что даже делегатов кормили преимущественно рыбой, больше всего судаком - то вареным, то жареным.

И вот помню разговор за столом. Одна австралийка говорит:

- Я никогда не знала, что русские так любят рыбу.

- Почему вы думаете, что мы любим рыбу? - спросила я.

- Но, помилуйте, ведь мы каждый день едим рыбу. Мяса почти не видно! Возможно, что это очень полезно для здоровья, но нам, признаться, рыба уже порядком надоела.

А другая австралийка все хотела посмотреть, правда ли то, что пишут правые австралийские газеты о нехватке продовольственных припасов и вообще товаров в московских магазинах. Каждый день за утренним завтраком она неизменно говорила:

- Сегодня я хочу пойти по Москве и зайти хоть в один магазин.

И столь же неизменно Гурману об этом желании докладывалось. Гурман, заторможенный и вечно куда-то спешивший, отмахивался.

- Завтра.

Но наконец как-то после обеда я встретила австралийку на лестнице отеля, причем она оживленно мне сообщила:

- Вот видите, как наша пресса врет. Ведь я сама теперь своими глазами видела, что у вас в магазинах всего вдоволь.

Душа моя возмутилась, но внешне я должна была оставаться спокойной. Между прочим, из немногих качеств, которые большевизм воспитывает в советских гражданах, пожалуй, наиболее ценным является воспитание умения владеть собой. Советский гражданин должен быть всегда готов к любым, самым неприятным неожиданностям, и многолетняя тренировка выработала в нем подсознательный инстинкт не показывать того, что он чувствует. Раньше, помню, мы - русские - всегда восхищались этим свойством англосаксонцев, у которых оно, правда, вырабатывалось веками совершенно по другим причинам. Теперь мы - подсоветские русские - наверное, догнали, а может быть, даже и перегнали англичан, хотя бы уж в этом направлении. Знаменитая русская непосредственность и неумение владеть собой канули в Лету. В горниле большевистских испытаний выковывается новый русский человек. Думаю, впрочем,

что испытания эмигрантские столь же благотворно подействовали и на русских по эту сторону рубежа.

Как бы то ни было, австралийка ничего не прочла на моем оставшемся невозмутимом лице. Я только спросила ее:

– А с кем вы ходили в магазин?

– С мисс Бетти, о, она такая услужливая особа.

«Мисс Бетти» была маленькая, толстенькая русско-американская еврейка лет двадцати шести. Родители вывезли ее в свое время младенцем в Нью-Йорк, там она выросла где-то, по-видимому, на задворках одного из небоскребов еврейского квартала, вступила в коммунистическую партию и недавно приехала в СССР, соблазнившись, как и многие другие американские безработные, перспективами, столь щедро рекламируемыми пропагандой. По приезду в Москву она должна была явиться в Коминтерн, где, как обычно, у нее отобрали американский паспорт. Как правило, иностранные коммунисты всегда обязаны сдавать свой паспорт в Коминтерн. Ежели данный коммунист окажется достойным, чтобы его снова выпустили за границу, то в нужный момент паспорт ему будет возвращен, в противном же случае, как я уже указывала на примере испанца Ибаньеса, коммунист остается в СССР, паспорт же его, с новой фотографией, выдается какому-нибудь советскому агитатору, который командировается в ту или иную страну на международную работу.

Мисс Бетти жила пока по временному советскому праву на жительство. Она уже успела вкусить все прелести советской жизни и мечтала о возвращении, хотя бы на амплуа безработной, в свою Америку. Я же думаю, что она и по сей день в Москве, так как ее, наверное, уже заставили принять советское подданство. Мисс Бетти звезд с неба не хватала, и советскому правительству выгоднее было использовать

ее на внутренней работе, тем более что она легко переводила с русского на английский и, немного труднее, обратно.

Пока же она работала при делегациях. Будучи типичной коммунисткой, она, собственно говоря, делала все от нее зависящее, чтобы работать возможно меньше, и избегала выступлений на митингах, где требуется особенно высокое качество перевода.

Вечером я зашла в тот номер, где обычно помещались переводчицы. Бетти лежала на кровати и читала книгу. Я поговорила с ней о том о сем и попросила рассказать что-нибудь об Америке. Она оживилась и стала рассказывать о том, как она объехала почти половину Штатов довольно необычным для России путем. Она выходила из города с рюкзаком за плечами, а потом последовательно просила проезжавшие мимо частные автомобили подвезти ее до следующего города. И все на даровщинку. В Америке этот способ, оказывается, очень распространен, особенно среди пролетарской молодежи.

Потом я ее спросила:

- Вы, кажется, ходили сегодня с миссис Х. по Москве. Бетти цинично расхохоталась.

- Да, представьте себе - повела ее сегодня в Инснаб, объяснила заведующему, в чем дело, и он разрешил поставить ей стул, чтобы она села и понаблюдала. Она сама на этом особенно настаивала, боялась, что мы ее обманем. Ну а там, в Инснабе, вы сами знаете, - товарами хоть завались. Она часа два просидела, потом ходила, спрашивала цены и все записывала. В результате - полный восторг: и товаров много, и покупателей хоть отбавляй, и продавцы очень вежливы. Словом, приедет в Австралию и будет нашим лучшим пропагандистом.

Я поняла, в чем дело. Я тоже не раз бывала в Инснабе и каждый раз уходила оттуда с полными

корзинками. Но как же миссис Х. не заметила, куда ее повели?

Инснаб - кооператив для иностранцев, - «иностранное снабжение». Помещался он на Тверской, в магазине бывшем братьев Елисеевых. Кто из москвичей не помнит этого самого роскошного из московских магазинов? Как и в Петербурге, братья Елисеевы не пожалели средств на украшение своего детища. Скульптурные разноцветные потолки, мраморные прилавки, мозаичные полы, бассейны для живой рыбы, богатейшие зеркальные витрины - таким встает магазин Елисеевых в моих детских воспоминаниях. А на прилавках - самые изысканные яства, самые невероятные фрукты - груши до килограмма весом, ананасы, кокосовые орехи и великолепный набор вин и шампанского. Да, лучших товаров, чем у братьев Елисеевых в Москве, было не найти.

Грянула революция. Наступил голод. Магазин Елисеевых, будучи разгромленным и разбитым в самые первые дни «великой и бескровной», долгие годы стоял пустым и заколоченным. Не знаю, что там было во времена нэпа, но со времени введения карточек и наступления нового голода он был превращен в кооператив для иностранцев. И так как в Москве с 1928-го до последнего времени есть вообще или нечего, или очень мало, и население, как голодный волк, рыщет по улицам и базарам, как бы и где бы что-нибудь «достать», большевики решили громадные витрины Инснаба заколотить наглухо, дабы не соблазнять «малых сих». Ибо, если бы нормальный московский обыватель, в том перманентном состоянии недоедания, в котором он обретается, хоть одним глазком заглянул внутрь бывшего елисеевского магазина, он, может быть, даже и ГПУ не испугался бы, а пошел просто-напросто - его - этот магазин - громить. А так тысячи граждан проходили мимо забитых деревянными

щитами витрин и даже не подозревали, как близко и возможно было счастье.

Внутри же, за тройными дверями, строго оберегаемыми гепеушным цербером, сверкали яркими слепящими огнями еще царского времени елисеевские люстры, в белоснежных передниках обслуживали разноязычную толпу иностранцев вежливые и вышколенные приказчики, а в бассейне с фонтаном, совсем как в старое доброе время, плавали стерляди и форели. И это в то время, когда в остальных кооперативных лавках Москвы полки были либо совершенно пусты, либо заложены пустыми коробками от несуществующих печений, мыльных порошков и какао. Я очень хорошо помню, как мы с Юрой, только что вернувшись из Берлина, проходили по Мясницкой и, увидав такие коробки от печенья в окне одного из кооперативов, зашли и спросили это печенье. Приказчик, или, как их вежливо называет советская власть, «работник прилавка», сумрачно буркнул:

– Не имеется.

– А это что же? – наивно спросил Юра, показывая на коробки.

– Это бутафория.

Так именно и сказал: «бутафория». Над этим словом мы потом много смеялись. Но, собственно говоря, всем москвичам, да и нам тоже, тогда было совсем не до смеху. За какой-нибудь паршивой селедкой приходилось выстаивать по два часа в очереди.

Кто же имел право входа в Инснаб? Исключительно иностранцы. Все приезжавшие в Москву по договорам инженеры и рабочие, а кроме того, все члены Профинтерна и Коминтерна. Но, например, даже моя Уриссон книжки в Инснаб не имела и иметь оную почла бы для себя великим счастьем. Хотя муж ее был членом правительства и располагал даже книжкой кооператива ГПУ. Кооперативу ГПУ было все же далеко до Инснаба.

Итак, иностранцы получали специальную именную книжку, по которой они имели право покупать в Инснабе все нормированные продукты – мясо, масло, сахар, муку, чай, кофе и молоко – в определенных количествах, а все остальное безо всякой нормы. Нечего и говорить, что норма иностранца в несколько раз превышала норму советского гражданина. В то время как я, например, получала, а то и совсем не получала – в зависимости от снабжения – четверть фунта масла в месяц по карточке и платила за это четверть рубля, мой знакомый немец-инженер получал четыре фунта и по цене 1 руб. 20 коп. за фунт.

У меня, на счастье, было две знакомых немецких семьи, которые и давали мне изредка свои пропуска в Инснаб. Как я, так и они чрезвычайно сильно при этом рисковали. Меня могли арестовать, а их лишить пропуска и оставить на голодном положении. Но они видели, как мы жили, бывали у нас дома и из чувства дружбы и человеческого сострадания давали пропуск. Нормированных продуктов я, понятно, получать не могла, так как их еле хватало и самим немцам, но все, что было не нормировано, как, например, куры, рябчики, икра, пирожные, семга, осетрина и пр., – продавалось в Инснабе по таким сравнительно с вольным рынком низким ценам – раза в два дешевле обычной худосочной и часто гнилой советской говядины, – что я покупала все это сразу на полумесячное жалованье, и потом мы этим питались дней десять. К сожалению, немцы давали книжку редко, так как, кроме меня, у них были еще другие русские, которых они тоже жалели, так что в общей сложности я была в Инснабе за полтора года раз пять-шесть. В промежутках же приходилось либо класть зубы на полку, либо ждать уриссоновской милости.

Вот в этот-то кооператив для иностранцев, единственный в Москве, если не считать Торгсина, где

продовольствие и одежда продавались на валюту, золото и драгоценности, да кооператив для иностранных дипломатических представительств, о существовании которого из москвичей тоже почти никто не знал, - и повела мисс Бетти нашу любознательную австралийку. Не будем кидать в нее камнями за то, что она была столь наивной, что не заметила, в какой исключительный кооператив ее привели. Это, пожалуй, можно понять и простить, особенно при отдаленности и неосведомленности Австралии в советских делах. Но если миссис Х. (к сожалению, я забыла ее фамилию), бог даст, прочтет когда-нибудь эти строки, пусть вспомнит об этом «потемкинском» магазине и признает свою ошибку перед теми знакомыми, которым она, вернувшись из поездки по СССР, дала неправильные сведения. Как и многих других иностранцев, большевики обманули ее самым бессовестным образом.

## Американский делегат

Кроме австралийской, в мае 1932 года в Москву приехала и американская делегация. Среди представителей нескольких отраслей промышленности в ней был один американский коммунист – металлист по профессии. Как выяснилось через несколько дней, он был в САСШ безработным и приехал в СССР с тайной целью остаться там работать.

Нужно сказать, что большевики очень не любят подобных иностранцев. Секретарь «друзей СССР» Инкпин бывает в таких случаях крайне нелюбезным и даже грубым. Он при мне как-то распекал двух американских комсомольцев, которые как-то фуксом приняли участие в делегации, а затем стали просить оставить их в СССР на работе. Инкпин был просто груб и циничен, а юноши бледнели, краснели и чувствовали себя прескверно.

Да оно и понятно: весь блеф, инсценируемый иностранным рабочим делегациям, стоит больших денег. За эти деньги большевики хотят что-нибудь получить. Это «что-нибудь» заключается в той пропаганде, сознательной или бессознательной, которую делегаты, по возвращении из Совдепии, проводят в рабочих кругах всего мира. С этой целью рабочие делегации в СССР долго не задерживаются, максимум две-три недели, а затем – марш-марш – отправляются по домам. В течение этих двух-трех недель делегаты находятся под неусыпным наблюдением и шагу свободно не могут ступить. Этим объясняется их энтузиазм по возвращении на родину. Другое дело, если иностранец застрянет в СССР на более долгое время и будет более или менее предоставлен самому себе. Европа читала много

впечатлений таких разочаровавшихся в советском раю иностранцев. Чтобы не ходить далеко за примером, укажу на австрийских шуцбундовцев, которые бежали в СССР от репрессий австрийского правительства, а теперь группами покидают СССР и выступают в Вене с публичными разоблачениями. А уж шуцбундовцев-то встречали большевики, а уж за ними-то они ухаживали, пока не увидели, что те ожидали совсем другого. Сотни этих несчастных гниют и по сие время в северных концлагерях.

Поэтому и к данному американцу Гурман отнесся в высшей степени недружелюбно. Но отказать было нельзя. Вот мне и было поручено с ним поехать на завод «Серп и Молот». Там он осмотрел мастерские, покрутил носом, а когда стал спрашивать об условиях зарплаты, то директор дал ему самые неутешительные сведения. Кроме того, ему было прямо заявлено, что жить ему будет негде, так как завод комнаты ему предоставить не может, а в Москве комнаты вообще не найти.

Коммунист вернулся в гостиницу с опущенным носом. Я следила за ним потом: не расскажет ли он своим коллегам о виденном и слышанном. Но он молчал, как в рот воды набрал. А на партии думал все же сделать хоть какую-нибудь карьеру.

## Французская делегация

В числе прочих делегаций в Большой Московской гостинице помещалась и французская делегация, с которой я мало имела дела, так как обычно все французские делегаты монополизировались Лидией Максимовной Израилевич. Она безукоризненно владела французским языком и поэтому всегда отказывалась от работы со всякими другими делегациями. Делалось только одно исключение: для Инкпина. С ним она ездила в Коминтерн и тогда пускала в ход свое знание английского языка.

Но с отдельными делегатами-французами мне все же приходилось сталкиваться. Так, весной 1932 года мне поручили проехать с двумя французскими делегатками парфюмерной и жировой промышленности на фабрику «Красная Роза». Фабрика эта производит мыла, зубную пасту, кремы и пудру и считается одной из образцовых. В качестве наблюдающего с нами послали одного коммуниста, владеющего кое-как французским языком.

О нашем посещении дирекция фабрики была, разумеется, заранее извещена, так что, когда наш автомобиль подъехал к воротам, нас встретили помощник директора и председательница фабкома и провели прямо к директору. Директор, плотный и самодовольный рабочий, по-видимому, из «старых большевиков» либо из более или менее способных выдвиженцев, любезно принял нас в своем кабинете, тесной комнатке на третьем этаже большого, безобразного по своей архитектуре здания фабрики. Не зная ни слова по-французски, он предложил через меня делегаткам осмотреть все, что их интересует, и дал своего помощника в проводники. Просил также по

окончании осмотра снова зайти к нему поделиться впечатлениями.

– Наша фабрика новая, – гордо заключил он, – много нововведений, конвейер наш посмотрите.

Мы начали осмотр фабрики. Обе француженки (одна из них была от фирмы «Коти»), изящные хорошенькие парижанки, в светлых драповых пальто, в легких весенних шляпках, произвели своим появлением в фабричных залах сенсацию. Мне было больно смотреть на наших русских работниц, таких измученных, голодных и бедно, почти нищенски одетых, рядом с этими элегантными представительницами западного пролетариата.

Первым делом мы попали в штамповальный цех, где каждая работница обслуживает тяжелую машину-пресс, выкраивающую и закрепляющую картонные коробки для пудры. Машина громоздкая, управляется одновременно руками и ногами, причем от работницы все время требуется сильное нервное напряжение. Работа идет в три смены круглые сутки. Вообще в Москве с тех пор, как начались пятилетки, почти все заводы и фабрики работают все 24 часа. Фабричные здания, вследствие этого, скверно проветриваются, машины быстро изнашиваются, а рабочие буквально не знают ни отдыха ни срока.

К нашей группе сзади незаметно присоединилась еще пожилая востроносая работница в красной косынке. Я безошибочно угадала в ней коммунистку. И не потому, чтобы я обладала какой-нибудь особенной зоркостью или наблюдательностью – вовсе нет. Любой советский гражданин, по каким-то неуловимым, казалось бы, признакам всегда без промаха узнает коммуниста. Очевидно, путем долголетнего опыта выработался какой-то нюх или инстинкт.

Мы подошли к одной из машин, за которой сидела молодая работница. Машина безостановочно грохотала,

движимая, как и все другие машины, большим приводным ремнем. Электрический двигатель не давал ни минуты покоя. В процессе работы у моих делегатов произошел с девушкой следующий разговор.

- Сколько вы зарабатываете в неделю?

- Тридцать два рубля, без вычетов.

- Вы учитесь где-нибудь?

- Какое там, хотела бы учиться, да ведь работа в три смены - не шутка; эту неделю, скажем, утром работаю, следующую - после обеда, а еще следующую - ночью. Вы бы попробовали ночью поработать, так узнали бы - как можно при ночной смене учиться. Да и зарплата малая, вычеты большие.

Я перевела эту тираду французенкам. Вмешалась старая работница-партийка:

- Ты что же, Мотя, такое рассказываешь, ведь в кружки-то небось записана? Политграмоту изучаешь? А что до зарплаты, так ведь от тебя зависит. Перегонишь норму, вот и заработаешь больше.

Французенки удивились:

- А мы слышали, что в Советской России все молодые работницы учатся, в университеты на вечерние курсы записаны. А потом, что это с нормой? Разве у вас сдельная работа? У нас, у «Коти», мы работаем по часам, но нас не проверяют, сколько мы выработали за час.

Коммунист за моим плечом глухо сказал:

- Товарищ переводчица, вы этого не переводите, зачем зря девушку смущать.

В это время нас окружили работницы следующей смены. Они завистливо смотрели на пальто делегатов, щупали его исподтишка руками и спрашивали:

- Разве это простые работницы? Сомнительно что-то, смотри - какие расфуфыренные.

Коммунист сказал:

- В Европе все так ходят, там платков не носят.

- Ишь ты, не носят. Мы бы тоже, может быть, не носили бы, кабы денег побольше было. А почему у них такое пальто?

- Что они спрашивают? - заинтересовалась работница «Коти».

Я перевела.

- Сто франков.

- А сколько это на советские деньги?

- Около десяти рублей.

- Вот видишь, а у нас такое и за три сотни не купишь. Но старая коммунистка поспешила повести нас дальше. В самом большом зале внизу, где наполняются баночки кремом, а тубочки пастой, все окна были не только закрыты, но вообще устроены так, что их нельзя открыть, сплошные рамы, наглухо замурованные в стены. Жара и духота там стояли ужасные. Я заметила, что у всех от недостатка кислорода утомленные, красные и потные лица. Оказалось, что есть два вентилятора, но один из них сломан и не работает, а другого для такого большого помещения мало.

Француженки тотчас же обратили внимание на плохую вентиляцию, более того, они даже пришли от этого в негодование.

- Как же можно работать в такой атмосфере?

В это время внимание их привлекла старуха, с трудом несшая два ведра с кипятком.

- Мы слышали, что в СССР рабочие после пятидесяти лет получают пенсию. Однако здесь мы видим старуху, ей уже, вероятно, под семьдесят, а она все еще работает. Что же она, разве не получает ни пенсии, ни пособия по старости?

Я посмотрела на коммуниста, который нас сопровождал по желанию директора, и перевела ему вопрос.

Он на секунду смутился, но быстро оправился:

- Это, видите ли, старая работница, она уже получает, конечно, пенсию, но она хочет еще подработать и вот носит рабочим кипятик для чая.

- Но позвольте, значит, ее пенсия так мала, что ей нужно подрабатывать, иначе она не стала бы работать. Я сама не хотела бы ни за что работать, когда мне будет столько лет, сколько ей.

Это возражение осталось без ответа. Да и что мог коммунист на него ответить?

Дальше стоял большой длинный стол с конвейером посередине. Коммунист был особенно горд этим конвейером и просил меня обратить внимание француженок на это достижение. Собственно говоря, конвейер только двигал баночки для крема, которые надо было вымыть, наклеить этикетку, наполнить кремом, закрыть крышечкой и запечатать еще одной этикеткой. Вдоль стола сидели в два ряда работницы в самых разнообразных и фантастических одеяниях, от полушубков до спортивных маек включительно. Работали они медленно и за конвейером не поспевали, поэтому его приходилось останавливать. Француженка от «Коти» смотрела на то, как одна из работниц наполняла баночки, а потом не вытерпела и попросила разрешения сесть на минутку на ее место. Села, и надо было видеть, как ловко и быстро она наполняла и закрывала баночку за баночкой. Наши работницы смотрели на нее с недоумением. Я чувствовала, что в их глазах она была барыней, неизвестно откуда свалившейся на их голову.

Наш коммунист куда-то вдруг исчез, а мы остановились возле самой неквалифицированной из работниц, той, которая мыла баночки.

Весь облик ее говорил за то, что она недавно из деревни.

Я наклонилась к ней сказала возможно более отчетливо:

- Вот тут приехали из Франции, знаешь - это дальняя страна, две работницы, они так же, как и ты, работают на фабрике. Они хотят знать, сколько ты зарабатываешь.

- Я-то?

- Да, ты.

Лицо работницы как бы оживилось.

- Да что там зарабатываю. Сорок рублей зарабатываю на месяц.

Я перевела.

- Она, наверное, одинокая?

Мне снова пришлось медленно и отчетливо разъяснить работнице, что у нее спрашивают.

- Какое одинокая. Муж у меня и трое детей в деревне остались. Муж больной, вот и работать пришлось мне. Нельзя ли их попросить, чтобы они похлопотали - нехай мне прибавят.

Я ответила, что, к сожалению, их хлопоты не помогут.

Француженки были возмущены.

- Сорок рублей при целой семье, это чрезвычайно мало.

Кругом на стенах были развешаны нормы выработки. Я сейчас их точно не помню, но знаю, что надо было вот хотя бы той работнице, перед которой мы сейчас стояли, вымыть несколько тысяч баночек, чтобы получить мало-мальски сносную зарплату. На сорок рублей в месяц она могла по тем временам и при тех ценах питаться только хлебом.

Коммунист постарался отвлечь внимание француженок машинами для наполнения тубочек зубной пастой. Но их нельзя было удивить. Они нашли все грязным, непроветренным и плохо организованным. На их удивленный вопрос, почему же нет квалифицированных работниц, которые работали бы действительно со скоростью, подогнанной к конвейеру,

им объяснили, что всему мешает большая текучесть рабочего состава. Коммунист, сам не понимая, что делает ошибку, сказал, указывая на ту же работницу, с которой мы только что говорили.

- Вот эта, например, работает только шесть недель, а уже хочет уходить.

Франуженки поняли. И я слышала, как одна другой сказала:

- При такой мизерной зарплате и при такой плохой вентиляции я не выдержала бы и двух дней.

Осмотр окончен, и мы снова у директора в кабинете. Он распорядился принести по баночке крема и по коробочке пудры «Красная роза». И как я уже часто замечала, большинство коммунистов, особенно выдвиженцев, понятия не имеют о европейских товарах, и для них советская продукция представляется верхом красоты и изящества.

Поэтому директор поднес парижанкам эти подарки с особенно горделивой миной.

- Покажете там у вас в Париже, как мы работаем.

Баночка с кремом была из простого бутылочного стекла, очень плохо отшлифована, наклейка на ней была безвкусная и уже в уголке отрывалась. А пудра «Лебяжий пух», была в такой безвкусной коробке, что представляла собой тоже довольно жалкое зрелище, особенно для избалованного европейского глаза.

Я помню по себе и по Юре, как мы восторгались немецкой упаковкой шоколадных конфет в 1928 году, когда впервые после революции попали за границу. Такой упаковки и таких оберток в Советском Союзе еще никогда не видали.

Я ждала, что скажут мои делегатки, получив такие «роскошные» подношения.

Но они были слишком хорошо воспитаны, чтобы показать свое пренебрежение. Только работница

«Коти» открыла свою сумочку, вынула оттуда блестящую никелевую вещицу и, улыбаясь, поднесла ее директору.

- А вот наша работа, «Коти». Тут губная помадка, пудра, а внизу румяна. Смотрите.

Она нажала пружинку, крышечка отпрыгнула и обнаружила прессованную пудру и губную помадку. Еще одна пружинка, и открылся прессованный кружочек румян.

Директор задумчиво посмотрел на подарок. Его помощник жадно выхватил его у него из рук.

- Это у вас делается? Да, вот это работа! Нам бы так-то!

А несколько дней спустя меня послали с французской делегацией осматривать диспансер для проституток.

Несмотря на то что большевизанствующая пресса утверждала и утверждает, что в стране победившего пролетариата проституция уничтожена, - это неправда. Понятно, ввиду того, что до самого последнего времени и брак, и развод были в СССР крайне облегчены, уличная проституция не столь бросается в глаза, как в остальных странах. Но она зато существует в более скрытых формах. Кроме того, колоссальная нехватка жилищной площади сильно затрудняет явную проституцию: просто-напросто негде встретаться и трудно скрыть свою профессию, если живешь в одной комнате с кем-нибудь другим или в одной квартире с двадцатью посторонними людьми.

Тем не менее, если бы не существовало проституции, не было бы и диспансеров для проституток. Однако они существуют. И вот в один из майских дней французская делегация отправилась один из них осматривать. К сожалению, я забыла фамилии делегатов, помню только одного из них - месье Жоли, рабочего-электрика с центральной парижской

электростанции. Если ему попадутся на глаза эти строки, он сможет подтвердить истину того, что я рассказываю.

Мы подъехали к небольшому двухэтажному дому на одной из Ямских-Тверских, за Сухаревой башней (ныне снесенной большевиками). У дверей нас встретила пожилая начальница и двое коммунистов. Нас провели прежде всего в кабинет начальницы. Ей было лет шестьдесят, и она производила приличное впечатление своими хорошими манерами.

- Делегаты хотели бы задать вам несколько вопросов.

- Пожалуйста, я с удовольствием отвечу.

Делегаты стали задавать вопросы преимущественно статистического характера, интересовались также – помогает ли диспансер в том смысле, что проституция в Москве уменьшается.

Начальница старательно надела на нос очки, достала из ящика письменного стола диаграммы и доклады, которые, по-видимому, фигурировали всегда при встречах с иностранными делегациями, и стала отвечать на вопросы.

Потом произошел маленький инцидент. Француз, сидевший рядом с Жоли и все время тихонько с ним переговаривавшийся, спросил:

- А вы сами тоже были раньше проституткой?

Остальные делегаты и делегатки – кто фыркнул, кто с негодованием на него зашикал. Мое положение было очень тягостным.

- Как вы можете задавать такие вопросы, ведь вы видите, что это пожилая приличная дама?

Но француз никак не хотел угомониться.

- И еще я хотел спросить, если проституция запрещена, то куда же должен идти мужчина, если ему нужно женщину?

Тут я решила не обращать на него больше внимания и стала переводить вопросы остальных делегатов. Они старательно записывали ответы в свои блокноты. Французик же просто хотел похулиганить.

Начальница разъясняла, что проститутки могут оставаться в диспансере не больше четырех недель, так как многие женщины, не имеющие жилищной площади – ввиду страшной перенаселенности в СССР вообще не принято говорить о «квартире», или «комнате», люди имеют только так называемую жилплощадь, – притворяются проститутками, чтобы хоть на время иметь место для сна и пищу. Поэтому каждые четыре недели состав диспансера сменяется.

– А не замечали ли вы, чтобы одни и те же женщины попадали снова в диспансер? – задала ехидный вопрос одна из делегатов.

Но начальница и глазом не моргнула.

– Как же, бывают такие случаи, но довольно редко.

Я потом слышала стороной, что контингент диспансера приблизительно один и тот же. Надоест проститутке ночевать в садах или на бульварах, и она идет передохнуть на несколько дней в диспансер. Ее там кормят, хоть и не густо, но все же лучше, чем она питается на воле, и спать есть где. Зато, когда ее выпускают снова на улицу, она опять принимается за свое. Так что реальной пользы от этого диспансера очень мало.

После разговора с начальницей мы пошли осматривать диспансер. Думаю, что даже тюрьма в культурных странах выглядит лучше и уютнее. Небольшие, плохо побеленные комнаты, тесными рядами стоят железные покосившиеся койки с продавленными матрасами, покрытые сероватыми байковыми одеялами. На кроватях сидят молодые и средних лет женщины. Очевидно, у них нет другой комнаты, где они могли бы находиться в течение целого

дня, так как все они сидели на своих кроватях. Для них не устроено никаких мастерских, и они то играют в карты, то гадают, – редко, редко какая-нибудь из них вяжет что-нибудь.

На вопрос делегатки к проститутке, ведется ли среди них культурно-просветительная работа, проститутка ответила вызывающе:

– Это что еще за работа! Да мы сюда не работать пришли, а отдыхать.

Услышав от меня перевод этой фразы, делегаты стали обмениваться между собой довольно двусмысленными замечаниями. Вообще мое положение было не из легких. Французы посматривали на проституток с видом охотника, рассматривающего дичь. Одну молодую девушку, сохранившую еще свежесть и миловидную лицом, товарищ электрика Жоли даже попытался ущипнуть за подбородок.

Потом послышался звонок, и мы спустились вместе с пенсионерками в столовую, которая помещается в подвальном этаже. Нам дали попробовать щи и кашу. Французы поморщились, но по советским порядкам 1932 года это был совсем приличный обед.

Когда французская делегация уехала, как и все остальные, в турне по Союзу, от нее в отеле отстал один марсельский владелец гаража. Он заболел, и его пришлось оставить в Москве. К больным делегатам большевики стараются относиться всегда сугубо внимательно. К нему пригласили двух врачей, и при нем дежурила день и ночь сестра милосердия, хотя особой нужды в этом не замечалось. Из двух сестер, сменявшихся по очереди, одна была со всеми повадками чекистки. И вот однажды вечером она принесла Гурману записку, которую француз откуда-то получил. В ней ему назначили свидание. Была подпись, но не было адреса, свидание назначалось на улице.

Гурман велел сестре выведать у француза, где и как он с этой дамой познакомился. Оказалось, что еще до своей болезни он как-то незаметно выскользнул из гостиницы и пошел прогуляться по Тверской. Тут с ним заговорила какая-то девица, дала ему свой адрес и просила к ней зайти. Но на следующий день он захворал.

Я видела, как Гурман, после доклада сестры, взял у нее адрес девицы и куда-то скрылся. Думаю, что этой девице не поздоровилось. Вообще в последние годы делегации иностранных рабочих очень строго изолировали от москвичей, и к ним в гостиницу можно было проникнуть только через штаб по приему делегаций.

## Отъезд за границу

Наступил август. Я уже год хлопотала о выходе из советского подданства, так как мой второй муж – иностранец – выехал за границу и ждал меня там. И вот в течение целого года я ходила в так называемый иностранный отдел Московского губисполкома. Стояла каждую пятницу в очереди у заветного окошечка, а затем робко осведомлялась о моем деле.

И всегда из окошечка без того, чтобы я особенно могла разглядеть, кто именно со мной говорит, доносилось сухое:

– Зайдите на следующей неделе.

В этом иностранном отделе толпились люди, желавшие тем или иным путем выехать за границу. Выдача разрешений тянется в СССР годами, ибо власть всеми силами старается возможно меньшее число людей выпустить из «советского рая». Во время моих посещений этого учреждения мне пришлось познакомиться с несколькими из таких желающих ухоть. Помню одну ветхую старушку, которая рассказала мне, что у нее дочь в Риге, особенно там не нуждается и зовет к себе. В Москве старушка сильно бедствует, живет из милости на кухне в общей кооперативной квартире. Если бы не дочкины посылки, она умерла бы с голоду, так как карточек на продукты не имеет.

– А почему же вы не исхлопочете себе карточки?

– Да ведь муж-то мой, царствие ему небесное, священником был, лишенка я.

И вот ходила эта старушка так же, как и я, из недели в неделю и из месяца в месяц. Однажды я была свидетельницей, как из окна на ее просительный вопрос резко послышалось:

- Вам, гражданка, в выезде отказано.

Старушка тут же грохнулась на землю. Стонала и рыдала. Я пыталась ее успокоить, но меня оттолкнули чьи то сильные руки. Два красноармейца, дежурящие внизу, взяли ее и вынесли. Посадили на извозчика. Увезли. Хотелось надеяться, что домой.

А то помню еще один интересный случай. К окошечку, где выдают паспорта, подошел какой-то немецкий рабочий. Я узнала его по баварским коротким бархатным штанишкам. Он сдавал немецкий паспорт и получал взамен его советский.

Стоявший рядом пожилой гражданин сказал немцу шепотом:

- Что вы с ума сошли, что ли? Да разве можно отдавать заграничный паспорт и брать советский. Ой, и будете же вы жалеть!

Немец презрительно усмехнулся:

- В Германии я все равно был безработным. А здесь мне сейчас же обещают работу.

Господин втянул голову в плечи, посмотрел кругом, потом постучал себя пальцем по лбу.

- У него не все дома.

Прошло около шести месяцев. В одну из очередных пятниц я была снова у заветного окошечка. Около соседнего - того, откуда выдавали иностранные паспорта, слышались резкие возгласы, ругательства на немецком языке, возмущенные тирады.

Я подошла поближе. У окошка потрясал кулаками тот самый немец. Он похудел и имел очень несчастный и злой вид. Он кричал:

- Я требую, чтобы вы вернули мне мой немецкий паспорт. Я лучше буду безработным в Германии, чем останусь здесь. Вы меня обманули, вы сказали мне, что я буду здесь лучше жить, чем в Германии. Это ложь, это скандал! Я пойду в посольство и буду жаловаться.

Окошечко демонстративно захлопнулось. Он стал ожесточенно стучать в него кулаками. В это время пришли красноармейцы и увели его куда-то вглубь зала, через внутренние двери. Сомневаюсь, чтобы этот бедный обманутый пролетарий когда-нибудь увидел снова свою родину.

Наконец, после долгих хлопот и мытарств, меня выпустили из советского подданства и я смогла выехать за границу. Выдавая выездную визу, служащая меня предупредила:

- Только помните, вы уже никогда не сможете вернуться в СССР. Мы ставим вам особую визу, и ни одно советское консульство в мире не поставит вам въездной сюда.

«Слава богу!» - подумала я.

Наконец я в поезде Москва - Бигосово. Меня провожают, кроме родных, мои сослуживцы. Они очень мне завидуют.

- Какая вы счастливая, Тамара Владимировна! Эх, если бы нам заграничный паспорт!

Характерно, что почти каждый советский гражданин с радостью уехал бы за границу. Никто из них не думает, что за границей может быть и нужда, и преследования, и безработица... Каждому кажется, что, если он покинет пределы Советского Союза, он сразу станет счастливым. Большевицкий гнет так велик, так проникает буквально во все сферы, как общественно-политической, так и частной жизни, что каждый чувствует себя непрерывно под каким-то страшным ударом. И это чувство полной беспомощности перед какой-то неизбежностью облекает выезд за границу для каждого беспартийного советского гражданина в заманчивые и чудесные формы. Только бы вырваться из этого ада, а там уже ничего не страшно.

Может быть, поэтому все подсоветские люди, попавшие за границу, чувствуют себя гораздо счастливее, чем уже давно проживающие там эмигранты. Для подсоветских все неприятности жизни в свободных странах кажутся просто-напросто мелочами. Разве можно сравнить с теми ужасами, с тем бесправием, с теми издевательствами, которые им пришлось пережить «там»?

Когда поезд тронулся, я отвернулась от окошка и взглянула в свое купе. Я увидела что со мной едет какой-то молодой человек, без пиджака, только в рубашке и брюках. Близ границы мы немного разговорились, и я узнала, что он немец, работал на одном из уральских заводов, а теперь возвращается в Германию. Он был очень несловохотлив – этот немец. Только когда в Бигосово мы пересели на латвийский поезд и очутились за границами СССР, он немного разговорился. Я спросила его, как ему нравится в Союзе. Он фыркнул.

– Уж меня-то больше не обманут. Уж я-то все знаю. Все видел. Работал на Урале. Есть нечего, зарплату задерживают. Живешь как свинья. А воровство как развито. Ведь подумайте, я на одну минутку оставил свой чемоданчик и пиджак в зале ожидания на вокзале в Москве и побежал к киоску купить папирос. Вернулся – ни чемодана, ни пиджака. Так вот теперь и еду. Что-то моя мать скажет!

– А вы откуда родом?

– Из Берлина.

Скоро я заметила, что он не имеет с собой абсолютно ничего съестного. Предложила ему бутерброд. Он сперва все отказывался, а потом не вытерпел. И с каким волчьим аппетитом стал поглощать пищу!

Через 24 часа поезд пересек лимитрофы и стал подходить к германской границе – Тильзиту. В нашем купе, кроме немца, сидели трое советских служащих, направлявшихся, как я поняла из их разговоров, в берлинское полпредство и торгпредство. Двое мужчин и одна женщина.

По-видимому, коммунисты. Последние годы за границу вообще стали командировать все больше и больше членов партии. Только на должности специалистов посылают беспартийных, да на мелкую техническую работу.

Советчики больше молчали и сосредоточенно вглядывались в расстилавшийся за окнами непривычный пейзаж.

Но вот и германская граница. Поезд остановился. В наше купе вошел высокий немец в форме. Взял наши паспорта, живо их перелистал и остановил свой взор на моем соседе – молодом немце.

– Вы такой-то? (Фамилию я, к сожалению, забыла.)

Немец побледнел как полотно.

– Да, я.

– Следуйте за мной, вы арестованы.

Немец встал, у него не было никакого багажа. Не попрощавшись ни с кем, он покорно вышел за пограничником.

– Что случилось? – заволновались советчики.

Я объяснила, что он арестован.

– За что?

– Не знаю.

Кто хочет узнать историю этого немца, пусть перелистает берлинские газеты конца сентября 1932 года. В них под крупным заголовком сообщалось, что на границе арестован коммунист такой-то, который за два года до того принимал участие в вооруженном нападении на один национал-социалистический

ресторан. При этом два гитлеровца были убиты. Ему грозила тюрьма, и коммунисты переправили его в Советский Союз. Теперь он на суде заявил, что вернулся потому, что предпочитает лучше отбыть срок своего наказания в германской тюрьме, чем влачить жалкое существование в СССР. Он совершенно разочаровался в коммунизме и просил его не слишком строго наказывать.

Для меня же началась свободная жизнь.

**Три года в Берлинском  
торгпредстве. 1928—1930**

## Линденштрассе № 21—25

Одна из крупных артерий Берлина, соединяющая Бель-Альянс-плац с восточной частью города, – Линденштрассе. По правой стороне, пройдя огромное здание, в котором раньше помещался «Форвертс», перейдя Хольманнштрассе, вы подходите к четырехэтажному массиву страхового общества «Виктория». Красивое здание, с характерной для берлинских домов графитовой крышей, рассчитанное на столетия, с толстыми стенами и импозантной вывеской: «Торговое представительство СССР в Германии».

Веймарская республика и социал-демократический режим в Германии предоставляли советскому правительству и Коминтерну широкое поле деятельности. Торговые отношения между Германией и СССР процветали, ассигновывались трехсотмиллионные кредиты, большевики лихорадочно вывозили в Германию мороженых гусей, яйца и хлеб, отнимая все это у несчастного, голодного русского мужика, и ввозили машины и оборудование для того, чтобы вооружиться до зубов. Как теперь оказывается – вооружиться против той же Германии. Звучит парадоксально, но выходит так, что Германия своими собственными руками и силами своих собственных инженеров вооружила СССР против самой себя.

Под прикрытием полпредства и торгпредства советские агенты с невероятной и дьявольской ловкостью вели пропаганду, увеличивали тираж «Роте фане», вскармливали компартию и всяческие ее филиалы, пока не пришел Гитлер и его штурмовики, положившие конец большевицкой свистопляске.

После 30 января 1933 года, то есть после прихода к власти Гитлера, торгпредство на Линденштрассе стало

худеть и чахнуть. Сперва у большевиков, правда, были еще надежды на то, что правительство Гитлера долго не продержится. Но время шло, правительство крепло, завоеывая все новые и новые позиции. Большевикам надо было искать новых друзей, а главное – вербовать в других странах наивных пролетариев, чтобы составить единый фронт против ненавистного национал-социализма. И так как существующая в СССР «монополия внешней торговли» всегда была учреждением более политическим, чем экономическим, – заказы были переданы постепенно в другие страны, и гуси поехали вместо Германии в Англию. Великолепное помещение на Линденштрассе, за которое уплачивалось в год больше полумиллиона марок, было скрепя сердце очищено, а жалкие остатки торгпредства перекочевали в собственный, советского правительства, дом (по сравнению с домом «Виктории» – домик) № 11 на Литценбургенштрассе, в Вестене. Там оно упокоится и поныне. Из 1200 служащих осталось теперь едва ли больше ста пятидесяти. Sic transit gloria mundi.

Волею судеб мне пришлось проработать в берлинском торгпредстве с января 1928 г. по март 1931 года, то есть в самый разгар его деятельности. В эти годы на здание Линденштрассе, 21–25 были устремлены взоры многих и многих сотен германских купцов и промышленников. Ежедневно его посещали бесчисленные продавцы, покупатели, агенты и посредники. И каждый из них, переступая порог этого дома, чувствовал себя несколько неуверенно, как бы на вражеской территории.

В десять часов утра и в пять часов вечера отворялись массивные двери, впуская или выпуская сотни служащих торгпредства: стенографисток,

машинисток, переводчиков, инженеров, приемщиков и просто большевиков, занимавших командные посты. Однако в окнах торгпредства до поздней ночи светился огонь, так как более пятидесяти процентов так называемых «ответственных работников» должны были работать без ограничения времени – а перегружены все были страшно.

Линденштрассе приспособилось к этой армии русских. На противоположной стороне открылись две эмигрантские столовки, где можно было получить и борщ, и гречневую кашу с молоком, и поросенка под хреном. Несмотря на то что в самом торгпредстве была кантина (столовая и буфет), многие служащие, даже коммунисты, предпочитали обедать в русских столовках напротив. Пока в один прекрасный день не вышел приказ: обедать только в кантине.

Немцы, жившие и торговавшие на Линденштрассе, в окрестностях торгпредства, смотрели на этих русских и думали: вот идут большевики. А между тем до самого последнего времени настоящих большевиков, то есть людей, преданных советской власти, в торгпредствах было очень мало. Большинство технического персонала являлось тогда, да является и теперь, беспартийными. Выходя из здания и завернув за угол, они облегченно вздыхали – я не шучу, я очень хорошо помню у себя этот вздох облегчения и какое-то внутреннее чувство освобождения всякий раз, когда я выходила из торгпредства и становилась самой обыкновенной прохожей, теряющейся в разношерстной толпе, фланирующей по улице. Потом, с опаской оглядываясь кругом, они покупали в газетных киосках тогда еще выходивший «Руль» или парижское «Возрождение», как нынче покупают, вероятно, «Голос России» или «За Родину». А поздно вечером, заперев двери и окна в меблированной комнате, снимаемой у какой-нибудь фрау Мюллер или фрау Шульц, они садились к столу и с

наслаждением погружались либо в эти газеты, либо в эмигрантскую литературу. Чем ярче и грознее бичевали большевиков белые газеты, чем откровеннее разоблачали козни ГПУ – Агабеков, Беседовский или Дмитриевский, – тем приятнее чувствовал себя советский служащий торгпредства. Воображаю, какое истинное наслаждение испытывают теперь беспартийные служащие парижского, лондонского, берлинского и всяких других торгпредств, читая «Россию в концлагере» или «Молодежь и ГПУ»! Прямо завидно становится.

В настоящих очерках я позволю себе рассказать кое-что о внутренней жизни торгпредства и о людях, которые в нем работали. В Берлине есть еще живые свидетели того, что в бытность мою торгпредской служащей я была настроена крайне антибольшевицки. Эти люди – немцы, бывавшие в торгпредстве по делам и заходившие ко мне за справками, так как я ведала информационным бюро. У меня есть некая физиономическая способность – я почти с первого взгляда либо доверяю человеку, либо ему не доверяю, и нужно сказать, что ошибаюсь очень редко. Обычно после выдачи справки завязывался тот или иной разговор, и я с двух слов определяла своего посетителя. Из таких разговоров иногда зарождалось знакомство и даже нечто вроде дружбы, с большой долей откровенности в области политических взглядов. Эти люди могут подтвердить, что, служа по необходимости у большевиков, я ненавидела их всеми фибрами души, а также что описываемая мною атмосфера работы в торгпредстве соответствует действительности. Для пояснения того, как возможна в стенах торгпредства такая откровенность, должна сказать, что последний год у меня была совсем отдельная комната, где, кроме меня, никто не сидел.

Среди белой эмиграции, как и среди иностранцев, существует ошибочное мнение, что всякий торгпредский служащий – личность подозрительная, чуть ли не имеющая отношение к ГПУ, потому что-де так, зря кого за границу не пошлют. Я хочу и должна в корне опровергнуть это мнение. Ибо каждое советское торгпредство в любой стране – это та же «Россия в концлагере». В нем есть, с одной стороны, правящая беспардонная большевицкая каста, и, с другой стороны, запуганный беспартийный советский служащий, который более или менее случайно командировается за границу, живет там под вечным страхом, что это блаженство вот-вот кончится, что он будет откомандирован обратно в советский ад, затем действительно откомандировывается, после чего у него на долгие годы остается светлое, но горькое воспоминание, которое сопровождает его неотлучно во все время пребывания его за границей. У каждого остаются в СССР родные и близкие, зачастую даже муж или жена, которых упорно не пускают за границу, и точно так же, как любой из эмигрантов трепещет за своих оставшихся «там», избегая писать им или слать посылки, – каждый торгпредский служащий трепещет за своих и по мере своих сил стремится не провиниться перед советской властью – не только ради своей шкуры, а именно ради своих близких.

Лично я особенной трусливостью не отличаюсь, и я много позволяла себе в бытность мою в торгпредстве, вплоть до хождения в церковь на Фербеллинер-плац, но все же пойти на концерт, например, хора донских казаков Жарова я – признаюсь теперь со стыдом – так и не решилась. Ибо знала, что в зале будут непременно присутствовать несколько чекистов, которые будут следить – не пришел ли кто-нибудь из торгпредских послушать «белобандитский хор».

## О мечте попасть за границу

В моей книге «Записки советской переводчицы» я уже писала, что верхом мечтаний большинства советских граждан является – вырваться за границу. Советская жизнь настолько тяжела, голодна, бесцветна и скучна, а о загранице, несмотря на все попытки советской власти не допустить никаких мало-мальски благожелательных сведений, все же просачиваются рассказы как о чем-то светлом, свободном и похожем на старую Россию, – что такое стремление уехать вполне понятно. Недавно один из вернувшихся в Вену шуцбундовцев заявил на митинге:

– Если открыть границы СССР, то половина населения сбежала бы.

Я утверждаю, что не половина, а гораздо больше.

Будучи в Москве, я делала все от меня зависящее, чтобы попасть за границу, и я этого нисколько не стыжусь. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. В душе теплилась надежда на то, что таким путем и вся наша семья сможет впоследствии спастись от советчины. Каким именно путем – было неясно, но надежда была.

Между Наркоминделом и его полномочными представительствами за границей, с одной стороны, и Наркомвнешторгом с торгпредствами – с другой есть некоторая весьма существенная разница. Полпредства ведут почти исключительно дипломатическую и высокополитическую работу. Поэтому и подбор служащих в них гораздо строже. В большинстве случаев – это люди политически грамотные, начетчики, зачастую прошедшие огонь, воду и медные трубы Коммунистической академии. В полпредства уж не пошлют никого непроверенным, поэтому и

«невозвращенцев» из полпредств почти не бывает. Агабеков, Беседовский и Дмитриевский – вот и обчелся. Да и те стали невозвращенцами потому, что уж слишком далеко зашли, и надо было спасать свою шкуру.

Торговые представительства ведают де-юре торговлей, но де-факто занимаются вещами и посерьезнее – например, экономическим шпионажем. Кроме ведающей этими «заданиями» (как принято в СССР называть секретные поручения) верхушки, состоящей из коммунистов, имеется целая армия специалистов: инженеров, техников и приемщиков.

В первые годы большевицкой власти, когда аппарат был еще не налажен, когда еще не было новых партийных спецов, за границу сплошь и рядом командировались беспартийные специалисты, которым в душе было в высшей степени противно заниматься экономическим шпионажем для поработителей их родины.

Многие из этих специалистов стали невозвращенцами, а многие, вернувшись в СССР, были за нерадивость или за неосторожность арестованы и сосланы в концлагеря.

По работе своей торгпредства, конечно, гораздо ближе внедряются в жизнь той страны, где они находятся. Но, в силу их коммерческой деятельности, им приходится иметь также большое количество технических работников, которые, в сущности, при посылке за границу до самого последнего времени проверялись очень слабо. Это, главным образом, беспартийные, сплошь и рядом политически малограмотные, так что для них большевикам приходится организовывать специальные курсы политграмоты. Впрочем, в самые последние годы аппарат торгпредств очень сильно почищен, и теперь

попасть на работу в торгпредство почти так же трудно, как и в полпредство.

Интересно отметить тот факт, что полпредские служащие сторонятся торгпредских. Игнорируют их. Презирают, как нечто плебейское. Полпредские считают себя советской аристократией. В устроенном на широкую ногу клубе советской колонии в Берлине, который тогда находился на Дессауэрштрассе, полпредские служащие почти никогда не появлялись. Разве только по самым торжественным дням, да и то держались особняком.

Поэтому не надо смешивать служащих полпредств и технических работников торгпредств. Практика и опыт показали мне, что если в полпредствах каждый второй служащий - чекист, то в торгпредствах едва ли приходится один чекист на десять служащих.

## Как я попала за границу

Отъезд за границу был сопряжен с большими трудностями. Наша семья была очень дружной, на нашем интимном наречии она называлась «развеселым семейством». Муж мой, я и наш единственный сын Юрочка умудрялись жить своей собственной, даже в советских условиях, веселой жизнью. Между прочим, именно вследствие тяжелых советских условий семейная жизнь в СССР приобретает совершенно особое значение. Если англичанин говорит: «my home - my castle», то с тем большим правом любящий свою семью советский гражданин может сказать: моя семья - это единственное место, куда я не должен, не хочу и не могу допустить советского влияния. И действительно - на фоне пресловутой советской распушенности, аморальности и беспрестанной смены партнеров по семейному очагу имеется в СССР очень много семей, прочности которых мог бы позавидовать любой пуританин. Вот чем-то вроде такой семьи была и наша. И муж мой, и я, правда, работали до изнеможения, иногда на двух-трех службах сразу, варились целые дни в ведьмином котле профинтернов, профсоюзов и прочих советских прелестей, приспособлялись, добывали картошку, кусок мяса, селедку, негодовали на советскую бестолочь и страдали от издевательств над личностью, в котором большевики так изощрились. Но зато, вернувшись вечером в нашу салтыковскую голубятню, растопив большую печь, обогревавшую сразу всю квартирку, мы забирались на большой диван и уходили от действительности в нашу собственную, милую, дружную и уютную жизнь. Юрочка обычно влезал между нами, мы его тискали и мяли, он пищал и хохотал от удовольствия, папа выкапывал что-нибудь из

своих бесчисленных мозговых запасов, мы слушали, и было нам тепло и уютно. И хоть на часы забывалось все то, что было там, за стенами...

Поэтому вопрос об отъезде за границу был сопряжен с большой моральной борьбой: приходилось впервые на долгое время расставаться, оставлять мужа одного, лишая его общества горячо любимого им сына, а нас с Юрой - мужа, отца и друга. Вопрос о моем отъезде долго нами дебатировался. И когда скрепя сердце муж согласился нас отпустить, потому что все яснее становилась полная беспросветность советской жизни, все больше натягивались нервы, все безотраднее рисовалось будущее, - я решила подать второе заявление в Наркомвнешторг о моем желании быть командированной на заграничную работу.

На мое первое заявление, поданное в 1926 году, последовала резолюция, гласившая, что я должна предварительно проработать два года в одном из московских учреждений, имеющих дела с заграницей или с иностранцами.

Теперь я имела за собой, пусть небольшой, но все же стаж переводчицы при иностранных делегациях и рекомендацию одного видного коммуниста, работавшего в одном из заграничных торгпредств. Товарищ Н-ский был одним из немногих известных мне коммунистов, которого я уважала. Прошедший мировую войну и награжденный всеми четырьмя Георгиями, он, будучи до революции левым эсером, сразу примкнул к большевикам и провел Гражданскую войну на фронте. Принадлежность его к врагам царского режима не помешала ему, однако, в одну из страшных киевских ночей выпустить на свободу запертых в сарае и осужденных на расстрел белых офицеров. В частной жизни - это был довольно умный, хотя и не очень образованный, спокойный и разумный человек, относившийся с уважением к чужому мнению. Мне

пришлось работать с ним в бытность мою в Одессе, он оценил во мне трудолюбие и честное отношение к работе, и, когда я написала ему за границу, прося его помочь мне, – безоговорочно прислал отличную рекомендацию. С своей точки зрения он поступал лояльно, так как, по его мнению, мои знания языков и стенографии могли принести Советскому Союзу гораздо больше пользы на заграничной работе, чем в канцеляриях Дворца труда.

Тяжелобольной (у него был рак печени), он скончался в год моего окончательного выезда за границу, так что большевики ему за эту рекомендацию теперь отомстить уже не могут.

И вот, в одно прекрасное ноябрьское утро 1927 года меня вызвали в Наркомвнешторг и подвергли экзамену как по языкам, так и по стенографии. Затем провели меня в отдел кадров и там предупредили, что имеется свободная вакансия стенографистки в Кельн, в тамошнее маленькое и даже неофициальное представительство экспортного директората.

В Кельн так в Кельн. Мне было, в конце концов, все равно, куда ехать, лишь бы вырваться, хоть на время, из Совдепии, лишь бы дать моему сыну возможность хоть немного поучиться в европейской школе, лишь бы иметь хоть какую-нибудь надежду на то, что можно будет остаться за границей навсегда.

– Мы даем вам сто двадцать долларов жалованья в месяц, – заявил мне Вейцман, заведовавший приемом новых служащих. – Это нормальная ставка для стенографистки со знанием языков.

Я была настолько наивна, что не знала – чему приблизительно на немецкие деньги равняются эти доллары или, вернее, что на них можно купить в Германии.

– А мне хватит этих денег? Я ведь с сыном еду.

- Что за вопрос? Конечно, хватит. А теперь оставьте у нас ваш паспорт и заполните эти четыре анкеты. Да, и еще одно: непременно достаньте еще две рекомендации старых членов партии, пусть напишут, что они считают вас подходящей для заграничной работы. Без этого мы за границу вас не пустим.

- Но, товарищ заведующий, ведь я и теперь работаю в Международном комитете горнорабочих, мы постоянно работаем с заграницей.

- Это нас не касается. А рекомендации все же принесите.

Новое дело! Кто же может дать мне такую рекомендацию? Ведь это не так просто. «Ручных» коммунистов у нас было не так много: один-два и обчелся. Да и те были в тот момент в опале, так как их заподозрили в оппозиции Сталину. Я сунулась к одному-другому из знакомых – нет ли у кого-нибудь такого коммуниста. Ничего не наклевывалось. Своему шефу, Слуцкому, о моем намерении уехать за границу я заранее сказать ни в коем случае не могла. Я знала слишком много секретов о международной работе Коминтерна и Профинтерна, чтобы он выпустил меня так, за здорово живешь, из СССР. Кроме того, я была для него действительно незаменимой работницей, так как знала пять языков, машинку, стенографию, а кроме того, умела писать сводки, бюллетени и письма без того, чтобы мне кто-нибудь диктовал. Уж на это-то моего литературного таланта хватало.

Значит, нужно было действовать крайне осторожно и тайно. Это усугубляло трудность задачи. Дни проходили за днями. Вакансия в Кельне могла быть замещена кем-нибудь другим. Я нервничала. Как вдруг судьба ко мне смилостивилась. Как-то к нам в Комитет зашел приехавший из Харькова член Украинского Центрального комитета профсоюза горняков, старый

большевик Кудрявцев. Слуцкого как раз не было. Я сидела и читала, как сейчас помню – Pittsburg Press, из которой надо было выудить сведения о стачке углекопов в Питтсбургском районе. Кудрявцев стал заговаривать со мной, шутил, приглашал меня пойти с ним вечером в Большой театр на балет. Я отшучивалась. Потом точно блеснуло что-то в мозгу.

– Товарищ Кудрявцев, у меня к вам небольшая просьба. Не откажете ее исполнить, а?

– А что такое?

– Вы ведь не из трусливых? Говорили, что вы в ленских событиях принимали участие?

Товарищ Кудрявцев расправил свои хохлацкие усы.

– Да, уж в трусости меня упрекнуть никто не может. А в чем дело?

– Да, видите ли, наклеывается мне место в германском торгпредстве, уже и экзамен выдержала. Теперь же надо еще одну рекомендацию, а все кругом такие трусы – боятся взять на себя ответственность. Будьте добреньким, подпишете вот здесь...

У меня уже был заранее заготовлен текст рекомендации.

– Товарищ Солоневич, да ведь вы здесь на такой серьезной работе – если бы вам не доверяли, разве вас держали бы? А почему Слуцкий не может дать?

– Я Слуцкому и не говорила ничего, ведь вы знаете, какой он. Заартачится, отпускать меня не захочет.

– Ну ладно, давайте подпишу. А вы, когда в отпуск приедете, привезите мне из-за границы золотые часы на браслетке. Там, говорят, дешево. Идет?

– Ну, конечно, идет, товарищ Кудрявцев.

Как билось мое сердце, пока Кудрявцев медленно выводил свою подпись! Ставилась на карту, быть может, вся моя жизнь!

– Вот, товарищ Солоневич, только смотрите же не подведите.

Должна сказать, что я Кудрявцева действительно не подвела. Когда, через три года, меня откомандировали обратно в СССР, я вернулась в Москву, а не стала невозвращенкой. Но, честно признаюсь, что о Кудрявцеве я тогда думала меньше всего.

Достать вторую рекомендацию было уже гораздо легче. Коммунисты больше всего боятся личной ответственности. Но раз уже один взял ее на себя, другой действует как бы механически.

## Последние колебания

Через неделю я оказалась обладательницей столь драгоценного в СССР заграничного паспорта. С виду он был очень неказист: не обычная изящная книжечка небольшого формата, как английский или германский, – а длинная красная тетрадка, с безвкусно напечатанным серпом и молотом, а внутри, вместо книжечки – большой белый лист, складывающийся вчетверо и еще вчетверо. Понятно, что лист этот через некоторое весьма короткое время рвался и обтирался на краях сгибов, ту или иную визу ставили на нем где попало, так что таможенные чиновники, при последующих моих поездках в Россию в отпуск, долго и недовольно его рассматривали прежде, чем найти ту, которая им была нужна.

Но для меня такой паспорт был чем-то столь необыкновенным и дорогим, что я берегла его как зеницу ока и, сидя на службе, по нескольку раз открывала ящик стола, бережно его вынимала и любовалась им.

Теперь настал момент, когда надо было обо всем сказать товарищу Слуцкому<sup>[25]</sup>. Эффект был именно таков, каким и я его себе представляла. Слуцкий выпучил на меня по своему обыкновению глаза, стал бегать в волнении и ярости по комнате и, наконец, подбежал к телефону:

– Сейчас же позвоню в Наркомвнешторг и буду протестовать против вашего отъезда.

– Товарищ Слуцкий, Наркомвнешторг считает, что с моим знанием языков я буду полезнее за границей, чем в Москве.

– Плевать мне на то, что он считает. Я вас не пущу – вот и все. Кто подписал вам рекомендации?

- Кудрявцев и Миронов.

Лицо Слуцкого на минуту омрачилось.

- Я и с ними поговорю.

- Товарищ Кудрявцев уехал вчера в Донбасс.

- Не беспокойтесь, у нас существует на всякий пожарный случай телефонное международное сообщение.

Но в тоне Слуцкого уже сквозила некоторая неуверенность. Я сидела как на иголках. Наконец решила схитрить.

- Товарищ Слуцкий, неужели вы думаете, что мне особенно хочется ехать за границу? Я буду рада остаться в Москве.

- Ну вот, тем более. И не думайте, что вам там будет лучше, чем здесь. На какой оклад вы едете?

- Сто двадцать долларов.

- Вот видите. На сто двадцать долларов вы будете влачить с сыном жалкое существование. Ведь сами дома варить не будете, а придется обедать по ресторанам. Самый дешевый обед стоит в Берлине две марки пятьдесят. На двух человек - пять марок. И затем, раз вы едете с сыном, вам придется взять не одну комнату, а две - вы заплатите минимум двести марок. И школа будет дорого стоить. Вам совсем не к чему ехать.

- Хорошо, товарищ Слуцкий, я еще подумаю. Но очень вас прошу пока ничего не предпринимать.

- Ладно, но только я возмущен, как это вас назначили, даже не спросив меня - вашего начальника. А может быть, я против этого?

В это время в комнату кто-то вошел, и наш разговор прервался.

Чтобы усыпить бдительность Слуцкого, я старалась ничего больше не говорить о своем отъезде, более того - я стала его откладывать, надеясь, что постепенно Слуцкого удастся уломать. Одновременно я

постаралась повидать тех служащих Дворца труда, которые уже бывали на заграничной работе. В подавляющем большинстве это были коммунисты, которые всячески старались меня от поездки отговорить. Рисовали мне безотрадную картину полуголодного существования, говорили о том, что им самим якобы очень за границей не понравилось, что они рвались вернуться в СССР и т. д. и т. д. Какой ложью оказались впоследствии все эти рассказы!

Беспартийные же мои знакомые всячески убеждали меня ехать, завидовали мне, забегали ко мне в комитет и просили показать мой заграничный паспорт. Смотрели на него с вожделением и вздыхали:

- Эх, кабы мне такой! Уж я бы одного часа здесь не остался.

А сослуживицы - такие же, как и я, беспартийные стенографистки, машинистки и переводчицы - просили меня:

- Когда приедете в отпуск, привезите мне беленькие носочки.

- А мне - красный беретик.

- А мне - губную помадку «Коти».

Как бы то ни было, колебания не переставали меня мучить. В тот год стояла особенно суровая зима. Короткие северные дни, длинные темные ночи, ежедневные поездки в нетопленых, битком набитых вагонах из Салтыковки в Москву и обратно, ухищрения для того, чтобы достать что-нибудь поесть, - все это надламывало организм, иссушало желания, снижало энергию. Становилось как-то страшно ехать куда-то в чужую, неизвестную страну одной, без всякой опоры, с маленьким сыном. А тут еще бесконечные угрозы Слуцкого и уговоры других коммунистов. Словом, отъезд мой затянулся на три месяца.

Наконец, в двадцатых числах января меня срочно вызвали в Наркомвнешторг. А там - к самому

начальнику отдела кадров. Он посмотрел на меня довольно сурово и сказал:

- Или вы едете в Германию, или вы не едете. Но чтобы вы завтра же дали мне окончательный ответ и, если не едете, вернули паспорт. Визы-то ведь все просрочены, надо ставить новые. А Кельн сидит без стенографистки и бомбардирует нас письмами. Почему вы так тянете?

- Сто двадцать долларов уж очень малое жалованье. Все говорят, что на это в Германии трудно прожить.

Начальник почти с состраданием на меня взглянул: вот, мол, какая дурочка нашлась.

- Ну что ж, вы знаете четыре иностранных языка, когда приедете в Берлин, заявите там, чтобы вам прибавили еще десять долларов. Скажете, что я на это согласен.

- А почему вы отсюда не можете дать мне сразу такую ставку?

- На это есть свои причины.

Позже я поняла, что это были за причины. Дело в том, что каждому командирующемуся за границу полагаются подъемные в размере месячного оклада. И вот, даже эти десять долларов для советского кармана составляли расход, с которым все-таки надо было считаться.

Я вернулась домой, мы устроили последний семейный совет, и на следующий день я дала начальнику отдела кадров утвердительный ответ.

В Советской России большей частью власть делает все наперекор желанию граждан.

Покажи я излишнюю торопливость и страстное желание поскорее выехать за границу, меня, может быть, в последний момент оставили бы в Москве. Но поскольку я не выказала особенно яркого желания

уехать, ко мне прониклись как бы некоторым уважением и даже в принципе прибавили жалованье.

Судьба смилостивилась ко мне и в том смысле, что Слуцкий в середине января уехал в Донбасс по делам, так что я смогла уехать из Москвы в его отсутствие – даже прощальной рекомендации некому было мне написать, что, впрочем, меня не особенно удручало.

## Мы - в Берлине

После долгих сборов наступил момент расставания. Было очень тяжело на сердце, но одновременно подбодряло сознание, что для моего сына поездка в Германию будет чрезвычайно полезна. 26 января 1928 года, вечером мой муж и наши друзья проводили нас с Юрой на вокзал, а 28-го утром мы вышли с ним с центрального берлинского вокзала на Фридрихштрассе. Носильщик нес мой захудалый чемодан, в котором, кроме полотенца и мыла, ничего не было. Ибо что мог тогда вывезти из СССР за границу несчастный советский гражданин?

Прежде всего нам нужна была комната хотя бы на два-три дня. Ввиду того, что меня командировали в Кельн, я полагала, что в Берлине мне долго быть не придется. Поэтому мы решили остановиться в гостинице. Но не тут-то было: мы прошли весь квартал по Доротеенштрассе, влево от Фридрихштрассе, и результаты оказались самыми плачевными. Неукоснительно повторялась одна и та же процедура – носильщик заходил в отель, махал нам из-за стеклянной двери рукой; мы входили, а через секунду портье вежливо, но твердо заявлял, что комнат нет. И при этом как-то странно на нас поглядывал. Особенно на Юрчика.

Наконец я уразумела, в чем дело. Всему виной был наш необычайный вид. На мне было мое старенькое, дважды перелицованное пальто, еще одесских времен, совершенно не модное и провинциального вида, а на Юрочке – черный длинный бесформенный кожушок из одеяла. Но, что самое главное, на нем была меховая шапка с наушничками, так что с первого взгляда он очень походил на эскимоса. Вот эта-то шапка, по-видимому, и отпугивала фешенебельных портье.

Наконец, попалась какая-то второсортная гостиница, где над нами сжалились и предоставили на четвертом этаже небольшую комнату, правда, с двумя кроватями, за 9 марок в сутки. Эта цифра меня испугала. Неужели моих ста двадцати долларов действительно не хватит?

Наскоро умывшись и оставив Юрочку на попечение хозяйки, я, расспросив предварительно, как мне проехать на Линденштрассе, поспешила в торгпредство. Там я надеялась в тот же день получить хоть немного денег из моих подъемных, чтобы купить себе и сыну самую необходимую одежду и обувь. В таком виде, в каком мы приехали, нас не пустили бы, вероятно, ни в один более или менее приличный ресторан.

## Первые впечатления

- Sie wünschen?<sup>[26]</sup>

- Мне надо в отдел кадров, я только что приехала из Москвы.

- Ihern Pass, bitte<sup>[27]</sup>.

Портье нажимает под столом ногой кнопку, совсем незаметно для непосвященного глаза, и показывает рукой на дверь.

Здесь, в советском торгпредстве, все конспиративно. Это не то, что в любом германском учреждении, - вы входите, о вас докладывают, может быть, запрашивают даже по телефону того, к кому вы хотите войти, но двери, ведущие в остальное помещение, не закрыты. Здесь обе двери по сторонам обширной приемной заперты. Пришедший с улицы человек никаким способом не проникнет внутрь, не сможет пройти дальше этой приемной. Двери заперты потайным замком, и провода ведут к столам портье. А сами портье как в карманах брюк, так и в ящиках стоящих перед ними письменных столов имеют оружие.

Портье, как и весь остальной немецкий персонал торгпредства, включая уборщиц, слесарей, столяров, истопников и проч., - исключительно члены Германской коммунистической партии. И не рядовые, а активисты. Но об этом я узнала лишь значительно позже.

Двери бесшумно раскрылись, я попадаю в переднюю, где движется так называемый патер-ностер, то есть открытый лифт, с непрерывной цепью открытых кабинок, входить и выходить из которого нужно на ходу. Я вижу такой лифт впервые и не решаюсь им воспользоваться. Боюсь, что не смогу вовремя войти и выйти. Поднимаюсь по лестнице. Второй этаж.

Длинный, темный коридор идет в обе стороны, в него выходят двери с номерами. По коридорам снуют какие-то люди. Спрашиваю двух-трех, как попасть в отдел кадров.

- А вот там, направо, коридорчик, так в конце его будет дверь, а за нею другая. Там и есть отдел кадров.

Комната 155. Стучу. Ответа нет. Вхожу. Небольшая комната чисто канцелярского типа. Посредине - два стола. За одним - еврейка Иоффе, за другим - еврей... Сергеев. Да, да, именно Сергеев. В Москве как-то у меня был такой случай, что я должна была повидать одного из членов ВЦСПС. Мне сказали:

- Спросите Ивана Ивановича Иванова.

Оказался самый обыкновенный еврей. Это не анекдот. Одно только непонятно: зачем евреям теперь, при советском режиме, менять фамилии и подделываться под русских? Ведь в принципе в СССР все нации равны.

На столах у обоих шефов - груды бумаг и по два телефона. У окна стоит неизменный сейф. Я стою у двери и жду. Но на меня никто не обращает внимания. Как будто бы меня нет. В Советской России это вообще бывает сплошь да рядом - полное отсутствие внимания к посетителю. Ибо предполагается, что если в комнату вошла важная шишка - коммунист или даже влиятельный активист, - то он ждать не станет, а сразу же подойдет к столу, швырнет на него кепку, а затем либо стукнет кулаком по столу либо развалится без приглашения на первом попавшемся стуле. Безо всякого стеснения. Ну а раз стоит себе смирененько в почтительном отдалении и молчит - значит, беспартийная сволочь. Значит, стесняться нечего.

Я отлично все это знаю, и сознаю, что мне давно надо было переделать себя, отрешиться от излишней в советских условиях деликатности и тактичности, но... «проклятое» институтское воспитание мешает.

Так и теперь - стою и жду. Потом решаюсь кашлянуть. Потом набираюсь смелости и говорю:

- Простите, товарищ...

Но тут, видно, сидят махровые бюрократы. Их так просто не прошибешь. Надменность и наплевательское отношение к подчиненным придают им вес в их собственных глазах, ибо других заслуг у них нет.

На мою удачу, в этот момент в комнату врывается некто в сером, высокий, энергичный и напористый. Подлетает к Иоффе и с места в карьер начинает орать:

- Это разве торгпредство! Это сумасшедший дом какой-то! Два месяца я здесь, а меня уже третий раз перебрасывают из комнаты в комнату, да мало того, еще и из этажа в этаж. И главное, никто не знает, по чьему распоряжению! Теперь ты, Иоффе, признавайся, это ты приказала меня на место Электроимпорта перебросить? Так я тебе заявляю, что этому не бывать! Что важнее, по-твоему, умная ты голова, Хлебоэкспорт или Электроимпорт? Кто дает валюту государству - мы или они? А ты наш отдел загоняешь куда-то на четвертый этаж, к чертям на кулички, а электриков, видите ли, - на самый низ. Надо ведь соображение иметь! Я в Москву буду жаловаться. Это черт знает что такое! Клиенты теперь опять по всему торгпредству бегают - меня ищут, а я - ишь, на небеса забрался!

Куда девались небрежная поза и бюрократическое молчание Иоффе. Точно злая, хищная птица, худая и общипанная, она нахохлилась на своем кресле и вот-вот вцепится когтями в крикуна.

- Ты мне тут не кричи. Тут отдел кадров, а не базар. И никакого распоряжения я не давала.

- Как не давала, а кто же давал? Ты, Сергеев?

Но Сергеева уже и след простыл. Я даже не заметила, как он успел скрыться в боковой двери, за его креслом. Да и мудрено неискушенному глазу заметить:

дверь вроде как бы потайная – в стене замурована и выкрашена под цвет остальной комнаты.

Теперь Иоффе обращает, наконец, свое внимание и на меня. Она, конечно, уже давно знает, что я здесь, но тут ей, видимо, неприятно, что ее престиж так дискредитируется перед какой-то посторонней личностью.

– Вам что, товарищ? – демонстративно обращается она ко мне и тем самым временно отстраняет бушующего хлебоэкспортника.

– Я сегодня приехала из Москвы. Назначена стенотиписткой, со знанием языков. Моя фамилия Солоневич.

– А, Солоневич? Где же вы так долго застряли? Бумага о вашем назначении у нас уже давно лежит, в Кельне работать некому. Покажите ваш паспорт и препроводительные бумаги. Так, все в порядке. На какую ставку вы приехали?

– На сто двадцать долларов, но заведующий отделом кадров в Москве сказал, что ввиду того, что я знаю четыре языка, вы мне дадите сто тридцать. Я ведь не одна, а с сыном.

– Ну, это мы еще посмотрим. Если будете хорошо работать – прибавим.

– Но ведь в Москве мне сказали, что это наверное.

– Мало что в Москве сказали. Ну да ладно, я поговорю с товарищем Сергеевым. А теперь собирайтесь, чтобы сегодня же вечером выехать в Кельн.

– Я хотела просить разрешения остаться хотя бы на один день в Берлине, чтобы одеться. Вы сами видите, в каком неподходящем я виде.

– Нет, ни минуты ждать нельзя. Вы и так запоздали. Идите в кассу, я сейчас распоряжусь, чтобы вам выписали ордер, поезжайте к Вертгейму или Тицу, купите, что надо, и с вечерним поездом выезжайте.

- Но я ничего в Берлине не знаю - ни улиц, ни магазинов.

- Попросите кого-нибудь из товарищей. Вам помогут.

И Иоффе протягивает мне мои бумаги и записку в кассу.

Аудиенция кончена.

Уходя, я слышу возобновившиеся вопли заведующего Хлебоэкспортом и резкий голос Иоффе.

## Степан Никитич Никитин

Касса находится в третьем этаже. Это малюсенькая комнатка, перегороженная прилавком и решеткой. За прилавком, по бокам – два сейфа. У окошечка – пожилой, лысый человек в пенсне. Он принимает меня очень любезно. Иоффе уже, оказывается, позвонила в финансовый отдел, что я иду, и он только ждет ордера. Пока что – мы разговариваем; он спрашивает меня о Москве и, узнав, что я должна немедленно ехать в Кельн, очень об этом жалеет. По неуловимым, понятным только подсоветским людям, признакам – я заключаю, что он беспартийный. Задаю ряд вопросов практического характера: как устроить сына в немецкую школу, где лучше купить пальто и платье. С этого дня начинается наше знакомство, которое, к сожалению, закончилось для него очень трагически. Ибо этот кассир – не кто иной, как Степан Никитич Никитин, описанный в «России в концлагере» как «Степушка» и томящийся, по-видимому, и поныне в одном из концентрационных лагерей СССР. Он пытался бежать из СССР вместе с моими родными через финскую границу, был захвачен ГПУ в вагоне на перегоне Ленинград – Петрозаводск, перепугался до смерти, наговорил на себя всяких несусветимых небылиц и теперь несет наказание за «шпионаж» и «контрреволюцию».

Никитин проработал в торгпредской кассе бессленно в течение десяти лет. Попал за границу совершенно случайно, еще в первые годы германо-советской дружбы. Работал не за страх, а за совесть, иногда по десять-одиннадцать часов в сутки. Постарел на этой службе и был безукоризненно честным служакой. Полуэстонец, полурусский, он был

несказанно огорчен откомандированием в 1930 г. в Москву, но не решился стать невозвращенцем, несмотря на то что похоронил в Берлине на Тегельском кладбище свою жену, а также несмотря на то, что в Эстонии у него осталась целая плеяда братьев - и довольно состоятельных, которые звали его поселиться у них. Я хорошо помню, как я весной 1930 года вернулась в Берлин из отпуска, как обычно, проведенного мною у мужа в Салтыковке. Никитин встретил меня на вокзале и спросил:

- Ну, как, Тамара Владимировна, там, в Москве? Меня откомандировали, скоро надо ехать.

Я сказала, не колебаясь ни одной минуты:

- Ради бога, Степан Никитич, не ездите. Голод, террор, ужас. Будете страшно жалеть. Ведь у вас братья в Эстонии - станьте невозвращенцем и езжайте в Эстонию. У вас есть маленькие сбережения - на вас одного хватит.

Но Степан Никитич был слишком честен, чтобы послушаться начальства. И решил вернуться в СССР, а затем легальным путем уехать снова за границу, и тогда уже навсегда. Приехав в Москву, он поступил бухгалтером в какое-то учреждение и стал ходатайствовать о выезде. Ему три раза подряд отказали. Тосковал он страшно, так как жил совершенным бобылем где-то в одном из пригородов. Кроме того, по природе аккуратный и смирный - он привык за десять лет пребывания в Германии к чистоте, порядку, законности. Его чрезмерная деловая загруженность в кассе держала его как-то вдалеке от торгпредской сутолоки - общественной нагрузки на него не возлагали - так что, по его возвращении в СССР, советская действительность ударила его как обухом по голове. И нужны были действительно невыносимые советские условия, чтобы заставить этого мирного человека решиться бежать через границу. В 1934 г. он

наконец решился бежать. Кончилось это ужасно. Как я теперь узнала от своих родных, на допросе Никитина следователь угрожал ему револьвером, кричал на него и заставил его подписать заведомо ложные показания о том, что он якобы со мной вместе шпионил в торгпредстве против советской власти. Никитин совсем потерял голову и наговорил такого, что получилось действительно нечто вроде детективного романа. Словом, его закатали на восемь лет в концентрационный лагерь.

Мне очень жаль Степана Никитича. Он и его жена приняли меня и Юру как родных, приглашали к себе, помогали искать квартиру и – что самое главное – первые недели и месяцы жизни на чужбине оказали нам сердечное и искреннее гостеприимство. Выдержит ли старичок, с его ослабленным недоеданием организмом и с его боязнью немного нарушить закон, восемь лет каторжной жизни в советском концлагере – бог знает.

## Неожиданность

Пока мы разговаривали со Степаном Никитичем, за его спиной в стене открылось маленькое окошечко и чья-то рука просунула ордер. Он стал отсчитывать мне деньги, как вдруг у него на столе зазвенел телефон.

- Алло, да, Никитин. Что? Да, да, она еще здесь. Сейчас придет.

Никитин положил трубку.

- Товарищ Солоневич, вас Иоффе к себе зовет, и поскорее.

- Да ведь я только что у нее была.

- Это ничего не значит, идите скорее, она вас ждет.

Что случилось? Прощаюсь и бегу к Иоффе.

Застаю ее за телефонным разговором. Не называя фамилии, она кому-то доказывает, что кого-то оставить здесь, в Берлине, нельзя, так как на него имеется требование. Однако интонации ее делаются все мягче, и наконец я слышу:

- Хорошо, я распоряжусь. Она уже здесь.

Нетрудно догадаться, что речь идет обо мне. Положив трубку, Иоффе обращается ко мне тем же, вероятно, оставшимся по инерции, мягким тоном:

- Товарищ Солоневич, импортный директорат требует, чтобы вы остались работать здесь, в Берлине. Вы знаете языки и будете здесь гораздо нужнее. В Кельн же поедет другая, знающая только немецкий. И мы даем вам сто тридцать долларов, как вы просили.

Должно быть, мое лицо имеет довольно глуповатый вид, потому что Иоффе считает долгом меня успокоить:

- Вам здесь лучше будет. А теперь идите устраиваться с комнатой и прочим. И, - при этом она окидывает меня полупрезрительным взглядом, - вам

действительно надо одеться. Послезавтра приходите на работу к десяти часам.

Так волею импортного директората – а как я потом узнала, воля эта управлялась личной склокой между одним из директоров и заведующим кельнским отделом – я осталась в Берлине.

Что сказать о наших первых впечатлениях от Берлина! Огромный, четырехмиллионный город, с прекрасными чистыми улицами, площадями и парками, великолепными витринами и разноцветной, феерической ночной рекламой – был так не похож на грязную, обшарпанную, серую советскую Москву, что в первые дни мы ходили, как обалделые. Было странно, что можно все купить без очереди, а масса красивых предметов, которых Юра еще никогда в жизни не видал и которые я забыла, когда видела, заставляли нас останавливаться и простаивать подолгу перед витринами. Юрочку особенно притягивали выставки велосипедных и оружейных магазинов. Эта любовь сохранилась у него, впрочем, во все время его пребывания в Германии. Для него не было большего удовольствия, как забраться в окрестности Александерплац в огромный универсальный магазин по части велосипедов и всяких запасных частей и инструментов. Там Юра мог проводить целые дни.

Я лично – каюсь – пропадала в универсальных магазинах Тица, Вертгейма и Карштадта. Прежде всего надо было придать себе и Юре мало-мальски европейский вид. Удалось ли мне это вполне – сильно сомневаюсь, так как, пересматривая теперь иногда наши фотографии того времени, я вижу перед собой довольно безвкусно одетую даму и утрированно-спортивного вида мальчугана в огромной для его роста клетчатой кепке. Но тогда мы казались себе верхом элегантности. Да оно было и понятно – после десяти лет

нищеты, рваного белья, перелицованных платьев, пальто из одеял и бумажных чулок (о, шелковые чулки – какой это предмет вожделения всех советских женщин!) – было на что глазам разбежаться.

Собственно говоря, в те первые месяцы жизни «на воле» я не совсем отдавала себе отчет в реальной стоимости германской валюты. Говорю «германской» потому, что, несмотря на то что номинально торгпредские служащие получают зарплату в долларах, фактически она выдается им в валюте той страны, где они работают. На германские деньги я получала 540 марок, что по номиналу равнялось 270 советским рублям, в действительности же я на эти 540 марок могла купить неизмеримо больше. Когда выяснилось, какую массу всего я могу купить на эти деньги в Германия, я помянула недобрым словом Слуцкого, который лгал мне, утверждая, что на 120 долларов в Берлине я буду голодать.

Итак, значит, советская власть платит своим служащим, проживающим за границей, в среднем в 20–25 раз больше, чем проживающим внутри СССР. Чем это объяснить? Единственно – желанием еще и еще раз обмануть иностранцев, которые должны видеть, как хорошо оплачивают большевики своих служащих. Это своего рода реклама, и обходится она русскому народу в очень круглую сумму. Между прочим, этим чрезвычайно привилегированным положением заграничных служащих объясняется также поразивший меня в бытность мою в торгпредстве факт, что почти 70 процентов всех служащих – евреи. Как известно, евреи всегда стараются занять наиболее выгодные места. Их, например, почти нет на должности сельского учителя или почтово-телеграфного чиновника, но зато полпредства и торгпредства ими буквально оккупированы.

Возвращаясь к вопросу о заработной плате. Интересно отметить разницу, существующую между так называемыми «командированными» из Москвы и «местными» служащими. В то время как командированная стенотипистка получает около 500 марок в месяц, такая же, если не более квалифицированная «местная» стенографистка – будь то немка или русская – получает только 300 марок. Конечно, при германских ставках 300 марок – тоже довольно высокая ставка, так как та же немецкая стенотипистка, служа в германской фирме, получает всего 150 марок. Но, повторяю, «местный» персонал торгпредств набирается исключительно из коммунистов, да еще не рядовых, а активных. Поэтому советская власть заинтересована в том, чтобы они были довольны своим положением. Более того, она просто компенсирует их этой службой за их заслуги в деле «борьбы против существующего строя» и платит им сознательно вдвое больше, чем они получали бы у «прогневших капиталистов».

По своей работе мне пришлось много сталкиваться с этими немецкими коммунистами, и я могу сказать, что большинство из них истинного положения дел в СССР не знает. Как и в СССР, они делятся на нечестных карьеристов и наивных простаков. Идеалистов среди них я почти не встречала, причем чем выше стоит на иерархической лестнице тот или иной иностранный коммунист, тем более шансов на то, что он просто-напросто негодяй, продающий свою страну за понюшку табаку. Редко-редко попадаются такие положительные типы, как, например, моя близкая сослуживица по торгпредству Эмми Эгер, но о ней потом. Она, кстати, теперь, вероятно, уже разочаровалась в коммунизме, так как после прихода Гитлера к власти сочла нужным

выехать в Москву. Воображаю, как она теперь там себя чувствует!

Итак, об Эмилии Эгер в другом месте, а теперь вернусь к зарплате. Как я уже сказала, я себе отдавала весьма слабый отчет в стоимости новых для меня германских денег. Все казалось мне страшно дешевым, все хотелось купить, ибо в психике еще сидели воспоминания о СССР, где ничего нельзя было достать, а если в каком-нибудь магазине и появлялся какой-нибудь товар, то низкого качества и в очень ограниченном количестве. Надо было стоять в очередях и хватать что попало. А тут, в Берлине, всего было много, все было сравнительно дешево, качество было превосходное – ну как было не наброситься! И это удел всех советских служащих, попадающих за границу. Они буквально набрасываются на все, покупают массу ненужных вещей, а когда затем их откомандировывают обратно – оказывается, что самого-то нужного они так и не удосужились купить.

## Фрау Бетц

Первым делом нужно было найти комнату, так как в гостинице становилось уж очень дорого, да и неудобно жить. И тут сказалась все та же советская закваска. В Москве, да и во всех крупных городах СССР комнату найти – это все равно, что выиграть миллион в лотерее. А так как два первых дня в Берлине мы провели в районе Фридрихштрассе, то есть берлинского Сити, где одно на другом нагромождены конторы, бюро, банки и торговые учреждения и где вывесок о сдаче комнат почти не видно, я – о, санкта симплиситас! – решила обратиться ни много ни мало, как к секретарше советского консульства, куда Иоффе велела мне поскорее явиться, чтобы там зарегистрироваться.

Консульство помещалось тогда еще в здании полпредства на Унтер-ден-Линден. Ввиду того, что в консульство приходит много незнакомых людей – а большевики смерть как боятся налета со стороны национал-социалистов или фашистов, – теперь консульство выселено из здания полпредства и перенесено в помещение Garantie und Kredit Bank, негласного филиала Госбанка СССР. Я зарегистрировалась и спросила, не может ли товарищ секретарь посоветовать мне, где я могла бы найти комнату.

Товарищ секретарь сделала озабоченное лицо, подумала с минутку и сказала:

– Знаете что? Спросите на Доротеенштрассе, дом номер такой-то, в пансионе фрау Бетц. Кажется, у нее есть комната. Она, кстати, говорит по-русски.

И хотя мне вовсе не улыбалось селиться у человека, говорящего по-русски, так как мне хотелось возможно

скорее усовершенствоваться в немецком языке и научить ему Юру, я все-таки пошла к фрау Бетц.

«Дом номер такой-то» по Доротеенштрассе – это пятиэтажный ящик, и на вершине этого ящика проживает вот уже, кажется, двадцатый год почтенная фрау Бетц. У нее – что-то около десяти комнат, она держит пансион и, как оказалось впоследствии, имеет негласную договоренность с секретарями некоторых, расположенных поблизости, иностранных посольств, в том числе и советского.

Фрау Бетц встретила нас с Юрой приветливо и первым делом спросила:

– Кто вас рекомендовал?

– Секретарша советского посольства.

– Ach, so! Нужно будет не забыть отправить ей коробку конфет. Сколько комнат вам нужно? Одну? У меня сейчас есть только одна свободная, очень большая, вот посмотрите сами.

И, шурша своим необъятными юбками, – так как фрау Бетц, весившая этак пудиков под восемь, носила кринолиновой ширины платья, – она повела нас по коридору в огромную, мрачного вида комнату с окнами, выходящими на улицу.

– И какая ей цена? Я хотела бы также, чтобы вы давали сыну обед; сама я буду обедать на службе.

– Эта комната дорогая, но вам я, так и быть, уступлю ее с утренним завтраком и обедом для diesen jungen Mann за десять марок в день.

После девяти марок «без обеда», которые я платила в отеле, мне это показалось недорогим, и я согласилась.

Через час наш скудный багаж был перенесен на Доротеенштрассе. Комната, повторяю, была очень мрачной, и вечерами в ней горела под самым потолком всего-навсего одна лампочка, так как фрау Бетц была крайне экономной. Громадная двуспальная кровать была покрыта каким-то темно-лиловым покрывалом и

походила на огромный саркофаг. Возвращаясь со службы домой, я заставляла Юрочку одиноким и скучающим. Мне было его жаль, но я все еще не имела никого знакомых, которых решила бы затруднить поисками более подходящей квартиры. Угнетало ощущение совершенной беспомощности и одиночества в этом огромном городе, так что даже начинало хотеться назад, в Салтыковку.

Жильцы у фрау Бетц были самые разнообразные – от готтентотов до англичан включительно, – и относилась она к ним довольно-таки равнодушно. Своим внешним видом она сильно напоминала этакую добродушную кариатиду, и когда по воскресеньям я имела возможность наблюдать ее за приготовлением обеда, мне даже бывало странно, что она могла так быстро и споро работать.

Любимым постоянным ее жильцом был молодой атташе английского посольства. Мне как-то вздумалось поговорить с ним по-английски, но он, узнав, конечно, от фрау Бетц, что я – служащая советского учреждения, воротил от нас с Юрой нос и делал вид, что нас не замечает.

Несколько дней спустя после нашего водворения у фрау Бетц с этим англичанином произошел довольно забавный случай. Как мне сообщила хозяйка за утренним кофе, вечером должен был состояться в залах Цоо традиционный бал-маскарад, входной билет на который стоил 25 марок.

– Мистер Х. тоже идет, – сообщила она мне с гордостью, – и я его наряжу так, что все будут смеяться до слез.

И, убедившись, что мы с ней остались одни в столовой, служившей ей одновременно и спальней, так как за ширмой стояла ее кровать, – она вынесла мне ночную рубашку и чепчик. Рубашка принадлежала, видимо, когда-то еще ее бабушке, так как воланчиками

и бантиками напоминала времена Диккенса, а чепчик был поистине очарователен.

- Он будет бабушкой и на нос наденет большие очки.

Я представила себе сухопарого и жилистого атташе в этом романтическом наряде и рассмеялась.

Наступил вечер, а за ним и ночь. Мы легли спать, я почитала немного и заснула. Вдруг меня разбудили какие-то пронзительные крики в соседней комнате (в ней помещался наш атташе). Я вскочила с кровати, думая, что случилось что-нибудь ужасное. Оказалось, что после маскарада англичанин, будучи вдребезги пьяным, отправился из Цоо домой без пальто, в котором забыл ключ от нижней входной двери. Теперь он сидел на тротуаре в ночной бабушкиной рубашке и кисейном чепчике и орал непристойные английские песни. А фрау Бетц, которая не могла от волнения и ожидания уснуть, прикорнула у него в комнате и была разбужена именно этим пением. Теперь она выражала ему свое сочувствие и, замотав ключ в платок, пыталась привлечь на себя внимание англичанина, чтобы затем бросить ему ключ. Я вызвалась ей помочь, оделась, спустилась вниз, разбудила портье, и он с трудом приволок атташе домой.

Наутро, однако, все было по-прежнему. Англичанин выглядел чопорно и избегал моего взгляда, а фрау Бетц неодобрительно на него поглядывала. Не такого триумфального возвращения она ждала.

## Текстильимпорт и Швейцер

Итак, я стала стенотиписткой Текстильимпорта. Маленьким, незаметным винтиком в огромной машине советской внешней торговли. Меня никто не знал, и я никого не знала: приходила утром в здание торгпредства, поднималась во второй этаж и до вечера работала в небольшой полутемной комнате – машинном бюро Текстильимпорта. Здесь, кроме меня, сидело еще шесть таких же, как я, стенографисток и машинисток, причем половина из них были немки-коммунистки, ни слова не понимавшие по-русски, а другая половина – такие же командированные из Москвы, как и я, беспартийные. Нас то и дело звали к себе инженеры, диктовали нам письма, давали переписывать фактуры, счета и заказы, и мы все, как механические куклы, трещали с утра до вечера на пишущих машинках.

Моим первым учителем на стезе торгпредской работы был один из заведующих подотделами – Розенблюм. Полный и жовиальный еврей, он выехал из России уже давно, еще до войны, был специалистом по текстильным машинам, прекрасно владел немецким языком и чрезвычайно быстро мне диктовал. Нужно откровенно сказать, что стенографию я изучила без преподавателя, по самоучителю, и знала ее не особенно хорошо. Я могла писать под медленную диктовку, и Розенблюм на меня сильно сердился, когда я то и дело переспрашивала. Между тем, как и в каждом деле, в текстильном отделе были свои специальные термины, вроде «банкаброша», которые в мои стенографические познания не входили. И я должна признаться, что к стенографии у меня блестящих способностей не наблюдалось. Словом, меня кидало в жар и в холод, когда, уже в машинном бюро, сидя за машинкой, я

чувствовала, что не могу разобрать своей собственной записи. Вывозила разве только некоторая природная находчивость, да и то не всегда. Полагаю, что Розенблюму я казалась очень бестолковой особой.

На второй же день моего пребывания в Торгпредстве со мной произошел казус, который – повернись обстоятельства иначе – мог окончиться моим откомандированием в Москву. Произошло следующее:

День прошел, как всегда, в спешной и скучной работе, с «банкаброшами» и «контингентами». Моя соседка, белокурая, миловидная немочка, то и дело посматривала на часы – у нее сегодня была большая демонстрация – и, наконец, спешно стала складывать бумаги и покрыла машинку чехлом.

– Schluss damit! – возвестила она.

В этот момент затрещал телефон, стоявший неподалеку от меня, на столе. Я взяла трубку.

– Текстильимпорт? – послышался сухой и резкий голос, в котором я сейчас же узнала голос Иоффе.

– Да, Текстильимпорт.

– Солоневич там? Позовите ее к телефону.

– Я слушаю.

– Ах, это вы и есть Солоневич! Слушайте, зайдите сейчас же сюда, вы мне очень нужны.

Зачем бы я могла ей понадобиться? Сложила наскоро бумаги и пошла в отдел кадров.

Иоффе и Сергеев сидели за своими столами и писали. Но теперь Иоффе сейчас же обратила на меня внимание:

– Вот что, товарищ, вам придется сегодня поработать сверхурочно. Дело в том, что из Москвы приехал начальник импортного директората, товарищ Швейцер. Сегодня вечером будет большое заседание, и надо будет застенографировать речь Швейцера и прения. Ведь в вашей характеристике стоит, что вы

хорошо знаете стенографию, а к тому же вы новенькая, и надо вас испробовать. Поэтому берите блокнот и карандаши и отправляйтесь в кабинет директората, комната 178.

- А это долго затянется, товарищ Иоффе? У меня ведь ребенок дома, я бы хотела распорядиться с ужином и вообще сообщить, что я остаюсь работать, иначе он будет волноваться.

- Пустяки, позвоните по телефону. Какой номер?

- Я не знаю.

- Эх вы, деревня! Нате телефонную книгу и найдите. Имейте в виду, - тут голос Иоффе стал мягче, - что вы сделаете мне личное одолжение, если останетесь сегодня. Вы знаете - русских стенографисток у нас в торгпредстве мало, все больше присылают только машинисток. А стенотипистка торгпреда больна.

Мне ничего не оставалось, как позвонить фрау Бетц и просить ее сообщить перепуганному Юрчику, что «мама вернется сегодня поздно, так как у нее спешная работа».

Мальчик мой был очень огорчен, и я слышала в трубку, как он жалобно спрашивал у фрау Бетц:

- А когда она вернется? Когда?

Он в это первое время в Берлине чувствовал себя одиноким и брошенным и с нетерпением ждал того момента, когда я возвращалась домой. Детство его, вследствие революционного лихолетья, вообще сложилось не особенно радостно, так как и папа, и мама были постоянно на работе, и он большею частью был предоставлен самому себе. Тем тяжелее было для него уже совсем полное одиночество на чужбине. Я это понимала и чувствовала и все свободное время с ним не расставалась. Его желание быть со мной не прошло и с годами. Трогательно было видеть, как он в последний год пребывания нашего в Берлине, уже будучи пятнадцатилетним юношей, всегда настаивал, чтобы я

принимала участие в велосипедных экскурсиях с его товарищами. И мы катили, бывало, на велосипедах по прекрасным асфальтовым дорогам в окрестностях Берлина целой компанией – человек шесть немецких гимназистов и я. И странно – никто никого не стеснял.

Позвонив фрау Бетц и выйдя в коридор, я почувствовала себя как перед экзаменом. Я отлично знала, что речи Швейцера я, конечно, записать не смогу, то есть вернее – записать-то еще кое-как запишу, но потом разобрать не сумею. А вдруг, как это бывает иногда на заседаниях, он остановится, когда войдет кто-либо из важных запоздавших завов, и скажет:

– А вот стенографистка нам сейчас прочтет начало речи. Товарищ, прочтите!

Ведь тогда я сяду в лужу. Мало того, это будет настоящим скандалом, и меня, конечно же, отправят обратно в Москву. Ибо если меня сюда командировали, то именно потому, что во мне было не совсем обыкновенное для Советской России сочетание знания стенографии и нескольких языков. И какое кому дело, что я только конторская стенографистка, а не парламентская. Коммунисты в этом не разбираются.

Словом, я брела по коридору, как на заклятие. И злилась на самое себя: почему я такая к стенографии неспособная. Ведь вот все эти немочки – полуинтеллигентные и подчас совсем необразованные – стенографируют же, как боги, быстро и четко; читают потом свою стенограмму, как по писаному, а я все спотыкаюсь.

У дверей директората меня встретила секретаршалагышка.

– Меня послала товарищ Иоффе стенографировать заседание.

– Это со Швейцером? Он ушел обедать, придется подождать. Заседание назначено на шесть часов.

- Скажите, товарищ, а что Швейцер, очень быстро говорит?

- Как пулемет. Его в Москве стенографистки с трудом записывают.

Последний луч надежды погас.

- Товарищ, вы здесь посидите, а то мне надо на демонстрацию.

Опять эта демонстрация! Очевидно, сегодня какой-то торжественный день у берлинских коммунистов.

- А где это будет?

- На Бюлловплац, у дома Карла Либкнехта.

И секретарша ушла, оставив меня одну.

Через некоторое время стали собираться какие-то люди, которых я, конечно, тогда совсем еще не знала. Они приходили по два, по три, оглядывались, болтали друг с другом, курили, выходили в коридор. У меня сердце билось все напряженнее и напряженнее. Вот сейчас решится - в который, правда, раз! - моя судьба. Только что удалось попасть за границу, а тут на тебе, такая неудача. Ведь сорвусь, как пить дать.

Через полчаса в комнату вбежал один из служащих и крикнул:

- Товарищ Швейцер идет. Сейчас начнется заседание! И в тот же момент в дверях показался полный, невысокий еврей, с наглым, самодовольным лицом и небрежными манерами. Он громко разговаривал со своими спутниками и, увидев меня - единственную женщину, спросил:

- Вы - стенографистка? Имейте в виду, что я требую, чтобы стенограммы моих докладов сейчас же расшифровывались и давались мне для исправления, так как потом ошибок не оберешься. А где секретарь?

Молнией блеснула в мозгу мысль...

- Товарищ Швейцер, она ушла на коммунистическую демонстрацию, сегодня весь Берлин туда спешит.

Швейцер посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло выражение злорадного удовольствия.

- Что вы говорите, демонстрация? И где?

- На Бюллов-плац, у дома Карла Либкнехта, - повторила я буквально только что услышанное от секретарши.

- Вот досада! А у нас как раз заседание!

Я осмелела.

- А не отложить ли его, товарищ Швейцер?

Швейцер нерешительно огляделся кругом. Но какому советскому служащему хочется сидеть на скучнейшем советском заседании, где переливается из пустого в порожнее и где мухи дохнут от тоски? Поэтому лица кругом выражали полную готовность перенести заседание на другой день.

- Это - идея! Давайте, товарищи, отложим заседание на завтра, впрочем, завтра мне надо ехать на три дня в Гамбург. Ну, когда вернусь, тогда и сделаю доклад. А теперь едем на Бюллов-плац. Надо посмотреть на наш германский пролетариат.

Все пришло в радостное движение, и через минуту я осталась одна. На сердце у меня отлегло. Слава богу, пронесло. Ну а через три дня я постараюсь как-нибудь отвертеться.

Так иногда судьба сжаливается над человеком.

## **Инженер Тарачешников**

В Текстильимпорте мне приходилось время от времени стенографировать у инженера Тарачешникова. Это был беспартийный спец. Он хорошо знал свое дело, и у нас с ним быстро установились хорошие отношения. После нелепых распоряжений из Москвы или, как принято говорить в СССР, «из центра», он изливал мне свою душу:

- Ведь форменный кабак, Тамара Владимировна. Вы понимаете, все делается не так, как надо. Посылают приемщиками людей совершенно несведущих, лишь бы был партийный билет в кармане. По-немецки ни бум-бум. Приезжает такой приемщик куда-нибудь в Саксонию или Эссен и только дискредитирует нас на немецких заводах. Сколько раз мне немецкие директора жаловались. Говорят - посылайте вы хоть немного понимающих людей. Я писал в центр, но ничего не предпринимают.

К Тарачешникову то и дело приходили немецкие инженеры и директора заводов, и он вел с ними переговоры. Нужно сказать, что я все-таки поражалась его смелости. Он иногда так резко отзывался о советской власти и о сопряженной с ней бестолковщине, что это становилось опасным.

Однако пока ему все сходило с рук.

Года через два, когда я уже работала в информационном бюро (или, вернее - в бюро справок, которое большевики хотели непременно называть бюро информации, так как это более импозантно звучало), ко мне в комнату вошел Тарачешников. Ему надо было получить справку о том, какие именно вещи домашнего

употребления и в каком количестве можно было брать с собой уезжающему в СССР.

- Вас разве откомандировывают?

- Нет, я сам хочу уехать. Надоело мне здесь, в Берлине. А из Наркомвнешторга пишут, что меня хотят командировать в Америку. Там сейчас мы много текстильных машин закупаем. Я и решил ехать. Сейчас отправляю свою жену, а через две недели и сам поеду.

Я дала ему необходимую справку, и больше мне не пришлось его видеть. Но через месяц из Москвы дошли слухи, что жена Тарачешникова была на границе совершенно свободно пропущена, а когда сам Тарачешников приехал на Негорелое, его тут же арестовали и якобы держат в ГПУ, на Лубянке.

Через полгода этот же слух подтвердился, причем выяснилось, что Тарачешникова обвинили во взяточничестве и сослали на пять лет на Соловки. Вызов в Москву под предлогом отправки его в Америку был только трюком. Большевики боялись, что он не поедет, если его откомандируют, и поэтому употребили хитрость. Впрочем, такую же хитрость советчики практиковали и практикуют в весьма широких размерах, изменяя только форму, в зависимости от сообразительности и доверчивости намеченной ими жертвы. Тарачешников был действительно крупным специалистом в своей области и приносил советской власти только пользу, но его смелые суждения были, очевидно, большевикам очень не по вкусу. А что от его ареста пострадало дело, то это никого не интересовало.

## Горькая доля стенотипистки

Недели через две меня вдруг, совершенно неожиданно, перебросили в Электроимпорт, в отдел силовых установок. Опять пришлось привыкать к новым специальным терминам. Как и в Текстильимпорте, меня поразило здесь подавляющее количество служащих евреев. Как заведующий нашим отделом, так и инженеры, а с ними и секретарша принадлежали почти сплошь к избранному племени. Вообще, должна сказать, что, как это ни трагично, внешняя торговля Советского Союза руководится и представляется за границей почти исключительно евреями. Я констатирую факт вовсе не с антисемитской точки зрения. Но я думаю, что каждому русскому становится обидно, если он на самых представительских местах видит не своих русских – русых, белокурых или каштанововолосых, но славянского типа, благообразных людей, – а курчавых брюнетов с ярко выраженным семитическим профилем и ушами. И каждому приходит в голову один и тот же чрезвычайно простой и ясный вопрос: неужели из ста миллионов великороссов и белорусов советская власть не находит достаточно представительных и знающих языки людей, которые с гордостью и достоинством могли бы за границей вести переговоры с иностранцами и совершать с ними сделки от лица России, хотя бы и советской? А между тем это так. Я утверждаю и знаю, что меня поддержат все русские, служившие и служащие в советских учреждениях за границей, что минимум 80 процентов работников торгпредств являются евреями.

Я пыталась много раз найти объяснение этому факту и думаю, что это является следствием извечного стремления евреев к наиболее выгодным должностям и

спайки, которая в суматошливости и хаосе советского бедлама сказывается особенно сильно и помогает Якову Израилевичу вытаскивать своего двоюродного племянника Арона Евсеевича, а Розочке протезировать Ривочке.

Недавно мы получили письмо из Трансваля, в котором один из читателей жаловался на то, что тамошние англичане считают русских евреями и спрашивают, почему мы, русские, едим свинину. Как известно, в германских университетах до войны училось большое число подданных Российской империи. Подавляющее большинство их были евреи. Ввиду того, что они называли себя русскими, немцы сперва их таковыми и считали. Однако, скоро они поняли, в чем дело, и даже был пущен в обращение термин *Sogeanante Russen*. История повторяется до поразительности. И если парижские хозяйки конца прошлого и начала нынешнего столетия считали, что тип русского – это курчавые черные волосы и нос с горбинкой, а характер – самоуверенный и нахальный, то коммерсанты всех стран, посещающие ныне советские торгпредства, разводят руками и спрашивают недоумевающе:

– Скажите, почему это у русских так много общего с евреями? Такой же нос, такая же лапчатая поступь, такой же самодовольный вид.

И они, повторяю, правы. В бытность мою в бюро информации я имела ежедневно перед собой, на моем письменном столе, под стеклянной пластинкой, печатный список всех отделов торгпредства с фамилиями и телефонами заведующих отделами и инженеров. И изо дня в день мое русское самолюбие оскорблялось этими бесконечными Рубинчиками, Цукерманами, Гольдштейнами и Гурвичами, которыми пестрел список. Мне очень жаль, что я тогда не сняла для себя и для настоящих очерков копии. Это служило

бы наилучшим доказательством моего беспристрастного свидетельства.

В работе торгпредств евреи почти всегда выдвигаются на первые места. Но это отчасти можно объяснить тем, что они все же понятливее и сметливее тех русских выдвигенцев, которых советская власть изредка насылает на торгпредство, как тучу саранчи, и которые, по моему глубокому убеждению, присылаются за границу только для того, чтобы лишний раз кому-то доказать:

- Вот вам ваши русские! Видите - какие дуботолки!

Русские же культурные силы соввласть за границу почти не посылает.

Образчиком такого типа выдвигенца, командированного за границу, является товарищ Морозов, который устроил мне скандал и чуть не донес на меня как на саботажницу, просто-напросто в силу своей безграмотности.

Это был приемщик-коммунист, малограмотный выдвигенец, которого торгпредство командировало на завод по приемке текстильных машин. В один из своих приездов в Берлин он зашел к нам в машинное бюро и решил продиктовать мне целый ряд приемочных актов. Сам он сидел рядом со мной и ревниво следил за тем, что именно я пишу. Внезапно он вспыхнул:

- Как это вы, товарищ Солоневич, пишете! Ин-струмент. Я же вам диктую: стру-мент.

- Товарищ Морозов, такого слова - «струмент» в русском языке нет, есть слово «инструмент».

- А я вам говорю, что есть. Пишите «струмент».

- Нет, я не могу так написать, ведь потом меня, а не вас, обвинят в безграмотности. Раз такого слова нет, как же я буду его писать?

Морозов разъярился, вскочил и вырвал из машинки уже почти до конца дописанный лист, на который было потрачено почти полдня кропотливой работы, так как

там были цифры и графы, и так как он уже до того заставил меня три раза одно и то же переписать.

- Струмент - это вот, например, отвертка, долото, плоскогубцы. А инструмент - это на чем играют, вот, скажем, скрипка или гармонь, - поучал он меня. - А еще образованная, языки всякие там знаете. Эх, вы, учить вас приходится.

А когда, в свою очередь рассердившись, я наговорила ему нехороших вещей, он плюнул, хлопнул дверью и побежал жаловаться в отдел кадров. Хорошо еще, что Иоффе знала разницу между «струментом» и «инструментом», а то мне пришлось бы плохо. Иди потом «доказывай, что ты не верблюд», как говорят в Москве.

Но, вернувшись к моей первоначальной мысли, хочу сказать, что в Советской России имеется еще достаточное количество русских - образованных, представительных и знающих языки и что нам вовсе не надо выбирать только между недоумками и евреями. Пусть меня не заподозрят в презрении к пролетариату, но, право же, я считаю, что коммунист, перед которым в СССР открыты более или менее все пути и который находится все двадцать лет в привилегированном положении, является чистой воды недоумком, если не выучился за это время хотя бы правильно читать и писать на своем родном языке. Как бы то ни было, еврейское засилье было налицо, и мы, немногие русские, чувствовали себя в каком-то вражеском окружении, так как почти каждый еврей - хотя бы советская власть и лишила его торговли или его места на бирже - все же в душе является марксистом. У евреев нет родины, и они ненавидели наш царский режим, как ненавидят теперь Гитлера и национал-социализм. Они ненавидят всякие разговоры о родине вообще.

Чтобы не ходить далеко за примером, укажу на в высшей степени показательный факт. Книга моего мужа, И.Л. Солоневича, «Россия в концлагере» не является антисемитской, но ярко антибольшевицкой, а главное, книгой националистической. Сотни друзей пишут нам из Америки, что хорошо было бы ее издать на английском языке, что спрос на такие книги сейчас в Соединенных Штатах большой и что на книгу Т.В. Чернавиной, например, даже в сельских библиотеках Дальнего Запада образуется очередь.

И что же мы видим. Друзья наши хлопочут об издании этой книги. Ездят из издательства в издательство. Всюду кислый ответ. Ибо в американских издательствах на 90 процентов сидят все те же евреи. И даже в концерне газетного короля Херста, на которого, в частности, мы - русское зарубежье - смотрим с некоторым уважением и надеждой за его антибольшевицкое направление, держат у себя лектором по русским изданиям - Дона Исаака Левина. Когда еще два года тому назад Левину была передана указанная выше книга с просьбой протолкнуть ее на американский рынок, он отказался под предлогом того, что американский рынок насыщен такого рода литературой. Теперь этот Дон-Левин, еврей из Одессы, тоже никакого содействия этой книге не оказывает, но она все же выйдет в другом издательстве. А в американских газетных кругах считается антибольшевиком. Весь секрет в том, что в душе он все же остался марксистом и противником всего национального у других народов. Это у евреев, по-видимому, неизлечимая болезнь.

Как бы то ни было, история с «инструментом» и «струментом» переполнила чашу моего терпения, и я решила всеми силами постараться выбраться на свет Божий из унижительного стенотипистского подполья.

Ибо роль стенографистки, а тем более просто машинистки очень тягостна. Ее рассматривают обычно как некую механическую силу, относятся к ней пренебрежительно и, если она иногда решается высказать свое мнение или робко позволит себе самую легкую критику того, что ей приходится иногда писать, - на нее бросают уничтожающий взгляд.

- Подумаешь! Какая-то машинистка!

## Бюро прессы и информации

Я начала присматриваться к другим отделам и спрашивать своих коллег о составе оргпредства. Потом вспомнила, что из Москвы меня одна моя знакомая просила при случае передать привет и всяческие благопожелания ее старому другу Константину Владиславовичу Бродзскому. Его фамилия именно так и писалась – через букву «з» – в отличие от просто Бродского. Он был чистокровным поляком и очень обижался, когда его принимали за еврея.

Оказалось, что товарищ Бродзский – старый польский коммунист – заведует бюро прессы и информации берлинского оргпредства. И вот, в одно прекрасное утро я выбрала наконец свободную минутку, улизнула от зоркого ока моей секретарши и постучала в дверь этого бюро.

В первой, небольшой и довольно опрятной комнатке стены были заставлены полками с книгами и папками, а посередине, за большим столом сидела пожилая женщина с короной из двух толстых белокурых кос. Это была Олигер, прибалтийская немка-коммунистка, ведавшая столом информации или, вернее, справочным столом оргпредства.

- Вам кого, товарищ? – спросила она меня.
- Могу ли я видеть товарища Бродзского?
- А зачем он вам?
- По личному делу, я недавно приехала из Москвы.
- Ах, так! Постучите вон в ту дверь.

Я снова постучала и, услышав стереотипное «Herein», вошла в следующую комнату. Никогда не забуду первого, приятного впечатления, которое она на меня произвела.

В то время как остальные отделы торгпредства имели неприветливый, казенный и сугубо большевицкий вид, здесь пахло чем-то частным, индивидуальным и, если можно так выразиться, даже эстетическим. На столах и на окнах стояли горшки и вазы с цветами, по стенам высились дубовые шкафы с множеством книг, на полу лежал толстый ковер. Уже много лет мне не приходилось бывать в таком уютном и комфортабельно обставленном кабинете. Чем-то совершенно не советским пахнуло на меня, и я с тоской вспомнила о своем холодном и мрачном логовище в Электроимпорте и подумала: «Вот бы здесь мне поработать!»

Но в тот же момент опечалилась, так как поняла, что это только мечта.

Из-за стола навстречу мне поднялся симпатичный человек лет сорока семи, в пенсне.

- Sie wünschen?

Я ответила по-русски, что недавно приехала из Москвы и что только хотела передать ему привет от знакомой его и его жены. Бродзский оживился, пригласил меня сесть, стал расспрашивать о знакомой и о Москве.

- Как у вас тут уютно! - не удержалась я.

- Вам нравится? Да, я здесь уже шесть лет и обставил себя с максимальными доступными удобствами. Кроме того, у меня здесь бывают корреспонденты иностранных газет и представители правительства. Мне надо иметь более или менее приличный кабинет.

- Да, в такой обстановке можно работать. А вот у нас, в Электроимпорте, - семь машинисток в одной комнате, треск стоит оглушающий.

И вдруг точно добрая фея шепнула мне что-то на ухо.

- Как бы мне хотелось, товарищ Бродзский, здесь у вас работать!

Бродзский посмотрел на меня в задумчивости.

- А вы хорошо владеете немецким?

- Средне. Институтское образование.

- Ну, это маловато. Видите ли, в чем дело: товарищ Олигер, которая сидит там, в первой комнате - вы ее видели? - моя прекрасная помощница и очень образованная женщина. Но так как она пробыла за границей уже семь лет, ее теперь откомандировывают в Москву. Это будет, правда, не сейчас, но ей уже объявили, что она должна готовиться. И вот, на ее место мне нужна будет помощница.

У меня захватило дыхание.

- Товарищ Бродзский, не можете ли вы меня взять на ее место? Я знаю четыре языка и была все эти годы не только переводчицей, но и референтом. Пишу на всех этих языках на пишущей машинке, знаю кое-как стенографию. Разбираюсь в экономических статьях иностранной печати.

Неприятно говорить о себе самой, но советский опыт научил меня, что надо не робеть. Хотя все то, что я перечислила Бродзскому, и было правдой, - тем не менее мне было смертельно неловко. Что это я сама так себя расписываю!

Между тем Бродзский смотрел на меня и думал. По своей наружности он производил впечатление барина, утонченного и выхоленного. Его умные и немного насмешливые глаза поблескивали из-под пенсне.

- А вы партийная?

Я осеклась.

- Нет.

- Вот видите, а Олигер - партийная, и, конечно, на ее место назначат мне сюда коммунистку. Впрочем, партийных со знанием языков очень мало. Кроме того, хорошо, что вы сами пишете на машинке. Это разгрузит

немного мою машинистку – Олигер диктует ей массу писем. Словом, я вам ничего не обещаю, но постараюсь сделать для вас все, что смогу.

– Когда разрешите мне зайти?

– Наведайтесь этак через недельку. Только имейте в виду, что работа эта очень ответственная и трудная. Весь таможенный устав СССР нужно знать почти наизусть. Пошлины, транзитные правила и прочее. Надо отвечать на массу телефонных запросов.

Я не помню, как я вышла. В душе у меня плясала радость, и я была полна надежд. О тягости работы я даже забыла думать.

В Электроимпорте секретарша на меня накинулась:

– Где вы пропадали? Вас инженер три раза звал, идите скорее стенографировать.

## **Юра поступает в школу**

Тем временем моя личная жизнь шла своим чередом. Остаться у фрау Бетц оказалось не по карману, и мы перебрались, при помощи какого-то комиссионера по приисканию комнат, к другой фрау – фрау Буссе, на Потсдамерштрассе, в самый центр Берлина. Много позже, когда я близко познакомилась с этим прекрасным городом и, в особенности, с его замечательными пригородами и окрестностями – я сама не понимала, как я могла выбрать для местожительства Потсдамерштрассе. На этой улице помещаются главным образом торговые предприятия, магазины и кафе; здесь проходит около двадцати трамвайных линий во все концы города; здесь день и ночь стоит шум и гул от проносящихся бесконечной вереницей автомобилей, а ночью не дает спать назойливый свет то зажигающихся, то потухающих световых реклам. Должна, однако, признаться, что в то время мы с Юрочкой стремились именно к этим «огням большого города», потому что в Советской России были слишком долго погружены во тьму.

В те годы советская власть еще не обратила своего благосклонного внимания на очень важный, казалось бы, вопрос: где поселится тот или иной торгпредский служащий.

Каждый мелкий служащий был предоставлен самому себе. В то время как крупные коммунисты, включая и торгпреда, обязаны были жить в строго охраняемом доме № 11 на Литценбургенштрассе – где ныне помещается торгпредство, – остальные селились где попало, переплачивали при этом много, но зато были сравнительно свободными в своей личной жизни. Позже, в 1930 году, из Москвы пришел секретный

приказ, запрещающий селиться в Вестене (самый фешенебельный район Берлина) и предлагающий служащим жить в «рабочих кварталах» Нордена и Остена. На первых порах приказ этот был принят всерьез, но, как почти все советские мероприятия, через несколько месяцев был забыт, так что и поныне подавляющая масса торгпредских служащих проживает именно в Вестене.

Не то теперь, после прихода к власти Гитлера. Советская власть правильно считает, что гитлеризм крайне заразителен, и поэтому, когда приезжает новый служащий или служащая – торгпредство само руководит выбором жилплощади и селит их преимущественно в... еврейских семьях. В 1936 году я случайно встретила в Берлине одну мою старую знакомую машинистку, которая попала на торгпредскую работу. Она снимала комнату в зажиточной еврейской семье, близ той же Литценбургерштрассе. В этой семье ее изо дня в день пичкали рассказами о «зверствах наци». Когда в ее дворе какая-то женщина из-за сердечной драмы выбросилась из окна, хозяйка объяснила моей знакомой, что эта женщина покончила самоубийством из-за Гитлера. Долго говорить моя знакомая со мной боялась, но я все же посоветовала ей переехать в настоящую немецкую семью.

– Ах, знаете, Тамара, – сказала она мне печально, – я и сама хотела бы, но в отделе кадров надо непременно заранее заявлять – куда ты собираешься переехать. И туда сперва направляют свое доверенное лицо, чтобы выяснить – не к гитлеровцам ли попадет служащий. Бывают, конечно, случаи, что промахиваются, но наши служащие уже сами так напуганы, что стараются селиться только там, где укажет отдел кадров. А у него имеется ряд адресов, хотя и буржуазных, но большей частью еврейских квартир. Ибо каждый еврей – антигитлерист, и им только этого и надо.

Однако, проживая на территории страны, нельзя совершенно изолироваться от данного режима, и русские, побывавшие в теперешней Германии и видевшие, что сообщения советских газет о голоде, депрессии, притеснениях и прочем – никакой критики не выдерживают, возвращаются на родину неминуемо распропагандированными. Так, мало-помалу антисоветская информация о загранице просачивается и поддерживает тех, кто уже начал падать духом в постоянной внутренней борьбе против большевиков.

Фрау Буссе сдала нам маленькую комнатку с утренним кофе и брала за это девяносто марок в месяц. Это было тоже дорого, но все же дешевле, чем у фрау Бетц. Кроме того, здесь имелось то преимущество, что Юре нашелся компаньон в лице сына хозяйки, Хейнса. Когда я уходила на работу – сын мой имел все-таки с кем провести время.

Меня очень заботил вопрос о Юрином образовании, и я спросила фрау Буссе, где учится ее сын. Она всплеснула руками:

– Да вот тут же, за углом, Кернер-Оберреальшуле, очень хорошая школа.

– А примут ли туда русского?

– Ну, конечно, примут, у них там много иностранцев учится.

В эту ночь я спала очень тревожно.

Вспомнилась невероятная волокита, которая предшествует в СССР всякому поступлению в школу. Свидетельство о социальном положении родителей из домкома, удостоверение с места службы о размере ставки отца, а если мать работает – то и матери, метрика, свидетельство об оспопрививании и т. д. и т. д. А кроме того, не подвергнут ли Юрочку экзамену? Ведь он еще неважно владеет немецким языком. Та старенькая немка, которая за скудный

советский обед давала ему в Одессе уроки немецкого языка, к сожалению, большей частью за уроками засыпала, так что результаты были не ахти какими. Правда, он теперь много разговаривал с Хейнсом, но у того язык, как и у всякого берлинца, оставлял по литературности оборотов и выражений желать лучшего. Первые чисто немецкие выражения, воспринятые Юрой от Хейнса, были столь же замечательны по своей сочности, как и по своей непригодности в приличном обществе.

На следующее утро я встала пораньше и до службы отправилась в Кернер-Оберреальшуле. Меня принял сам директор, симпатичный белый как лунь старичок, и ровно через десять минут Юра был учеником этой школы. Он оказался настолько способным, что два раза перепрыгнул из класса в класс, а его превосходный по методу преподавания учитель, доктор Хайзе, через три года говорил во всеуслышание:

- Не стыдно ли вам, ребята, вот Солоневич - не немец, а лучше вас знает немецкую грамматику.

С трепетом проводила я в первый раз Юру в немецкую школу. Большевики всячески стараются внушить, что капиталистические страны ненавидят русский народ, что на советских граждан косо смотрят и всячески их преследуют, так что мы с Юрой вполне могли ожидать, что в немецкой школе он будет нежеланным гостем. Однако случилось совсем иначе. В первые недели учителя относились к нему особенно деликатно: чтобы не ставить его в смешное положение перед классом, его не спрашивали - он только сидел и слушал. Позже ему порекомендовали самого лучшего репетитора, который в небольшой сравнительно период подогнал его за целый класс. Никогда никто не позволил себе как-нибудь обидеть Юру, назвав его русским в оскорбительном смысле. Вообще Юра был совершенно равноправным учеником.

## Советская школа в Берлине

Нам с Юрой в отношении школы повезло. Уже в конце 1929 года из центра пришло распоряжение, чтобы дети советских служащих за границей обучались исключительно в новообразующейся советской школе, да и то только до четырнадцатилетнего возраста. Перешедшие этот возраст должны были отправляться родителями в СССР, чтобы там заканчивать свое образование.

Это было и неприятным, и неумным изобретением, ибо служащие, выехавшие за границу с детьми, только о том и мечтали, а часто только потому и стремились за границу, чтобы дать им европейское образование. Да и для самой советской власти, если бы она ставила благо страны и народа выше собственного стремления во что бы то ни стало удержать власть в своих руках, было бы несомненно выгоднее иметь юных граждан, владеющих иностранными языками и получивших европейские навыки. Но большевики к культуре относятся в высшей степени подозрительно. Перефразируя известное выражение, это отношение можно определить так: «Что нам культура и что мы культуре?» Культура и цивилизация – вещи обоюдоострые: они вызывают дух сравнения, а сравнение не может быть в пользу советской действительности. А кроме того, вернувшись из немецкой или английской школы домой, в советскую школу, ученик, конечно, начнет делиться своими впечатлениями с товарищами. Нет, нет, это не годится.

Сказано – сделано. В самом стремительном порядке открылась в Берлине советская школа, а вскоре для нее даже был куплен участок земли в Ней-Темпельхофе и так же молниеносно было выстроено специальное здание «Russische Schule». Одна пакость влечет за

собой другую. Говорю - пакость потому, что мы, торгпредские служащие, именно так восприняли это советское новшество. Как и почти все советские мероприятия, оно встретило с нашей стороны дружный отпор, то есть на общем собрании некоторые решились даже выступить против него публично, но когда настал момент голосования и председатель месткома угрожающе произнес: «Кто против - поднимите руку!» - приказ был принят единогласно. В СССР все делается, как в огромной казарме: на-а-ле-во, кругом, марш!

Пусть господин Наживин, льющий на нас потоки грязи за то, что мы служили большевикам, попробует сам переселиться в СССР и хоть один раз пойти против течения. Это ему будет не Бельгия - придется, пожалуй, познакомиться и с местами не столь отдаленными, где-нибудь на берегу Охотского моря.

Были выписаны учителя из Москвы, полуграмотные, некультурные, неряшливые, боящиеся слово сказать нагрубившему или хулиганствующему ученику. Особый торгпредский автобус разъезжал по утрам по квартирам коммунистов и доставлял их детей в школу.

Впрочем, самых высоких советских сановников эта мера не коснулась, как не касается и теперь. Так, например, дочь последнего торгпреда в Берлине, Кандалаки, не посещала вообще никакой школы, брала уроки дома у лучших учителей, на прогулку выезжала только в автомобиле и вообще росла таким тепличным растеньицем. Ничего не поделаешь - бесклассовое общество.

Как бы то ни было, под конец моего пребывания в Берлине начальство стало на меня косо поглядывать и настаивать, чтобы я перевела Юру из Кернер-Оберреальшуле в советскую школу. Я крутилась, как черт перед заутреней. То говорила, что ему до диплома осталось только три месяца, то утверждала, что он болен и в школу вообще не ходит, то обещала, что

обязательно со следующего месяца переведу. Конечно, а la longue эта система не выдержала бы, но тут меня как раз откомандировали в Москву, и Юре удалось получить диплом. А это и было моей главной целью. Кроме более или менее законченного образования, у Юры осталось на всю жизнь знание немецкого языка, он узнал немецкую молодежь, путешествовал с ней в Гарц, в Исполиновы горы и в Саксонскую Швейцарию и научился ценить здоровый германский дух. Помимо того, немецкая школа, может быть, незаметно для него самого, внесла в жизнь Юры какую-то дисциплину, от которой советская школа всячески отучивает.

В дореволюционное время считалось сравнительной роскошью дать сыну образование за границей. Большевики все твердят о том, что советская власть раскрепостила низшие классы населения. Однако, когда выдвиженцы, приехав за границу, хотят отдать своих детей в иностранную школу, им это запрещают. Так и возвращаются они обратно в Совдепию, ничему в Европе не научившись.

Одна немка, которая сдавала торгпредским служащим комнаты, рассказывала мне, как сын одного из советских – десятилетний мальчик – выколол глаза Христу на стоявшей у нее на столе гравюре. Когда она, возмущенная, подняла скандал, отец извинил сына тем, что в школе ему прививают безбожие. О том же, что вообще нельзя портить чужих вещей, мальчику никто даже и не говорил. Немка возмущалась такой системой воспитания и говорила:

– Die verfluchten Bolschewiken!

## **Экономический отдел торгпредства**

Между тем разговор с товарищем Бродзским не прошел бесследно. Несмотря на усиленное противодействие со стороны старой большевички Олигер, ее все же решили окончательно откомандировать в Москву, так что должность в бюро прессы и информации оказалась свободной. Очевидно, Бродзский сообразил, что я ему буду полезнее, чем какая-нибудь коммунистка, которую ему назначат выше, и поэтому приложил все усилия к тому, чтобы была назначена именно я. Тут помогли безусловно мое знание языков, машинки и стенографии. Таким образом, в конце марта 1928 года я была назначена референтом по выдаче справок по таможенным и транзитным вопросам, а также по вопросам, возникающим из существующей в СССР монополии внешней торговли.

Меня вызвали в отдел кадров, и та же Иоффе послала меня в бюро прессы и информации с напутствием:

- Походите несколько дней к Олигер, она вам все объяснит.

Но это было очень легкомысленным взглядом на вещи. Вообще, нужно сказать, что большинство коммунистов - люди малообразованные, недоучившиеся, случайно выброшенные волной революции на поверхность - не представляют себе значения и важности специализации и образования. Им кажется, что раз у них в кармане имеется партийный билет, они сразу становятся специалистами.

Вообще сила знания и трудность его накопления им непонятны. Однажды меня один мой заведующий убеждал, что я в состоянии перевести *a livre ouvert*

сложное описание какой-то подземной установки в шахте.

- Ведь вы же немецкий знаете, - удивлялся он, - так почему же не можете перевести?

Никогда не забуду также одного характерного случая, когда еще в Москве председатель месткома союза горнорабочих, озлобленный и желчный большевик, стучал по столу и кричал на нас - трех референток:

- Что это вы не изволите на собрания являться? Чтобы мне это было последний раз, иначе в два счета вылетите к чертовой матери.

А когда наш заведующий попытался заикнуться, что, мол, эти референтки - ценные работницы - они по четыре языка знают, то предместкома презрительно ответил:

- Что они языки знают, нам наплевать, а что они на собрания не ходят, так мы им гайки завинтим.

Так было и теперь. Не успела Олигер объяснить мне, как разбираться в увесистом таможенном уставе и в весьма сложных правилах транзита через СССР, как через два дня ее откомандировали в самом спешном порядке, как будто бы на пожар.

И вот я сижу на ее месте и волнуюсь, и дрожу при каждом телефонном звонке, так как не знаю, как и что я должна отвечать, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки. Легко можно себе представить - что такое бюро справок в обычном крупном учреждении, но бюро справок крупного советского учреждения - это совсем, как говорится, особь статья. Иностранцы, желающие что-либо купить или продать Советской России, иностранцы, желающие туда поехать, иностранцы, намеревающиеся послать какой-нибудь товар транзитом на Персию, Афганистан, Восточный Туркестан, Монголию, Китай, - все они бродят по

советским торгпредствам, как по дремучему лесу, пока их кто-нибудь сердобольный не надоумит:

- А вы спросите в бюро справок.

Советский человек, приезжающий на время за границу в командировку и знающий, что ему предстоит скоро возвращаться в СССР, стремится узнать, что именно и в каком количестве он может провезти с собой обратно. Кое-кто из русских хочет послать что-нибудь своим родным в СССР и не знает, какие существуют правила для посылок. Научные германские институты, руководящие изучением торговых взаимоотношений с СССР, желают знать те или иные таможенные правила и пошлины. Германская Торговая палата заинтересована в списке запрещенных и разрешенных к ввозу и вывозу товаров в СССР. Все эти люди и инстанции звонят или пишут, или приходят лично в бюро справок, и на все должны получить точный и исчерпывающий ответ. Кроме того, ведающий выдачей справок должен точно знать номенклатуру каждого отдела торгпредства, а также - какой инженер ведает той или иной частью этой номенклатуры.

Если я перечисляю теперь все эти функции, которые мне пришлось выполнять в течение почти трех лет, то исключительно для того, чтобы читатель еще раз себе ясно представил, почему, в частности, советское хозяйничанье привело за двадцать лет к голоду и почему в СССР ничего не клеится. Вот, к примеру, покорная ваша слуга - преподавательница по образованию, переводчица по профессии последних подсоветских лет. И на нее с бухты-барахты возлагают такие сложные и ответственные функции. Несмотря на мою ненависть к большевикам и к советскому режиму, я не могла относиться нечестно к моим обязанностям; в результате напряженной работы я поставила бюро справок торгпредства на кое-какую высоту, чем заслужила благодарность посещавших бюро немцев. Но

что касается администрации, то она относилась ко мне механически-равнодушно, никто меня не хвалил, никто меня не ценил, и когда меня откомандировали обратно в Москву – заведенные мною с большим трудом печатные правила, проспекты, инструкции, указания, адресные списки и вся огромная переписка были свалены в большую кучу в подвале торгпредства, причем даже не было известно, кто придет на мое место и кому я могу передать дело. Это типичная для советского учреждения картина.

Недавно мне один знакомый немец писал из Берлина: «Теперь в торгпредстве сам черт ногу сломит. Никто ничего не знает и не у кого спросить. Наш институт (это был научный экономический институт) часто вспоминает о том времени, когда было бюро справок и когда в нем сидели вы».

Бюро прессы и информации не было самостоятельным отделом торгпредства, а входило в так называемый экономический отдел. Во главе этого отдела до 1930 года стоял небезызвестный в Германии, и особенно в Венгрии, Ленгиель, соратник Бела Куна и его министр иностранных дел во время красного владычества в Венгрии. Этого венгерского еврея звали «некоронованным торгпредом», потому что настоящий торгпред, Бегге, был только игрушкой в его руках.

Кабинет Бегге находился против кабинета Ленгиеля, причем Бегге единолично ни одного серьезного вопроса, ни одной крупной сделки, ни одного решающего договора без согласия Ленгиеля не заключал и не подписывал. Вообще в большинстве случаев должность торгового представителя в той или иной стране является синекурой для какого-нибудь не совсем удобного в Москве старого большевика. Однако такому старому большевику в настоящих делах советское правительство или, вернее, Сталин, не

особенно доверяет, и поэтому около него сажают такого пронырливого и опытного пройдоху, каким был Ленгиель. Когда в 1930 году Бегге был откомандирован и на его место был назначен Исидор Евстигнеевич Любимов, большевик с 1898 года, его отдали под опеку умного, но беспринципного товарища Бессонова, который затем, до самого последнего времени, занимал аналогичную должность, но уже по полпредской линии – первого советника берлинского полпредства. Бессонов надолго пережил своего питомца. Любимов через два года вернулся обратно в Москву, где был назначен на тяжелую и еще более ответственную работу – народного комиссара легкой промышленности. Легкая промышленность оказалась для Любимова, увы, слишком тяжелой, и он ее постепенно свел совсем на нет. В настоящее время его с этого поста с позором изгнали. Так делаются дела в СССР!

В экономическом отделе, переименованном вскоре в экономическое управление, Ленгиель опирался главным образом на своего верного и преданного ученика, тоже венгерского еврея – Радвани и на другого, но уже австрийского еврея – Рудольфа Андерса. В функции этих двух помощников входило налаживание экономической осведомленности торгпредства, для чего сидел целый штат экономистов. Самой же главной функцией отдела являлось составление годового отчета торгпредства, причем как раз эту функцию исполнял человек, который в торгпредстве никогда не работал и жалованья там не получал. Это был еврей Лежнев (псевдоним), бывший редактор какого-то эсеровского журнала, высланный затем большевиками за границу без права возвращения. Позднее он все-таки выхлопотал себе разрешение вернуться в Москву и до самых последних чисток писал в «Известиях». В Берлине он сильно нуждался и перебивался только тем,

что работал для Андерса над составлением этого самого годового отчета, конечно совершенно неофициально.

## Наблюдатели

Ввиду того, что Олигер была старой, испытанной коммунисткой, ей вполне доверяли в политическом отношении и за ее работой следил только Бродзский. Но стоило на ее месте появиться беспартийной в лице меня, как комячейка зашевелилась, и в одно прекрасное утро, придя, как всегда, на работу, я с удивлением увидела, что в крошечную комнатку, где до сих пор Олигер сидела одна, поставили еще один стол, вплотную к моему, за который уселся лицом ко мне некий молодой человек с беспокойным, типично чекистским взглядом. На мой вопросительный взгляд он ответил:

- В нашей комнате очень тесно, так вот меня сюда пересадили.

- Ну, здесь-то не намного просторнее. А вы, товарищ, на какой работе?

- Я - экономист, моя фамилия Антонов, давайте познакомимся. - И он решил наконец протянуть мне через стол руку.

- Давайте. Однако не думаю, чтобы вам здесь было особенно удобно работать, товарищ Антонов, ведь ко мне целый день приходят люди, разговоры, телефонные звонки...

- Ну, это ничего. Мне это не мешает.

И водворился против меня окончательно. Зорко следил за мной, особенно первые дни.

Несколько раз я поймала его роющимся в моих папках.

- Что вы ищете, товарищ Антонов?

- А тут без вас звонили по телефону, хотели узнать, какая пошлина на дамские ботинки.

- Но вы же знаете, что пошлины все в таможенном уставе, в папках этих сведений нет.

- Разве? А я думал, что в папках.

Вообще же Антонов, конечно, уследить за мной не мог, так как по-немецки говорил с трудом, а понимал еще того меньше. Даже по линии чисто политической слежки большевизм не проявляет признаков гениальности.

Антонов имел сожительницей какую-то полупольскую, полунемецкую еврейку, которая вела, по-видимому, очень важную работу в германской компартии. Думаю - важную, потому что, по его рассказам, его жена по вечерам - вечно на собраниях. Маленького роста, грузная, несмотря на свою молодость, вечно растрепанная и неряшливая - она раза три в день прибегала в нашу комнату и о чем-то шепталась с Антоновым.

Как-то летом Антонов пришел в понедельник на работу в особенно приподнятом настроении. Я видела, что его так и подмывает мне что-то рассказать. Зная, однако, что чекисты любопытства не любят, я молча принялась за свою корреспонденцию.

- Тамара Владимировна, угадайте, где я провел субботу и воскресенье?

- Ну, как же я могу угадать? За городом где-нибудь?

- Что за городом - это верно, а вот где именно?

- В каком-нибудь лагере?

- Почти угадали. Ну, так и быть, скажу.

Тут он встал, обошел вокруг стола и нагнулся к моему уху:

- В лагере Nacktkultur.

Я недоумевающе подняла на него глаза.

Правду сказать, до тех пор я не имела никакого представления о том, что такое Nacktkultur.

Антонов покатился со смеху, видя мое недоумение.

- Правда, интересно? Знаете - все ходят голышом. Буквально все - старые, молодые, дети. И как это ни странно, сперва мне было ужасно стыдно, я просто глаз не решался поднять. А потом, через несколько часов, так привыкаешь, что даже не замечаешь. Знаете, там целый городок устроен из палаток. Это к югу от Берлина, за Штралау-Руммельсбург. Там кругом леса, и среди них поляна, вот на этой поляне и расположен этот лагерь. Все больше рабочие с целыми семьями. Очень интересно.

- А ваша жена тоже была?

- Ну а как же? Разумеется. Под вечер танцы устроили, надо было видеть. Вот будут в Москве хохотать ребята, когда я приеду и расскажу. Надо бы и у нас в СССР такое завести.

В этот день Антонов почти не сидел в комнате. Накткультур не давала ему покоя, и он бегал от товарища к товарищу и по секрету сообщал им о пережитом им удовольствии. Вообще Антонов никогда фактически не работал, как, впрочем, очень и очень многие коммунисты, командированные за границу. Утром он прочитывал «Правду», затем делал вид, что разбирается в каком-то немецком экономическом журнале, а затем большую часть дня проводил в бегодтне по зданию торгпредства.

Осенью его откомандировали. С ним уехала и его жена. Думаю, что она в Москве работает по коминтерновской линии, так как, зайдя как-то по делу в четвертый дом союзов, я увидела ее фамилию на доске обитателей этого дома. А получить в те времена комнату в доме союзов могли только самые ответственные коммунисты. Звали ее Дейч.

После его отъезда я вздохнула немного свободнее. Работа у меня была очень напряженная, а тут еще сознание, что за каждым твоим словом следят. Все это было крайне неприятно. Но через два дня ко мне

посадили... самого Радвани, помощника Ленгиеля. Теперь уже надо было держать ухо еще более остро, так как Радвани знал в совершенстве немецкий, самоучкой выучил русский, и скрыть от него что-либо было очень трудно.

Между тем за полгода работы в бюро справок у меня накопился некоторый таможенный опыт, и я могла уже давать полезные советы посетителям. Полезные, разумеется, не советской власти, а наоборот. Особенно мне бывало жалко наших русских людей, иногда беспартийных специалистов, которые после четырех-пятидесятилетнего пребывания в Америке или в Германии, возвращались в СССР. Норма того, что они могли провезти с собой в Москву, была так безобразно мала, а деньги уже были истрачены, кроме того, хотелось провезти какие-нибудь подарки детям или родным. Вообще норма провоза вещей была двух категорий: до года и больше года. Тот, кто провел за границей меньше года, мог провезти, например, три смены белья, одну пару обуви, не мог провезти никакого постельного белья и уже ни в коем случае ни граммофона, ни велосипеда, ни радиоаппарата. Тем же, кто прожил за границей больше года, разрешалось провезти не только это, но и обстановку для трех комнат и многое другое. И вот приходит какой-нибудь такой робкий русский инженер – пробыл за границей около десяти месяцев, накупил всякой всячины, а провезти, оказывается, не может.

Я помогала в таких случаях беспартийным русским людям, как могла. Коммунистам же давала чисто формальные ответы. Но это все было возможно при Антонове, который то и дело выбегал из комнаты. Радвани же – другое дело. Это был въедливый, дотошный и медлительный человек. Целыми днями сидел он напротив меня, углубленный в свои бумаги, но когда я говорила с кем-нибудь из посетителей, я, не

видя, чувствовала на себе его тяжелый, испытующий  
взгляд. Так прошла вся зима.

## **О невозвращенцах и о текучести Кадров**

- Тамара Владимировна, вы слышали, Гольдберг, из лесного отдела, отказался вернуться в СССР? В отделе кадров полное смятение. Посылали к нему курьера с просьбой зайти в торгпредство и дать объяснения, однако он отказался наотрез.

И маленькие глазки моей собеседницы - машинистки Экспортхлеба - возбужденно округляются.

- Подумайте только, получил вчера распоряжение в трехдневный срок вернуться в Москву и вчера же прислал вечером письмо Иоффе, что, мол, заставить меня возвращаться вы не можете, а я желаю остаться в Германии. Все в отделе кадров волнуются, бегают, говорят - будут требовать от германского правительства, чтобы оно Гольдберга выдало.

- А кто вам это сказал, Зинаида Васильевна?

- Мне Тася рассказала, по величайшему секрету.

Тася - единственная беспартийная машинистка, работающая в отделе кадров, большая приятельница Зинаиды Васильевны. Через нее удавалось иногда узнавать весьма важные новости, например о предстоящей чистке или о тех или иных мероприятиях этого крайне несимпатичного для всех торгпредских служащих отдела. Тася, конечно, была в жизни очень осторожной - кого не научит советский режим? - но с Зинаидой Васильевной она была связана узами давнишней школьной дружбы и ей поверяла все. Зинаида же Васильевна, в свою очередь, доверяла мне. Она знала, что я никому ничего не скажу, так как, когда нужно, умею держать язык за зубами.

- А потом, знаете машинистку отдела силовых установок Л-скую?

- Конечно, знаю, я с ней две недели в одной комнате работала. К ней еще дочка недавно из Москвы приехала.

- Вот-вот, так эта дочка познакомилась несколько недель тому назад в поезде - они ездили осматривать Потсдам - с каким-то англичанином. Он возьми да влюбись. Стали встречаться, а теперь он сделал ей предложение, и она выходит за него замуж. Матери предложили ехать с ними на Ривьеру, где у англичанина вилла. Подумайте, Тамара Владимировна, какое счастье привалило!

- Действительно, повезло. Ведь она и не очень красивая.

- Да, но чрезвычайно серьезная и умная девушка. Англичанин в нее именно из-за этого ума и влюбился. Но дело не в том. Слушайте - это интересно. Значит, мать пишет в отдел кадров, что ввиду замужества дочери она лишена возможности дальше оставаться на службе в торгпредстве и уезжает из Германии. А отдел кадров ей отвечает: вас сюда из Москвы советское правительство командировало - значит, только оно и может вам разрешить оставаться за границей. А посему извольте сложить ваши чемоданы и отправиться обратно в Москву. Ваша дочь тоже должна была бы раньше испросить разрешения на выход замуж за иностранца, но тут уж мы ничего не можем поделать, она не наша служащая. А вы - другое дело. Если откажетесь вернуться - будем рассматривать вас как злостную невозвращенку, советский паспорт у вас будет отобран, и имущество ваше, оставшееся в СССР, будет конфисковано.

- Неужели Иоффе решилась дать ей в руки такой письменный документ?

- Ну, что вы, нет! Послали к ней на квартиру жену Антонова с устным предложением.

- И что же Л-ская ответила?

- Сказала, что ехать в Москву ей незачем, так как там у нее родных никого нет, и что она не нуждается в советском паспорте. Зять выхлопочет ей нансеновский. Иоффе рвет и мечет, но сделать ничего не может.

Для того чтобы понять ту эпидемию невозвращенчества, которая охватила советские представительства за границей в 1929 году, надо прежде всего представить себе положение торгпредского служащего. Если в СССР все чувствуют себя на службе неуверенно и никогда не знают, не уволят ли их завтра, то там такое увольнение не очень страшно, так как для более или менее культурного человека работа всегда найдется. Другое дело за границей. Здесь условия жизни настолько приятнее, чем в Советской России, а зарплата настолько выше, что каждый трепещет за свою работу, за каждый лишний день, который он может провести «за рубежом».

Между тем советское правительство зорко следит за своими служащими: имеется целая широко раскиданная сеть шпионов, которые информируют и комячейку, и - в особо важных случаях - резидента ГПУ о том, не «разложился» ли такой-то... Этот похабный, употребляющийся обычно в отношении трупов термин - «разложился» играет колоссальную роль в жизни торгпредства. Увидят какого-нибудь торгпредского служащего в ночном кабаре сомнительного реноме - «разложился», наденет какая-нибудь машинисточка нечто более или менее кокетливое и отходящее от нормы - «разложилась», решится, наконец, после долгой борьбы с самим собой и после мучительного откладывания денег какой-нибудь техник или инженер купить мотоциклетку - смотрите, смотрите - он «разложился»... И надо сказать правду, ничего так не боятся торгпредские служащие, как этого похабного словечка. Ибо, не дай бог, дойдет оно до ушей какого-нибудь зловредного коммуниста (бывают среди них и не

зловредные, но как редкое исключение) – и конец блаженству. Откомандируют в два счета, и пикнуть не дадут. А там едва вы успеете проехать под аркой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», как не исключена возможность, что к вам подойдет некто и скажет: гражданин (или гражданка), следуйте за мной.

Советская же власть, в свою очередь, обуяна вечным страхом – как бы тот или другой из ее пасынков не «разложился». И этот страх диктует совершенно не принятое ни в каком другом государстве и крайне вредное для работы постоянное перемещение людей с места на место. Только что инженер какой-нибудь научился мало-мальски прилично говорить по-немецки, вежливо обращаться с клиентами, умело проводить договоры и разбираться в сложной европейской обстановке, как – трах! – у него замечаются, а иногда только кажется, что замечаются, признаки этого самого «разложения», и его моментально срывают с работы, часто не дают закончить начатых сделок и откомандировывают обратно в лоно мачехи-земли. И поэтому каждое торгпредство представляет собою проходной двор. Текучесть состава чрезвычайная, хуже, чем в Донбассе.

Эта текучесть кадров – общесоветская болезнь, и о ней уже много писалось. Но если внутри СССР она бьет по народному карману, то за границей она его катастрофически опустошает, ибо каждому служащему даются подъемные в валюте. Жалованье он получает тоже в валюте. Проходят долгие месяцы, пока он кое-как приспособится к окружающей новой обстановке, где работа – не халтура, где существуют определенные экономические законы и взаимоотношения, где договор – есть договор и качество продукции – есть действительно качество продукции.

Но едва такой советский служащий немного обжился и воспринял европейские навыки в работе, как

его срывают и отправляют обратно в СССР, где сплошь и рядом используют совсем не по той отрасли работы, на которой он был в торгпредстве, а то и еще хуже: заподозрят в чем-нибудь и отправят в места не столь отдаленные. А валюта уходит, и для того, чтобы получить эту валюту, приходится отнимать у мужика и хлеб, и корову. Советская власть – никуда не годный хозяин, и ни одно государство в мире не стало бы терпеть подобного хозяйничанья.

Как правило, в торгпредствах человека не держат больше трех лет; есть, правда, исключения, как, например, кассир Никитин, который просидел семь лет, но это – чрезвычайная редкость. И это касается не только беспартийных, но и коммунистов. Даже, пожалуй, как ни парадоксально это звучит, больше коммунистов, чем беспартийных.

Особенно страдает, как это ни странно, как раз тот отдел, который фактически руководит всеми отправками в СССР, – отдел кадров. За три с половиной года, проведенных мною в торгпредстве, не было заведующего отделом кадров, который продержался бы дольше одного года. Иоффе исчезла в один прекрасный день так же бесследно, как исчез в следующем году сменивший ее Евгеньев, а за ними через год отправились Гончарова и Охлопков. Как я слышала, после моего отъезда и до 1936 года сменилось на этой злосчастной должности еще трое, в том числе и Минкин, который затем пробыл по году на должности заведующего лесным отделом и Интуристом. Нечего сказать – специализация!

Первая особенно большая волна невозвращенцев относится к 1929 году. За Гольдбергом последовало еще несколько человек, все по большей части специалистов, которые совершенно справедливо полагали, что они за границей даже без работы будут меньше голодать, чем в СССР. В бессильной ярости

советская власть ответила на это массовое невозвращенчество средневековым декретом, по которому «все советские служащие, отказавшиеся вернуться в СССР, объявляются изменниками социалистического отечества и в случае, если затем переступят границу СССР, караются высшей мерой наказания, то есть расстрелом. Все имущество их конфискуется». Несмотря на всю абсурдность предположения, что невозвращенец все же решится потом переступить границы Совдепии, этот декрет был опубликован в «Правде» и в «Известиях», а на некоторых, наиболее пугливых, вот вроде Никитина, даже подействовал. Вместо того чтобы преспокойно здравствовать у своих братьев в Эстонии, бедный Степан Никитич гниет теперь в одном из концлагерей.

В вопросе об откомандировании интересно проанализировать, почему коммунистов чаще меняют на заграничной работе, чем беспартийных. Приведу для иллюстрации один комический случай. Впрочем, для героя его он был скорее трагическим.

Как-то сижу я за своими бумагами в бюро информации. Телефонный звонок. Отвечаю. Слышится густой немецкий голос:

- Говорит полицейпрезидиум. Нам нужна справка.
- Пожалуйста. Чем могу служить?
- У вас имеется служащий Проскурнин?

Быстро роюсь в своем мозговом архиве. Проскурнин? Нет, такого не знаю и не слышала.

- Одну минуту, я сейчас справлюсь в отделе кадров.

Перевожу кнопку на внутренний телефон, звоню Гончаровой.

- Товарищ Гончарова, здесь Солоневич. Полицей-президиум спрашивает, есть ли у нас служащий Проскурнин?

- А зачем он им сдался?
- Не знаю.

- Раньше узнайте и скажите мне.

Опять перевожу кнопку. Спрашиваю, зачем полицей-президиуму понадобился Проскурнин? В трубку нетерпеливо гудят:

- Нам надо знать, действительно ли он у вас работает, он здесь сидит арестованный.

- Арестованный, за что?

- Zum Donnerwetter noch einmal! Раньше скажите - работает ли он у вас?

Передаю Гончаровой, в чем дело. Она наконец разрешает ответить, что действительно такой Проскурнин в списках служащих имеется, но что он только что приехал из Москвы и не окончательно-де утвержден в должности. (Осторожность никогда не мешает!)

Немец облегченно вздыхает в трубку и рассказывает мне следующее: вчера вечером Проскурнин, не говорящий ни слова по-немецки, попал в какой-то Nachtlokal, напился там до чертиков, взял некую девицу, нанял такси и велел себя катать по городу. Прокатался до семи часов утра, а потом оказалось, что в кармане у него не оказалось достаточной суммы, чтобы уплатить шоферу. Тот и приволок его в полицейпрезидиум. По-немецки Проскурнин не говорит, а посему комиссар просит меня разъяснить ему по телефону, что теперь его выпустят, но что он должен сказать свой адрес для составления протокола. Передают трубку Проскурнину. Говорю ему:

- Товарищ Проскурнин, говорят из торгпредства, что же с вами случилось?

В ответ слышится охрипший голос с простоватым вологодским акцентом:

- Со мной - ничего. Тут недоразумение.

- Какое же недоразумение, ведь вы ездили всю ночь на такси и не уплатили шоферу?

- Ничего подобного, здесь недоразумение.

- Как же так, товарищ Проскурнин? Вы теперь дайте полицейскому ваш адрес, они хотят составить протокол, вы должны заплатить шоферу что-то около 124 марок.

- Ничего я не должен.

Меня прерывают по-немецки и просят прислать кого-нибудь из торгпредства для перевода.

Приходится рассказать все Гончаровой. Эта особа сменила Иоффе и даст ей сто очков. Для характеристики скажу, что она теперь секретарь одного из московских райкомов. Дора Гончарова (почему Гончарова?), выслушав мое сообщение по телефону, приходит в величайшее волнение и бросает трубку.

На следующий день я постаралась через Зинаиду Васильевну узнать у Таси, что случилось с Проскурниным. Ему была сделана жесточайшая головомойка, и в тот же вечер его откомандировали в Москву. Воображаю, что ожидало его там.

«Разложение» - неизбежный удел коммунистов из рабочих и крестьян. Европейские соблазны влияют на них, как быстро действующий яд. Появляются лаковые ботинки или какой-нибудь сногшибательный галстук - и человек пропал ни за понюшку табаку. Если для культурного человека Европа приятна и занимательна, то для простого - это настоящая феерия, и поди тут не разложись!

## СШО

В один прекрасный полдень товарищ Бродзский вызвал меня к себе в кабинет. Несмотря на то что наши комнаты находились рядом, по роду своей работы я мало с ним соприкасалась.

Он, правда, должен был подписывать те письма, которые я диктовала стенографисткам в ответ на многочисленные запросы фирм, отдельных лиц и учреждений, но разговаривать нам с ним почти не приходилось. Раз десять в день он проносился через мою комнатку как метеор в коридор и обратно. Этим кончалось наше общение. Ибо функции наши были ясно распределены: он ведал прессой, а я информацией, то есть выдачей справок. Если в первые недели моей работы мне приходилось часто обращаться к нему за разъяснениями по тому или иному поводу, то потом мало-помалу я стала самостоятельно разбираться в таможенных дебрях и заходила к Бродзскому только в самых трудных случаях.

Но в этот день из кабинета вышла Эмми Эгер – прехорошенькая немочка-стенографистка – и сказала, что Бродзский простит меня зайти к нему.

– Тамара Владимировна, – встретил он меня, – отнесите, пожалуйста, этот документ в секретно-шифровальный отдел и проследите: пусть они отметят, что я его вернул.

Я удивилась в душе: почему он не пошлет Эгер? Но ничего не сказала, взяла документ и отправилась на розыски СШО. Я знала, по находящемуся у меня списку помещений торгпредства, что он находится в комнате 126, но еще ни разу там не была.

Комната 126 находилась в первом этаже, в крайнем правом конце длинного, темного коридора. Но найти ее

оказалось не так-то легко. Судя по предшествовавшему сто двадцать пятому номеру, эта комната должна была находиться в определенном месте, но здесь висел большой толстый ковер. Постояв несколько мгновений в нерешительности, я приподняла край ковра: да, действительно, под ним оказалась дверь, но, во-первых, без всякого номера, во-вторых, без всякой ручки. Точно замурованная изнутри, изъятая из употребления. больше ненужная дверь. Я попробовала постучать. Бесплодно. Вылезла из-под ковра и пошла по коридору обратно. 127, 128, 129... комнаты чередовались в восходящем порядке дальше. Загадка ученого мира: как же мне попасть в СШО?

В это время из комнаты № 128 выбежала какая-то служащая.

- Товарищ, скажите, пожалуйста, как мне попасть в секретно-шифровальный отдел?

Но секретарша - мы с ней раньше не сталкивались, и я только потом узнала о ее чине - странно на меня посмотрела, ничего не ответила и стала быстрыми шагами от меня удаляться.

Мое положение становилось действительно и смешным, и затруднительным. Прогулявшись еще несколько минут, я уже решила идти обратно к Бродзскому, как вдруг мимо меня прошел заведующий инженерным отделом Александров. Я повернула за ним. Он приподнял ковер, затем проделал какую-то манипуляцию - темнота коридора не позволила мне разобрать, в чем именно она состояла, ответил кому-то невидимому: «здесь Александров»; дверь сейчас же открылась, и он в ней исчез. Я бросилась к двери в надежде, что она не успеет за ним закрыться, но чуть не стукнулась об нее лбом. Она так же молниеносно закрылась. Тогда я начала изучать окрестности. На стене дверной ниши было нечто вроде телефона или, вернее, только телефонная трубка на крючке. Наугад

сняла ее. Послышался голос: «Кто там?» Ответила: «Из бюро прессы и информации – Солоневич».

С полминуты мне никто не отвечал. Затем послышался вопрос:

– Вы ведь не засекречены, не так ли?

– Нет.

– Скажите Бродзскому, чтобы он вас раньше засекретил, а потом приходите.

– Но ведь я только хотела вернуть вам документ.

– Это безразлично. Впрочем – открываю.

В двери послышалось характерное жужжание – патентованный замок вроде тех, что запирают в цивилизованных странах парадные двери, – и дверь стала открываться. Я вошла. Передо мной оказалось совсем узкое пространство, в котором двум людям было тесно повернуться. Здесь день и ночь горел свет, ибо кругом были стены и ни одного окна. Только в передней стене вырисовывалось наглухо запиравшееся окошечко, а в боковой – узкая дверка. Мне показалось странным, куда же делся Александров? Позже, когда мне приходилось довольно часто приходить в СШО за документами, я узнала, что заведующие отделами – исключительно коммунисты – пользуются правом входа даже вовнутрь самого отдела. Но не беспартийные. Беспартийные, хотя бы они были тысячу раз засекречены, должны иногда по полчаса торчать в закутке и ждать, пока через окошечко чья-то невидимая рука протянет им то или иное письмо и возьмет их расписку в получении.

Итак, я вошла и стала ждать. Дверь за мной бесшумно закрылась. Изнутри не долетало никаких звуков. Сесть было не на что. Я стояла, и постепенно меня начала охватывать какая-то жуть. Ведь вот ничего не стоит меня теперь схватить, связать по рукам и ногам, внести внутрь СШО и сделать со мной, что угодно, задушить, убить, потом запаковать и отправить

в Москву под видом дипломатического багажа. У страха глаза велики – я даже не задала себе вопроса, зачем бы я – мелкая сошка – могла понадобиться большевикам!

Вспомнился недавний рассказ, который я слышала у Никитиных. Одного невозвращенца заманила какая-то женщина в пивную. Там к ним присоединились еще какие-то два немца, стали все вместе пить, потом, очевидно, подсыпали чего-то в пиво; невозвращенцу стало нехорошо, и он упал без сознания. Собутыльники объяснили испуганному хозяину, что человек пьян, взяли его на руки, вынесли на улицу, уложили в стоявший как бы случайно тут же полпредский автомобиль и привезли в полпредство. А через два дня на отходивший из штеттинского порта советский грузовой теплоход погрузили длинный ящик... нечто вроде гроба... Только его и видели.

Повторяю, мне стало страшно. Я бы хотела убежать, но дверь была наглухо закрыта, а ручки не было изнутри. Вошедший сюда мог выйти только с ведома СШО... Меня охватило чувство полной беспомощности.

Наконец окошечко приподнялось и чья-то рука просунулась через него:

– Товарищ Солоневич, давайте то, что вы принесли. Но впредь, пока вы не будете засекречены, Бродзскому придется самому приходить сюда. С отъездом Олигер у него нет никого там засекреченного. А теперь можете идти.

Окошечко опустилось... Сзади раздалось уже слышанное мною жужжанье, дверь медленно открывалась. Я выскочила в коридор и буквально помчалась, минуя патерностер, по лестнице вверх. Какое-то чувство облегчения наполнило меня всю. Запыхавшись, прибежала я в свое бюро. Как хорошо, что я не засекречена. Может быть, мне больше не придется переживать того, что я пережила сегодня.

Через полчаса Бродзский проходил через мою комнату. - Ну что, Тамара Владимировна, сдали документ?

- Сдала.

- А проследили, чтобы они отметили?

- Ах, нет, Константин Владиславович, я вообще ничего не видела. Там сказали, что я не имею права носить секретные документы, так как я еще не засекречена. Сказали, чтобы вы пока сами приходили.

Лицо Бродзского выразило досаду и неудовольствие.

- Как, а разве вы действительно не засекречены?

- Конечно нет, ведь я до сих пор была просто стенотиписткой.

- Но тогда это необходимо сделать завтра же. Одну рекомендацию дам вам я, а другую постарайтесь найти у знакомого вам коммуниста. Однако это надо сделать немедленно. Вам ведь постоянно придется иметь дело с секретной перепиской.

- А нельзя ли Эгер засекретить, Константин Владиславович?

- Да что вы, маленькая, что ли? Разве вы не знаете, что немцев, хотя бы и коммунистов, мы не засекречиваем. Они ведь все же не советские подданные, с них взятки гладки.

Мне стало, выражаясь по-украински, каламитно. Неужели придется втягиваться в зубцы этой чертовой машины?

- Кто же второй за вас поручится?

- Я, право, не знаю, у меня ведь в торгпредстве никого нет знакомых.

- А вы как-то вначале говорили, что вас товарищ Н-ский на заграничную работу рекомендовал. Он ведь теперь в Лондоне, кажется? Вот напишите ему дипломатической почтой, он, наверное, не откажет в поручительстве.

- А как же я дипломатической почтой смогу послать?

- Это уж я устрою. Вы сами понимаете - если хотите оставаться на этой работе, должны быть засекречены.

- Но, Константин Владиславович, какие тут тайны в бюро справок?

- Как это - какие тайны! Вы разве до сих пор не обратили внимания, что большинство транзитных исключений к правилам секретны? Да может случиться, что вам и мне придется помогать. А мне самому неудобно бегать в СШО - носить корреспонденцию.

- Хорошо, я напишу сегодня.

Бродзский вышел, а я осталась размышлять о своей участи. Я знала на примере моих прежних сослуживиц, что засекречивание, не давая никаких привилегий, возлагает на данное лицо довольно большие тяготы. Боже сохрани, пропадет какой-нибудь документ, пусть самый пустячный, но такой, на котором написано «секретно», или - что еще того хуже - «совершенно секретно». В России бывали случаи, что за такую пропажу человека сажали в ГПУ, а иногда даже ссылали в концлагерь.

Между прочим, в порядке пособия к познанию советской действительности нужно сказать, что большевики помешаны на конспирации и таинственности. Передалось ли это свойство им от далекого прошлого, когда их партия была еще в подполье, или же их, как и всякую преступную организацию, должны связывать пароли, шифры и т. п., но то, что в нормальном государстве говорится и пишется совершенно открыто, в СССР сплошь да рядом является секретным и даже сугубо секретным. Так, например, транзитные правила на Внешнюю Монголию были постоянно засекречены, хотя мне много раз приходилось разъяснять их первым попавшимся иностранцам. Иногда, когда мне нужно было вести

переписку с Наркомвнешторгом по поводу этих самых правил, я просто так - из озорства - писала наверху письма: «секретно», хотя в нем абсолютно ничего не подлежащего оглашению не было. И на основании этого письма завязывалась целая секретная переписка. Опыт научил меня, что при советской конспиративности всегда лучше переборщить в таинственности, чем недоборщить.

Засекречивание началось с того, что я должна была заполнить длиннейшую анкету, в которой меня спрашивали, между прочим, кто были мой отец и моя мать, имели ли они недвижимое имущество, имею ли я родных или знакомых за границей и если да, то где именно, и прочее в том же роде. Затем надо было приложить три фотографические карточки, после чего все это было, по-видимому, отправлено в Москву. Недели через две меня вызвали в СШО и дали подписать бумагу, в которой значилось, что в случае, если бы я разгласила тайны, которые мне будут известны, я буду наказана по статье такой-то Уголовного кодекса СССР. А статья эта, как я потом узнала, гласила о шпионаже в пользу иностранной державы и грозила высшей мерой наказания, то есть расстрелом.

Подписав эту бумагу, я почувствовала себя еще более прикованной к проклятой советской тачке и еще большей рабой советского режима. И было у меня очень тяжело на сердце.

Секретно-шифровальный отдел, как я потом выяснила из своих личных наблюдений, пополняется почти исключительно чекистами и чекистками. Вся дипломатическая почта проходит через этот отдел и там упаковывается в дипломатические вализы. Кроме того, имеется целый штат шифровальщиков, которые зашифровывают и расшифровывают особо важные

сообщения, идущие из Москвы и обратно. Эти шифровальщики все как на подбор люди некультурные, не знающие иностранных языков. Вообще весь штат СШО живет какой-то странной и обособленной жизнью. Служащие этого отдела не общаются со служащими других отделов, их никогда не увидишь беспечно болтающими в коридорах или в клубе советской колонии. Сам отдел на общем плане торгпредства обозначен как отдел Е, без особого названия, и если, например, приходится говорить с ним по телефону, то не рекомендуется спрашивать: «Здесь СШО?», а надо спрашивать: «Здесь отдел Е?» И точно так же, как большинство чекистов подсоветский человек узнает по внешнему виду, так и у служащих СШО были особые отличительные черты, с маленькими отклонениями в сторону. Бегающий острый взгляд, глубоко сидящие стального или белесого цвета глаза, вечно недовольно-брезгливое выражение лица и нарочитая, подчеркнутая, противная вежливость. Холодная и скользкая. Вежливость, которая в любой момент может схватить вас за горло. Бывают, правда, исключения – по внешнему виду, но очень редко, да и то внутренне ничем не отличающиеся от описываемого мною типа.

Как это ни странно, состав СШО менялся почти так же часто, как и состав отдела кадров. Я познакомилась с этой специфической текучестью кадров СШО, когда несколько позже на меня возложили наблюдение за кружками немецкого языка. Кружки СШО – они имели своего отдельного учителя, подозрительного типа из польских евреев, который, по моим сведениям, отсиживается в настоящее время в одной из германских тюрем, – постоянно претерпевали изменения, и редко кто посещал их больше десяти месяцев.

Иногда случается, что на самые низшие технические должности СШО намечает себе жертву из беспартийных

стенотиписток, то есть в один непрекрасный день ее переводят в СШО. Так было, например, с милой и доброй девушкой Шиленковой. Когда я как-то вернулась из отпуска, который проводила под Москвой, эта Шиленкова, работавшая тогда в отделе кадров, пришла ко мне и стала лихорадочно расспрашивать о том, как сейчас в Москве, не лучше ли стало с продовольствием. По ее вопросам и по тем слезам, которые потекли у нее по щекам при известии, что в Москве все хуже и есть почти совсем нечего, - я почувствовала в ней «родную душу», я поняла, во всяком случае, что большевикам она не сочувствует и сочувствовать не может.

- У меня, знаете, мама и сестры в Москве. И они все такие беспомощные, не умеют устраиваться. Все сестры работают, но получают гроши и голодают. А я здесь так хорошо живу, прямо совестно.

И вот эту-то Шиленкову забрали через несколько месяцев в СШО. И, думаю, забрали именно потому, что была она какой-то уж очень безобидной, и потому, что ее легко можно было запугать. Такая уж не выдаст секретов и тайн, так как будет бояться и за себя, и за родных. На характере ее эта перемена службы сказалась очень скоро. Она тоже стала как-то сторониться всех нас, очевидно, боясь, чтобы ее не заподозрили в разглашении тайн.

## «Контофот»

Одним из подсобных органов секретно-шифровального отдела в торгпредстве является «Контофот». Познакомилась я с этим отделом чисто случайно и вот каким образом.

В бюро прессы к Бродзскому ежедневно приходили посетители-немцы, то от какой-нибудь газеты, то от агентства, то от германских фирм. Сижу я как-то за столом и веду по телефону оживленную беседу с господином Лоренцом из Берлинской торговой палаты. Ох уж этот господин Лоренц, много он крови мне напортил! Он, видите ли, являлся в то время синдиком палаты и решил, никогда не бывав в СССР и совсем почти не зная русского языка, написать книгу о торговых отношениях с СССР. Нужно сказать правду: Олигер, уезжая, предупредила меня:

- Тут вам каждый день будет звонить некий господин Лоренц. Он всегда хочет знать массу вещей и притом со всеми подробностями. Ввиду того, что книга, которую он хочет опубликовать, все же может стать пособием для советско-германской торговли, то с ним надо обращаться вежливо и давать ему все необходимые сведения, конечно кроме секретных.

И действительно: в первые же дни после моего вступления на должность референта бюро прессы и информации, когда я - не имев до тех пор никогда в жизни практики телефонного разговора по-немецки - трепетала и обливалась потом при каждом телефонном запросе, - господин Лоренц стал осаждать меня вопросами. Нечего и говорить, что половины их я в то время вообще не понимала, а на другую половину - отвечала невпопад и без особого знания дела. Господин Лоренц, однако, принадлежал к очень настойчивым

людям, к тем, что на добром русском языке называются въедливыми и дотошными. Бывали дни, когда он по полчаса не отпускал меня от телефона. Принимая во внимание путаницу в таможенных законах вообще, а в советских – в частности, и постоянные изменения в законодательстве – можно себе представить, как трудно было Лоренцу довести до конца свой труд.

Он ежедневно давал мне новые и новые задания – выяснить для него то или другое, запросить Москву о том-то и том-то, вычислить для него то-то и то-то. Кроме того, в первое время он, при всем своем немецком добродушии и терпении все же выходил иногда из себя и негодовал, как это я его не понимаю или как это я чего-нибудь не знаю наверное. Впоследствии, впрочем, мы с господином Лоренцом стали добрыми друзьями. Когда вышла, наконец, из печати его книга – толстенный том на 800 страницах и стоимостью в 24 марки, – он мне его даже презентовал. Однако, повторяю, мне от этого было не легче. В первые недели я каждый раз с ужасом ждала его звонка и с облегчением вздыхала, когда день подходил к концу без его вызова. Но вдруг, в самый последний момент – тр-р-р-р-р-дзинь...

– Informationsburo der Russischen Handelsvertretung.

– Hier Dr Lorenz, guten Tag, ich mochte um eine kleine Auskunft bitten<sup>[28]</sup>.

Так вот, в тот день я как раз сидела погруженная в один из таких оживленных разговоров с Лоренцом, обложенная книжками и справочниками и злая, как Вельзевул.

В это время кто-то постучал в дверь. Крикнула:

– Herein!

Вошел какой-то господин с портфелем и спросил, может ли он видеть Бродзского. Я, не отрываясь от

телефона, показала ему на дверь справа. Через минут десять, когда разговор с Лоренцом достиг своего апогея, из кабинета вышел Бродзский, неся в руках какую-то бумажку.

- Тамара Владимировна, бегите скорее в «Контофот» и скажите, что я прошу сделать с этой бумаги снимок и поскорее. Вы там подождите и сейчас же принесите его мне, а я буду в библиотеке у Адлер.

С злорадством в душе я крикнула в трубку Лоренцу, что должна экстренно отлучиться и прервать разговор. Он выразил свое сожаление, но сказал, что через полчаса еще раз позвонит. От Лоренца трудно было отделаться. Это был в высшей степени настойчивый и неуклонно идущий к своей цели господин.

Спрашивать у Бродзского, где «Контофот», я не стала, он бы постарался сыронизировать - бюро информации, а чего-то не знает! - и побежала вниз к своей приятельнице Зинаиде Васильевне. Она работала в торгпредстве уже два года и знала все ходы и выходы.

- «Контофот»? Это внизу, рядом с хозяйственным отделом и экспедицией. Там на двери написано: «Unbefugten Eintritt verboten»<sup>[29]</sup>, вы постучите.

Спустилась вниз, нашла дверь, постучала. Дверь бесшумно отворилась, и я очутилась опять-таки в маленьком коридорчике. Из боковой дверки вышла служащая и спросила, что мне надо. Я передала ей просьбу Бродзского. Тогда она, словно нехотя, впустила меня внутрь. Почти вся комната была занята репродукционной камерой. В углу стоял прожектор. Служащая прикрепил подавший мною лист к экрану камеры, осветила его прожектором, повернула какие-то рычаги. Затем ушла в темную комнату, проявила, промыла в тут же стоявшем бассейне, высушила

электричеством, запечатала в конверт и отдала мне. Вся процедура заняла не больше десяти минут.

Неся конверт обратно, я очень хотела узнать, что именно могло так заинтересовать Бродзского. Но конверт был запечатан. Мой шеф ждал меня в библиотеке, и мы вместе вернулись в бюро. Оказалось, что это имело какую-то связь с тем господином, который у него ждал. Прикрывая за собой дверь в кабинет, Бродзский любезно ему сказал:

- Я не нашел заведующего, он как раз вышел. Не будете ли вы любезны зайти завтра?

Через несколько минут господин ушел. Больше я его не видела, но разгадка наступила уже на следующий день.

Как и во всяком большом городе, в Берлине есть частные детективные бюро, одним из которых является *Auskunftei*. Для проверки тех или иных своих клиентов берлинское торгпредство пользовалось услугами именно этого бюро. Когда на следующий день я пришла на службу, на столе лежали, как всегда, десятка два писем и открыток, и между ними было письмо со штемпелем *Auskunftei*. Очевидно, машинистка, ходившая за почтой вниз, по ошибке положила его на мой стол. Ничего не подозревая, я вскрыла конверт. Там были сведения о каком-то человеке - фамилии точно не помню - и говорилось, между прочим, что он - бывший белый офицер, эвакуировавшийся из России с армией Врангеля. Теперь он состоит на службе у такой-то фирмы.

Поняв, что письмо адресовано не ко мне, я отнесла его своему шефу. Тот пробежал справку и сорвался с места.

- Вот видите, как хорошо, что я дал вчера переснять его удостоверение и фотографию. Ведь является этаким молодчик, как представитель солидной фирмы, «фон» такой-то, по-немецки говорит как бог. Говорю: «Имеете

ли вы полномочия?» В ответ дает удостоверение с места службы с фотографической карточкой. Но что-то в его манере держать себя показалось мне сомнительным. А теперь оказывается – белогвардеец. Нет, каков нюх у меня, а?

И Бродзский довольно зашагал по кабинету.

– Уж теперь мы этого молодчика и на порог не пустим в торгпредство, занесем в черные списки и баста.

Я стояла, и у меня все трепетало внутри от беспомощности, от сознания, что вот я пусть невольно, а все же как-то повредила неизвестному своему единомышленнику. А сам Бродзский, которого я сперва имела наивность принять за «приличного» большевика, оказался таким же, как и все другие. Мне почудилось на секунду, что под его холеными усами мелькнул оскал зубов. Мелькнул и исчез... Но впечатление осталось уже навсегда. Себя же я в душе проклинала за свою несообразительность, за то, что не скрыла этого письма, не порвала его и не бросила в корзинку. Впрочем, тогда все равно запросили бы «Auskunftei» вторично.

Приблизительно годом позже в мою почту попал объемистый пакет, адресованный по-русски: «Центральному совету немецких профсоюзов». Почерк был корявый и совершенно явственно безграмотный, так что даже добросовестная и аккуратная немецкая почта не смогла выяснить, кому и куда именно адресовали пакет. Доставили в торгпредство, так как это учреждение в глазах немцев было русским и получало из России большую почту. А так как никакой определенный отдел торгпредства на конверте не значился, принесли его в Бюро прессы и информации.

В комнате как раз никого не было. Я вскрыла конверт – жалкий, желтый советский конверт; внутри

оказалось длиннейшее послание на шестнадцать страницах, написанное карандашом вкривь и вкось, с массой ошибок и совершенно без знаков препинания! Письмо было из Ростова, и в нем от имени рабочих и крестьян Донской области автор умолял немецкие профессиональные союзы обратить внимание на бедственное и безвыходное положение пролетариата под властью «душегубов-большевиков» и перечислял большевицкие козни и произвол, эксплуатацию и издевательства. Все это было написано так просто, так наивно и так чисто по-русски – с надеждой на то, что немецкие социал-демократы так-таки действительно возьмут и повлияют на большевиков. Письмо заканчивалось призывом: «Братья, помогите, кто в Бога верует, а уж мы в долгу не останемся».

Я читала, и глаза мои под конец уже ничего не видели от слез. Что же делать с этим письмом? Оставить у себя в столе? Так ведь ГПУ почти каждую неделю производит поголовный обыск во всех помещениях и столах торгпредских служащих. Для этой цели мобилизуются поочередно чекисты и особо надежные коммунисты, несущие в данный день дежурства по торгпредству, и обходят поздно вечером все комнаты. Когда утром приходишь после такого обхода на службу – то на столах и в столах находишь все не на том месте, куда клал. Вынести письмо из здания торгпредства и постараться, чтобы оно действительно дошло по назначению? Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Но вдруг завтра кто-нибудь хватится этого письма? Вдруг – это западня, очередная чекистская провокация?

Несчастный подсоветский человек! Он никогда не может быть самим собой, он всегда боится предательства и провокации. За ним следят сотни глаз, а если иногда эта слезка каким-то образом ослабеваает, ему самому все же чудится, что она есть...

В коридоре раздались шаги у самой моей двери. Я похолодела: войдут, захватят письмо, потом наведут в Ростове справки, могут узнать автора, тогда ведь ему грозит неминуемый расстрел. Удивительно, как вообще это письмо проскользнуло мимо советской цензуры... Лихорадочно скомкала я письмо и сунула в свою сумочку.

Вошел Андерс и подошел вплотную к моему столу.

- Товарищ Солоневич, не можете ли вы мне сказать, кто у нас теперь ведает закупкой оптических приборов? Ведь Пурица, кажется, перевели в Гамбург?

У меня отлегло от сердца. Ему нужна только справка.

А вечером, выйдя из торгпредства, я зашла в ближайшее почтовое отделение, отыскала в телефонной книге адрес Центрального совета германских профсоюзов, вложила ростовское письмо в другой конверт, приложила маленькую записочку - вскрыто по ошибке, попало не по адресу - и отправила по назначению. Я думаю, что на это письмо тогда никто не обратил внимания, так как, хотя в то время в Германии еще и не было «Народного фронта» наподобие теперешнего французского, но была все же «симпатия» социал-демократов к «авангарду мирового пролетариата», хотя этот «авангард» и пакостил «социал-соглашателям» чем и как мог. Но в тот вечер у меня было хоть маленькое удовлетворение: письмо дошло по назначению, смелые люди из Ростова могут спать спокойно. И еще сознание, что я выполнила хоть какой-то маленький долг.

## Как ездят в отпуск

Месяц за месяцем пробежали почти полтора года, и мне полагался, как говорят в СССР, «декретный» отпуск. Я могла провести его, подобно другим торгпредским служащим, либо на германском курорте, либо поехать с экскурсией в Италию или Францию, словом – посмотреть мир. Но муж мой оставался все это время в одиночестве, да еще в Советской России, что, по существу, не много веселее, чем тюремное заключение. Мы с Юрчиком долго решали, как нам быть, и пришли к заключению, что для того, чтобы отец поменьше оставался один, мы поедем в Салтыковку в две смены. Сперва я, а потом Юра.

Отпуск в СССР! Для каждого советского служащего добровольная поездка в советский рай представляется чем-то неприятным, тревожным и опасным, независимо от того, что их ожидает там близкий сердцу человек. Этот отъезд сопряжен с большими хлопотами, беспокойством и бесчисленными приготовлениями.

Как я уже писала раньше, в СССР непрерывно царит товарный голод. Каждый командированный за границу считает себя уже потому счастливым, что он может одеться сам и привезти своим близким в подарок хотя бы самое необходимое, чего в СССР не достать. Но тут перед ним встает преграда в виде пресловутой нормы. Есть два стандартных списка – один поменьше, другой побольше, причем едущий только в отпуск может взять с собой «малую норму». Вот тут-то и начинается трагедия. Ибо никто из едущих в СССР в отпуск не знает – вернется ли он снова на место своей службы или его оставят в России безо всякого предупреждения.

Это, между прочим, одна из своеобразных черт советской системы: совершенно не считаться с

интересами отдельного индивидуума, более того – всячески им пренебрегать. Упрощая, можно было бы подумать, что советская власть старается сделать своим подданным все назло! Ибо, кажется, так просто было бы предупредить назначенного к откомандированию служащего за месяц, дать ему возможность собраться, купить все необходимое, поносить новую одежду (так как через границу можно везти только подержанные вещи) и потом дать ему спокойно уехать. Но это означало бы действовать согласно здравому смыслу. У большевиков же все шиворот-навыворот. И поэтому едущий в отпуск в Россию должен готовиться к самому худшему. Должен закупить вещей, как если бы он уезжал навсегда, поносить их и перестирать, уложить их, как полагается, и, уезжая, поручить квартирной хозяйке, чтобы она, в случае его невозвращения, отправила их в СССР, проделав предварительно все необходимые формальности в торгпредстве.

Это и многое другое и является причиной того, что торгпредский служащий по мере своих сил старается домой в отпуск не ездить и делает это лишь в самых исключительных случаях. Мой случай и был исключительным. Как-никак семья наша была разделена на две части, и время от времени нужно было ее соединять.

По мере того как в СССР проводилась коллективизация и создавался голод, стали уменьшаться экспортные контингенты. Уже не стало жирных гусей, которые еще в 1927 году продавались по дешевке в крупных берлинских магазинах Тица, не стало сибирского масла и прочего. Стало меньше и валюты. Тогда советская власть взялась за ум и постановила: все советские служащие за границей обязаны проводить отпуск в СССР. Ибо таким образом сберегается известная часть валюты, которая раньше

разбазаривалась по французским и итальянским ривьерам. Кроме того, не так «разлагаются» служащие. Окунаясь ежегодно в родную советскую грязь, бестолочь и голодуху, они не столь заметно европеизируются и не так брезгливо морщат нос, когда им приходится возвращаться в СССР навсегда. Распоряжение о проведении отпусков в СССР пришло, однако, лишь в 1930 году, а мой первый отпуск в 1929 году я провела в России совершенно добровольно.

Приезжая в Москву, отпускник обязан немедленно явиться в Наркомвнешторг и сдать там свой заграничный паспорт. Тем самым он автоматически превращается в ничто и попадает в лапы всемогущего ГПУ. Весь отпуск, таким образом, пронизывает сплошное ожидание довольно неприятного свойства: разрешит ли ГПУ выехать обратно? Только за три дня до отъезда за границу служащий получает свой заграничный паспорт и визу.

За те три с четвертью года, которые я проработала в берлинском торгпредстве, было не менее тридцати случаев, когда служащий, уехав в отпуск или командировку, больше не возвращался в Берлин. Чаще всего тот или иной инженер или вообще специалист вызывался в Москву по якобы срочному делу, а затем не получал визы обратно.

Стенографистка Р. уехала в отпуск к мужу, оставив в частном Kinderheim своего двухлетнего ребенка. Прошел месяц, потом еще месяц – ее все нет. Сотрудницы ее стали беспокоиться – что же с ней? Организовали дежурства посещения ребенка в Heim'e.

Наконец пронесся слух, что она оставлена в Москве и прислала письмо местному с просьбой похлопотать о том, чтобы она могла вернуться в Берлин только на три дня – взять ребенка и собрать вещи. Местком канителил недели две и, несмотря на умоляющие письма и телеграммы матери, ответил отказом. Он ничего не

может сделать, а денег на дальнейшее содержание ребенка у него нет. На беду ребенок как раз заболел корью. Мать в Москве сходила с ума от беспокойства. Мы – служащие – устроили между собою сбор средств и уплатили за содержание и лечение ребенка, а затем нашли одного инженера, отправлявшегося в Москву, который согласился доставить ребенка матери.

Другой случай кончился совсем трагично. В течение ряда лет в торгпредстве работал старший бухгалтер В. Это был один из тех добросовестных служаек, которые сидят за своим грессбухом, политикой не занимаются и уверены, что их поэтому никто тронуть не может. Последние два года он был заместителем заведующего финансовым отделом торгпредства, оказал большие услуги по составлению годового отчета и вообще имел репутацию скромного и трудолюбивого человека. Жена его – красивая седая женщина – тоже работала, а две дочери учились в немецких школах.

Подобно Никитину, ему удалось продержаться в торгпредстве дольше других, причем он ни разу не ездил в отпуск в СССР. Правда, и отпуска-то он несколько последних лет совсем не получал – ему за это выплачивали денежную компенсацию. Это часто делается с хорошими, трудно заменимыми работниками.

И вот приходит он однажды к нам, в бюро информации.

– Здравствуйте, Тамара Владимировна, хочу вас сегодня и я наконец потревожить.

– А что, неужели откомандировывают?

– Нет, только в отпуск еду. Уговорили, знаете ли. Товарищи из Дерулуфта предлагают бесплатный проезд туда и обратно на аэроплане. Ну как тут не соблазниться.

– Да уж, действительно, просто можно вам позавидовать.

- Хочу вот узнать, сколько чего мне с собой можно брать?

Умудренная горьким опытом, я сказала:

- Знаете, что я вам посоветую. Купите себе все новое, вдруг вас там оставят; а тогда жене вашей здесь ведь трудно будет все для вас заказывать, да и не пропустят тогда новых вещей.

- Нет, что вы, Тамара Владимировна, у меня баланс на носу, здесь меня некем сейчас заменить. Не оставят.

Он обладал врожденным оптимизмом, а кроме того, был все эти годы слишком погружен в свою работу и многого не замечал из того, что вокруг него делалось. В теперешней России хоть и редко, но все же еще попадаются такие типы.

- Ну, как хотите, а только береженого и бог бережет.

Взяв список «малой нормы», он вышел, крепко пожав мне руку.

Прошел месяц. В суете повседневной работы я совершенно забыла о нем. Но как ни стараются большевики обделывать некоторые свои делишки в тайне, слухи о них просачиваются какими-то совершенно непонятными путями.

- А вы слышали, бухгалтер не вернулся.

- А вы знаете, его жена плачет целыми днями.

- Говорят, что его арестовали и держат на Лубянке.

- В. больше не вернется, и жена немедленно вызывается в Москву.

Все эти слухи долетели, наконец, и до меня. Я вспомнила наш последний разговор и подумала: при большевиках нельзя, грешно быть оптимистом. Надо всегда предполагать самое худшее.

Но самого худшего, оказалось, и я не предполагала. Да и кому могло бы такое прийти в голову!

Наш бухгалтер прилетел в Москву, погостил у своих родственников где-то в Коломне, отдохнул, пришел в

Наркомвнешторг за паспортом, получил безо всякой задержки визу и зашел в правление Дерулуфта, где ему дали билет на отлетающий через два дня в Берлин аэроплан.

Ранним утром в день отъезда он с радостным чувством приехал на московский аэродром, довольный, что снова возвращается в Германию к семье, которую он горячо любил. С чемоданчиком в руке он пошел вместе с остальными немногочисленными пассажирами к аэроплану. У входа еще раз проверяли паспорта и визы.

Пилот дерулуфтовского аэроплана, который затем виделся с женой бухгалтера в Берлине, был свидетелем, как все произошло, и подробно ей обо всем рассказал. Чекист, просматривавший паспорта, долго разглядывал паспорт бухгалтера В. Потом, махнув рукой, чтобы заводили моторы, сказал ему сухо:

- Гражданин В., у вас не все в порядке, вам придется остаться.

Бухгалтер побледнел, как стена, и растерянно оглянулся кругом.

- Как же так, товарищ, ведь в Наркомвнешторге мне сказали, что я могу ехать. Да и в торгпредстве меня ждут, там срочная работа - баланс...

Дальнейшего, за шумом моторов, слышно не было. Бухгалтер еще хотел что-то крикнуть по направлению отделившегося от земли аэроплана, потом пошатнулся и упал. Его подхватили под руки. Больше пилот ничего не видел.

Жену бухгалтера вызвали в Москву телеграммой. Позже пришло от нее печальное известие, что муж ее скончался тут же на аэродроме от разрыва сердца.

Со стороны это может показаться невероятным и даже смешным. Но бухгалтер В. страдал пороком сердца. Неожиданность, да еще так коварно

инсценированная, была для его сердца таким потрясением, что оно не выдержало.

После всего рассказанного, можно себе представить, что, уезжая в отпуск в СССР, я чувствовала себя не особенно уютно. Благодаря постоянному общению с приезжающими и отъезжающими служащими я узнала многие ухищрения для обхода бдительности советских таможенных чиновников. Не буду на этих страницах о них говорить – пусть наши бедные подсоветские и дальше провозят свое добро на здоровье. Скажу только, что мне удалось провезти домой значительно больше нормы. Впервые за долгие советские годы на нашем столе в Салтыковке лежали первоклассные копченые колбасы, сардинки и изящные треугольники всяких сыров. Приглашенные на пиршество знакомые качали головами и говорили:

– Вот как живут за границей...

Какой грязной и неуютной казалась Москва после Берлина! Глаз привык уже за полтора года к асфальту, к чистоте, к автомобилям, к хорошо одетой толпе. Москва встретила меня прежде всего дореформенными «ваньками», причем лошади их были тощи как Россинант, а пролетки оборваны и обшарпаны. За такси стояли очереди, и происходили драки между желающими проехаться. Так было в 1929 г. и в последующие годы, так это и теперь. Недавно приехавший из Москвы иностранный дипломат подтвердил мне это. Просто не верилось, чтобы в то время, как в Европе люди живут комфортабельно и сытно, ибо даже безработный там, в сущности, не голодает, в этой огромной, неистощимо богатой своей землей и недрами стране – царит такой хаос, голод и беспорядок!

Маленькая деталь в качестве характеристики этого хаоса: во время отпуска я почти каждый день

приезжала из Салтыковки в Москву по всяким делам. Промучившись в переполненном грязном вагоне третьего класса (в дачных поездах вокруг Москвы до сих пор второго (мягкого) класса не имеется), я, наряду с остальными, с бою брала трамвай, шедший по Земляному Валу, Покровке и Маросейке. и сходила на площади перед Китай-городом. В это лето, как и всегда, Москва чинила свои мостовые. Груды камней беспорядочно загромождали улицы. На месте официальной трамвайной остановки у самых рельс был навален булыжник, и трамвай изо дня в день останавливался так, что пассажирам приходилось спрыгивать как раз на эту грудку камней. Принимая во внимание, что это одна из самых центральных остановок, что здесь проходит десяток других трамваев и что все они переполнены до отказа спешащими на службу людьми, можно себе представить - как это удобно и какие сцены при этом разыгрываются. Люди портят себе обувь и нервы, многие падают и ушибаются. Но как вагоновожатый, так и кондуктор смотрят на это безразлично и даже не без некоторого злорадства. Поражает при этом полное отсутствие заботы о человеке и медленные темпы ремонта.

А разве городская администрация предупреждает пассажиров, если трамвай изменил временно маршрут? Да никогда и ни за что! Люди собираются толпами, тщетно ждут, ругаются, волнуются и теряют массу времени для того, чтобы, в конце концов, узнать, что трамвай идет не по этой, а по другой улице. В Берлине в таких случаях на столбах всех трамвайных остановок данного маршрута вывешивают точный план следования трамвая.

А пресловутая милиция? Наркомвнешторг за время моего отсутствия из Москвы изволил переехать в другое помещение, причем мне назвали только улицу, а номера дома не сказали. Я подошла к стоявшему на углу этой

улицы милиционеру и спросила, не знает ли он – где Наркомвнешторг. Милиционер – молодой парень – исподлобья посмотрел на меня и буркнул:

– А кто его знает.

Но я решила не сдаваться.

– Ведь вы же, товарищ, – милиционер. Должны знать, где находятся правительственные учреждения, это должно быть где-то на этой улице.

Он безразлично смотрел вдаль.

Я не отставала.

– Разве у вас нет справочника, плана Москвы, с указанием всех главных учреждений?

Милиционер наконец вышел из себя:

– Проходи, проходи, гражданка, чего пристала!

А у меня невольно вставал в памяти берлинский «шупо» в ладно прилаженной темно-синей форме, в блестящей черной каске, любезный и приветливый – ибо государство этого от него требует, – который даже в самом водовороте берлинского движения, среди сотен автобусов и автомобилей, вынет из кармана справочник и до тех пор вас не отпустит, пока точно и толково не объяснит со всеми подробностями, как именно и где именно вам найти желаемый адрес. И в душе снова и снова поднималось возмущение. Так мелочи делают жизнь культурной и удобной. И так мелочи портят нервы и существование.

Пришлось идти разыскивать Наркомвнешторг кустарным способом, останавливая прохожих:

– Простите, гражданин...

Но самое возмутительное было то, что Наркомвнешторг оказался на том самом углу, где стоял вышеуказанный милиционер. Сдав паспорт и выйдя снова на улицу, я все-таки решила еще раз наставить его на путь истинный.

– Товарищ милиционер, – начала я, – ведь то учреждение, о котором я спрашивала, оказывается, у

вас под носом. Как же вы не знаете, где оно находится? Я пожалуюсь на вас в управление милиции.

Но тут произошло нечто совсем уже неожиданное. Лицо милиционера как-то сморщилось, точно он собирался заплакать, и, чмухнув носом, он произнес:

- Откедова же нам все знать, ведь мы три месяца, как из деревни. Богороцкие мы.

И вдруг мне стало его жаль. Действительно, откуда ему знать, если власть не заботится о том, чтобы он знал, если через три месяца после прихода из деревни его, еле обученного, еще неотесанного, власть уже ставит на ответственный пост милиционера в самом центре Москвы. Виноват ли он в том, что столичный милиционер получает ни больше ни меньше, как 57 рублей в месяц жалованья? Что такое 57 рублей при московской дороговизне? И кто пойдет на эту работу? Немудрено поэтому, что текучесть милицейских кадров достигает невероятных размеров, и московский милиционер - это существо по большей части малотренированное, малокультурное и полуграмотное.

## Юрино приключение

Когда я вернулась из отпуска в Берлин, меня встретил на вокзале сияющий Юра и сразу же спросил:

- Мутик, теперь и я, наконец, поеду к папе, да?

И хотя я знала, что поезд Берлин - Москва идет почти без пересадки - надо только в Негорелом перейти из вагона в вагон, - все же у меня дрогнуло сердце. Мой мальчик еще не ездил один, а тут все-таки предстояло путешествие в две тысячи километров, да еще и через две границы. Но ехать было надо уже по одному тому, что между Иваном Лукьяновичем и Юрой были исключительно дружеские и любовные отношения, и нельзя было, чтобы сын отвыкал от отца. Снарядив Юру в путь-дорогу, я просила его не выходить ни на каких станциях из вагона и особенно быть осторожным в Варшаве, где поезд во время стоянки переводится на другой путь. Я собственноручно упаковала его чемоданы, снова наложив в них разных съестных продуктов. У Юры как раз начались каникулы, и он мог пробыть в Салтыковке до самого их конца. В последние дни было много беготни из-за виз и паспорта, так как Юра первоначально был занесен в мой личный паспорт, а полпредство выдавать ему отдельный отказалось. Юре было тогда всего тринадцать лет. Дали какое-то временное удостоверение на один проезд, и на него была поставлена польская транзитная виза, без права остановки в Польше.

- А как же мой сын вернется обратно? - спросила я в полпредстве.

- Там найдут кого-нибудь в Наркомторге, кто будет ехать за границу, и его к нему прицепят.

Выходило как-то очень неясно, и у меня мелькнула даже мысль, что, может быть, моего сына обратно и не

пустят.

Ясно помню теплый, летний вечер, довольное лицо Юры, улыбавшегося мне из окна вагона, а через одно купе от него – лицо жены кинорежиссера Пудовкина, которая как раз за несколько дней до того заходила ко мне в бюро за справками и которую я очень просила присмотреть за Юрой в пути.

– Счастливого пути, Юрочка!

Когда задние огни последнего вагона скрылись в темноте, мне стало как-то странно пусто на миг в огромном Берлине. Я зашла на телеграф и сообщила мужу, что Юра выехал.

На следующий день было воскресенье, и я была дома. В 10 часов утра моя хозяйка, милая старенькая фрау Гофман, постучала в дверь моей комнаты:

– Вам телеграмма.

Я испугалась. Телеграмма сама по себе вызывает во мне – да я думаю, и во многих – чувство какого-то страха, чего-то неизбежно-неприятного. А тут я сразу же поняла, что с Юрой что-то случилось.

В телеграмме стояло: «Остался Варшаве. Юра».

Мысли завертелись вихрем в голове. Вот те раз! Остался в Варшаве! Очевидно, отстал от поезда? Вещи уехали дальше без него. Денег у него с собой кот наплакал. Что же теперь будет!

По совету хозяйки я вызвала по телефону из ближайшего ресторана – тут я особенно оценила прогресс современной культуры – начальника варшавского вокзала, и, хотя упрямый поляк делал вид, что ни по-русски, ни по-немецки нечего не понимает, мне удалось добиться от него обещания, что он сделает все от него зависящее, чтобы помочь моему сыну.

В тот год в Варшаве, судя по газетам, как раз накрыли какую-то шайку, воровавшую подростков, и поэтому мне в голову полезли самые фантастические

мысли. А вдруг на вокзале к Юре подойдет один из агентов такой шайки, сделает вид, что принимает в нем участие, а потом заведет его куда-нибудь, и мне даже следов его не найти! Словом, любая мать поймет мое тогдашнее положение. Два дня я была ни жива ни мертва, и только на третий вздохнула свободно, когда пришла телеграмма от мужа о благополучном прибытии Юры в Москву.

С Юрой, по его рассказам, произошло следующее: несмотря на мои предостережения, он все-таки умудрился выйти на вокзал выпить содовой воды. Правда, он предварительно справился у проводника, сколько минут будет стоять поезд, но, когда он вернулся, поезда уже не было, так как оказалось, что он запаздывает и поэтому простоял меньше обычного. Даже у взрослого, при подобном происшествии, начинает сосать под ложечкой и он чувствует себя прескверно. Могу себе представить, как испугался Юра. Некоторое время он застыл на месте от неожиданности, но потом сообразил послать мне телеграмму и пошел заявить о своем опоздании дежурному по станции, прося его телеграфировать на границу, чтобы там задержали его багаж. Там же он справился, когда идет следующий поезд Берлин – Москва. Ему ответили, что на следующее утро, в 8 ч. 30 м. Видя, что перед ним целые сутки времени, он совершенно резонно решил осмотреть город. Побродив немного вокруг вокзала, от которого, однако, особенно удаляться боялся, он набрел на какую-то захудалую гостиницу, и, так как от перепуга чувствовал себя усталым, начал переговоры со швейцаром, где бы ему поспать. Ввиду того, что денег у него было мало, а комната стоила дорого, швейцар (оказавшийся тоже русским) разрешил ему прикорнуть тут же в швейцарской на диванчике. Когда Юра проснулся, смеркалось, и он решил, что это уже утро и что ему надо бежать на вокзал. Уплатил швейцару и

пошел. Спросив, на какую платформу приходит поезд, он стал ходить по ней взад и вперед. Вдруг перед ним вырос польский жандарм и спросил его, не тот ли он мальчик, который отстал от поезда. На утвердительный его ответ жандарм заграбастал Юру и повел его в комендатуру.

Начальник строго на него воззрился.

– Это вы бежали от своих родителей?

Юра стал объяснять, что это недоразумение, что он ехал с согласия родителей, но начальник стоял на своем, говорил, что-де мать звонила из Берлина и что, одним словом, решено отправить Юру в Берлин.

– Кстати, через полчаса идет поезд.

Юра удивился.

– Как, разве это поезд на Берлин? А мне сказали, что в 8.30 отправляется поезд на Москву. Да, в 8.30 утра, а в 8.30 вечера – на Берлин.

Оказалось, что, проспав день и проснувшись в сумерках, Юра решил, что проспал также и ночь, и поэтому чуть-чуть не попал в обратный поезд. Теперь ему хотелось как можно скорее «смыться» из комендатуры, и он сказал, что идет посмотреть – не пришел ли поезд.

Выйдя на перрон, он постарался незаметно пробраться к выходу и вышел на улицу, а потом добрался и до своего диванчика в швейцарской. Денег у него оставалось мало, но швейцар вошел в его бедственное положение и позволил ему переночевать. Половину ночи какие-то подозрительные типы дулись в той же швейцарской в карты, а под утро Юра наконец уснул. В 8:20 утра он отбыл благополучно, причем носильщик, который накануне давал ему справку, сообщил ему, что багаж его задержан на польской пограничной станции Столбцах. Поезд в Столбцах стоит недолго, так что я до сих пор диву даюсь, как это тринадцатилетний мальчик успел сбежать за этот

короткий промежуток времени на станцию, объяснить, в чем дело, получить чемоданы и втащить их в вагон. Юра рассказывал, что последний чемодан он уже втаскивал на ходу, когда поезд начал медленно двигаться.

Жена Пудовкина, которая приехала в Москву на сутки раньше Юры и которая не заметила его внезапного исчезновения, не могла никак успокоить встревоженного Ивана Лукьяновича, когда тот, получив мою телеграмму о том, что Юра застрял в Варшаве и чтобы он навел справки у Пудовкиной, разыскал ее по телефонной книге где-то в Замоскворечье. Ей и в голову не пришло во время пути хоть раз заглянуть в соседнее купе.

Через полтора месяца каникулы кончились, но я никак не могла добиться, чтобы Юра вернулся в Берлин. Между мужем и мной велась по этому поводу частая и энергичная переписка; он чуть ли не ежедневно обивал пороги Наркомвнешторга, я, в свою очередь, теребила местком, но как-то все получалось так, что выезжавшие из Москвы за границу служащие или не хотели, или не могли взять Юру на свой паспорт.

Время шло, мы все нервничали, из немецкой школы присылались запросы и напоминания, а Юры все не было. Наконец, путем всяких ухищрений и лазеек, мужу удалось познакомиться с отъезжавшей в Берлин новоназначенной стенографисткой. Ей было обещано, что Юра, который уже был за границей, сможет в дороге ей быть очень полезным, что я в торгпредстве тоже у нее не останусь в долгу. В начале октября, с большим запозданием, Юра вернулся наконец в Берлин. В Советской России всякое мероприятие, каким бы незначительным оно ни было, стоит и нервов, и денег, и хлопот. Поэтому мой отпуск и каникулы сына, при которых к тому же надо было переезжать через две

границы и получать разные визы, обошлись во всех смыслах очень дорого.

## Товарищ Житков

Вернувшись из отпуска и отправив Юру к отцу, я в назначенный день приступила к исполнению своих обязанностей в бюро информации. Входя в первый раз в свою служебную комнатку, я думала: кого-то мне теперь пошлет ГПУ в наблюдатели? Антонов давно уже был откомандирован в Москву, Радвани посвятил себя всецело Рабочей коммунистической академии, которую Коминтерн открыл в Берлине, так что я перед отъездом в отпуск знала, что после возвращения найду нового соседа.

И действительно, за столом против меня сидел сравнительно молодой человек, лет тридцати, с иголочки одетый в новый костюм, с шикарным галстуком и даже при манжетах. Я поздоровалась и назвала себя. Он встал с аффективно дружески протянутой рукой, обошел вокруг стола и стал здороваться со мной так, как будто бы мы были уже лет десять знакомы.

- Тамара Владимировна, очень приятно, что вы наконец приехали. Позвольте представиться - Житков, можете называть меня просто Жоржем.

- Ну, это неудобно, скажите ваше имя и отчество.

- Нет, нет, что вы, какие официальности! Меня все называют Жоржем, почему же вы будете исключением!

- Ну, раз вы настаиваете...

- Ха-ха-ха, конечно, настаиваю. Так сразу как-то сердечнее выходит. Ну, как вы, Тамара Владимировна, съездили? Хорошо в Москве небось? Тут рассказывают всякие контрреволюционеры, что там якобы в связи с коллективизацией голод начинается, но это, конечно, вздор, у нас - да голод? Мы - самая богатая страна в мире. Не так ли, Тамара Владимировна? Тяжело было

уезжать из Москвы, правда? Я, знаете ли, ужасно не хотел ехать на заграничную работу, но меня партия послала. Настаивали во как: поезжай, Житков, да поезжай. Ты нам там нужен. Уж я отбрыкивался, как мог, а они все как насели... Ну, пришлось ехать.

- Вы давно уже в Берлине?

- Да скоро три недели. Народу тут много приходило, все вас спрашивали, за справками, ну, я им тут справки давал.

- Как же вы давали, ведь вы правил не знаете?

- Не беда. Они тут все спрашивают - можно ли везти в СССР то или это? Ну, я им все разрешал. Вези, говорю, браток, ни черта не будет.

- А если у него на границе отберут?

- Ну так что же! Ха-ха-ха, не важно. Таможне больше останется. Дамочки тут тоже всякие приходили, немецкие. Ну, а я по немецки плоховато, то есть в Москве проходили курсы, но только с грамматикой у меня совсем швах. Ну, так я больше все глазами, да жестами с ними разговаривал. Ничего, понимали.

- А откуда вы знаете, что меня зовут Тамара Владимировна?

Житков захохотал.

- Да как же не знать, я все знаю: и как вас звать, и где вы живете, и когда вы вернулись. Это хорошо, что вы сына-то в Москву отправили, пусть парнишка не отвыкает от Советской страны.

С водворением Житкова в моей комнате работать по-настоящему стало чрезвычайно трудно. Это был исключительно веселый, говорливый и абсолютно не желавший работать человек. Мне не было ясно, зачем, собственно, партия отправила его за границу. Он работал до того в ЦК ВКП(б), то есть в Центральном комитете Всесоюзной Коммунистической партии, имел две комнаты в бывшей Лоскутной гостинице, в самом центре Москвы. Не хочется мне на этих страницах

распространяться обо всем известном и много раз описанном жилищном кризисе в Советской России вообще, а в Москве – в частности. Найти комнату в Москве считается большой удачей и стоит крупных денег, ибо надо прежде всего дать отступного, а затем платить рублей триста в месяц. Часто бывает, что в одной комнате живут две семьи. Потому легко себе представить, что за птица был Житков и какую роль он играл в ГПУ, если ему – одинокому – были предоставлены две комнаты и если платил он при этом всего-навсего 23 рубля 75 копеек в месяц.

До командировки его за границу Житков учился в Московском университете. Что он там делал – осталось, в сущности, невыясненным.

– Вы кончили университет?

– Еще бы не кончить! Конечно, кончил. Ведь я имею звание юриста. Конечно, сами знаете, что учиться эти годы не так-то было легко: работа в ЦК, разные партийные нагрузки, частые выезды в провинцию. Но ничего, я знаете, всегда с собой револьвер на экзамены брал. Как профессор начнет спрашивать что-нибудь, чего я не знаю, – я сейчас делаю вид, что за платком носовым в карман лезу, а потом, как бы невзначай, достану револьвер и положу на стол. И знаете, Тамара Владимировна, ни разу не сорвалось. Как посмотрит профессор на револьвер этот самый, так покраснеет, побелеет, да и говорит: «Давайте, товарищ Житков, вашу зачетную книжку». Ну и отметит, что экзамен сдан.

Я пробовала возражать.

– Но ведь если вы университет кончили, все вас считают очень знающим; но вдруг придется применить знания на деле, а вы и понятия по данному вопросу не имеете. Небось жалеете теперь, что так халатно относились?

- А чего жалеть-то? То, что мне надо, я отлично знаю. А сколько там дребедени преподают, что же, все так и надо учить, по-вашему?

Житков принадлежал к категории опасных коммунистов. Ибо имел располагающую внешность и обладал удивительной способностью быстро дружиться с людьми. Попервоначально даже человек наблюдательный почти всегда в нем обманывался. Его можно свободно было принять за рубаху-парня, за добрейшей души человека. В самом начале революции он работал молодым парнишкой в качестве почтово-телеграфного чиновника на одной из захолустных железнодорожных приволжских станций. Когда он рассказывал об этом времени, мне, глядя на него, почему-то вспоминались слова из всем знакомой песни:

Бывало, шапку наденешь на затылок,  
Пойдешь гулять ты в ночь, а поутру  
Чубчик, чубчик, чубчик так и вьется,  
Так и вьется чубчик по ветру.

У Житкова были русые волосы, серые, ласковые, немного лукавые глаза и широкая русская улыбка. Женщины перед ним так и таяли. Особенно немки. Постепенно, день за днем рассказывая мне во время службы всякие случаи из своей жизни, Житков, как бы между прочим, поведал мне о том, как он принимал участие в подавлении восстания в Поволжье. При этом тяжелая, кровавая сторона вопроса, моральные переживания - его совершенно не интересовали. Его натуре был не чужд романтизм, и было странно, как романтизм этот сочетался в нем с большой, почти бессознательной жестокостью.

- Девушка там у меня была одна в селе, красавица, я вам скажу. Все на нее заглядывались. Глаза синие с

поволокой, косы до колен, осанка, поступь, как у павы. И вот это рано на рассвете будят меня товарищи – тревога, оказывается, надо выступить на усмирение. Ну, я это в два счета оделся, шинель накинул, папаху – а красивая у меня, Тамара Владимировна, была папаха, с красным дном. Вскочил на коня, все товарищи вокруг тоже на конях. Только вспомнил – а как же краля-то моя останется, надо попроситься. Ну, ребята, подождите минутку. Коня кругом, да галопом. Подъезжаю к ее домику, а она на крылечке стоит и руки ко мне простирает. Я это с коня прямо наклонился к ней, поцеловал ее в алые уста, шашкой махнул и айда – помчался. Она как вскрикнет, да в обморок.

– Ну а вы что же, подняли ее?

– Куды тебе! Я уже мчался с товарищами, и то уж смеяться начали...

– А потом вы ее видели?

– Нет, нас в другое село переправили, так мы туда и не вернулись.

– А восстание, что же, подавили?

– А как же – чтобы я, да не подавил!

В такие минуты в его обычно спокойных глазах вспыхивал какой-то странный жесткий огонек, и я начинала понимать, что не зря он имеет две комнаты в Лоскутной и не зря он был секретарем одного из отделов ЦК партии. Много крови, вероятно, пролил на своем веку. И какой крови, своей же крестьянской, русской...

Чем же, собственно говоря, занимался Житков в торгпредстве и за что получал 800 марок в месяц? Он числился экономистом, но за все время его пребывания в Берлине я ни разу не видела, чтобы он работал. Приходил на службу всегда с запозданием, и ему это сходило с рук, тогда как обыкновенные служащие должны были штемпелевать свой приход и уход на контрольных часах. Садился против меня и раскрывал

«Правду». По поводу каждой более или менее значительной заметки он затевал со мной разговоры, затем переходил на рассказы из личной жизни, причем я иногда ловила себя на том, что чуть не проговорилась каким-нибудь неосторожным намеком, словом или просто жестом относительно моих политических убеждений. Лично для меня Житков был опаснее и Антонова, и Радвани, так как те все-таки не так много болтали и мне не надо было их остерегаться. А Житков, под личиной доброго малого и рубахи-парня, отличался большой наблюдательностью и следил за моими ответами по телефону, за моими интонациями при разговорах с посетителями, за моим отношением к его рассказам. Я отлично отдавала себе отчет в том, что Житков посажен ко мне неспроста и что от его отзыва в ячейке зависит срок моего пребывания за границей. Следовательно, мне приходилось быть всегда начеку.

Так, в чтении «Правды» и в разговорах со мной – причем я старалась отделяться междометиями (работы у меня было всегда очень много) – проходило время до обеда.

Наступал обеденный перерыв, после чего Житков исчезал неизвестно куда и появлялся только к концу занятий. Один или два раза Андерс, как заведующий отделом, попытался дать Житкову какую-то работу, и на его столе на некоторое время появился какой-то немецкий экономический журнал, из которого он должен был сделать выписки и составить конъюнктурный отчет данного рынка. Увы, этот журнал так и остался нетронутым, но это задание дало Житкову повод отмахиваться от часто заходившего к нему его товарища Ежкова и заявлять с деланой досадой:

– Да что ты, парень, не видишь, что ли? У меня серьезная работа, надо сосредоточиться, а ты лезешь...

Пораженный и недоумевающий, Ежков пробовал узнать, в чем именно заключается эта важная работа, но Житков затыкал уши пальцами и углублялся в журнал. Ежкову не оставалось ничего другого, как покинуть со священным трепетом нашу комнату.

Но так как Житков еще очень плохо знал немецкий язык, то, конечно, немецкий журнал был ему не под силу. Когда через две-три недели Андерс зашел и спросил:

- Ну что, товарищ Житков, кончил ты отчет? - Житков, нимало не смутившись, ответил, что он составляет таблицы и что скоро все будет сделано. Однако отчет так никогда готов и не был.

Как-то Житков вернулся из своей всегдашней послеобеденной экскурсии по зданию торгпредства и заявил:

- Может быть, скоро уйду от вас, Тамара Владимировна, предлагают мне должность заместителя заведующего Кожэкспорта.

- Поздравляю, Георгий Порфирьевич (я все-таки предпочитала величать Житкова по имени и отчеству), с повышением. Начинаете делать карьеру?

Житков мрачно вздохнул.

- Ведь меня, собственно говоря, стажером сюда назначили, а потом я должен стать экономистом. Не хочется мне, откровенно говоря, идти на должность замзава - работы много, ответственности. Я сказал, что еще подумаю. Уж больно ячейка настаивает.

Но через несколько дней на мой вопрос, когда же он уходит в Кожэкспорт, Житков ответил:

- Никуда я отсюда не пойду. Я к тому же болен, ведь у меня туберкулез в третьей стадии. Что, вы не знали? Мне в санаторию придется ехать, а не наваливать на себя такую беспокойную работу.

## Некоторые секреты соцстраха

Итак. Житков стал хлопотать о том, чтобы его послали в санаторий. Хлопоты эти отнимали у него больше половины рабочего дня, потому что получить бесплатную путевку, даже будучи в Москве, очень трудно, а за границей и подавно. Но Житков принадлежал к привилегированному сословию – ибо в СССР сословия *существуют*, и разница между ними тем чувствительнее, что она касается и желудка, и здоровья, и самой жизни. Житкову все это давалось сравнительно легко. И все-таки, пока он прошел врачебную комиссию и несколько осмотров и анализов, пока затем его посылку в санаторий санкционировала особая партийная комиссия, которая выдает коммунистам денежные пособия из особых фондов, Житков потерял еще несколько фунтов весу и ходил совсем уже зеленый.

В торгпредстве была своя амбулатория, которой заведовала докторша Зелтынь, старая партийка и жена члена совета торгпредства. В СССР на должность главного врача крупного учреждения обычно назначается врач-коммунист и притом обладающий известными дипломатическими способностями, ибо должность эта весьма ответственна и требует больших талантов. Так, до самого последнего времени кремлевской больницей, например, заведовал врач-коммунист Тайц, хотя работало в ней и несколько первоклассных профессоров старого времени. Главному врачу надо быть всегда начеку, знать роль и степень влияния всех служащих и уметь лавировать между рифами партийной склоки.

Как известно, фонды советского соцстраха образуются из процентных отчислений от зарплаты,

вносимых самим государством. Само собою разумеется, что так как за границей зарплата служащим выплачивается в иностранной валюте, - то и соцстрах получает пропорционально несравненно большие отчисления, чем внутри СССР. Образуется очень аппетитный общественный пирог, к которому в первую голову протягивают лапы те, кто держит в этих же лапах власть. Советская власть старается, как правило, использовать фонды соцстраха прежде всего для своих коммунистов, на остальное население ей более или менее плевать. Коммунисты же, в свою очередь, не рассматривают эти фонды как достояние всего народа, с которым надо обращаться бережно, а действуют нахрапом: хватай кто что может! Не жалей казенного добра!

Таким образом, коммунисты снимают сливки соцстраха, а беспартийным остаются только рожки да ножки. Беспартийных, внушающих подозрения в болезненности, вообще даже и не командируют за границу, тогда как служащие коммунисты - почти все, как на подбор, либо больны какой-нибудь серьезной болезнью, как, например, Житков, либо являются полными калеками. Когда я приехала в Берлин, в маленькой каморке в передней торгпредства сидел чекист (фамилию забыла), у которого были парализованы обе ноги, так что он передвигался с большим трудом при помощи костылей. Немного позже юрисконсульт торгпредства был тоже полный калека.

Командировки больных коммунистов на заграничную работу объясняются в большей степени тем, что за них почти всегда работают беспартийные. Значит, для дела большого ущерба быть не может, а партии необходимо подлечить за границей своих заслуженных членов. Здорового партийца можно встретить очень редко. Большинство из них замотано всякими партийными, общественными и другими

нагрузками; что же касается чекистов, то у них почти у всех поголовно истрепаны нервы. Среди них очень много кокаинистов, морфинистов, алкоголиков. Это, впрочем, совсем не удивительно, если принять во внимание род их деятельности. Тот же Житков жаловался мне несколько раз:

- Опять черт его знает что снится. Просто кошмары какие-то. Точно захожу это я в темную комнату, а из угла на меня отрубленная голова смотрит... И вся в крови, каким-то зеленоватым светом светится. Я от нее, а она за мной! Я хватаю за револьвер, ищу, ищу, а его нет. Проснулся весь в поту, отдышаться не могу. И ужас какой-то охватывает, прямо мочи нет.

Эта отрубленная голова преследовала его периодически. И странно - сон повторялся до мельчайших подробностей. Давали о себе знать отголоски усмирений и расстрелов.

Кроме того, на работе соцстраха сказывается и непомерно высокий процент служащих евреев, которые, как известно, особым здоровьем похвалиться не могут. Среди них особенно много туберкулезных. За последние годы в Советской России замечается большое количество смешанных браков, и дети от этих браков, где отец - еврей, а мать - русская или наоборот, оставляют желать лучшего: истерики, дегенераты, эпилептики и даже паралитики. И вот командируются такая семья в Германию. Как только приезжают, начинают лечить своего ребенка. Часто болезнь неизлечима, но делаются самые разнообразные попытки, стоящие огромных денег. И опять-таки в большинстве эти евреи - крупные советские сановники и пользуются всеми благами соцстраха.

Как сейчас помню один случай. Я зачем-то зашла в амбулаторию. На одном из стульев сидела прилично одетая женщина и держала на руках прехорошенькую девочку. Лицо этой девочки и сейчас стоит передо

мной, как живое: синие глазенки, ровные, точно нарисованные, бровки, алый ротик. Сначала я ничего не заметила, но через секунду девочка вся как-то сжалась, личико ее сморщилось, как бы от нестерпимой боли, а правая ручонка стала лихорадочно скрести лицо. Мать с силой удерживала ее руку. Потом опять наступило спокойствие, но через минуты две судорога повторилась.

Оказывается, у девочки паралич каких-то нервов: ей уже два года, но она не ходит, не говорит, ничего не понимает и не соображает, и каждые две минуты ее тельце сотрясает эта ужасная судорога. Ее непрерывно нужно держать на руках, так как она раздирает себе в кровь лицо и может повредить себе глаза, ее надо кормить из соски, и только в те немногие часы, когда она засыпает, мать может немного отдохнуть. И при этом такие прекрасные синие глаза и такая приветливая улыбка, что трудно поверить в эту страшную болезнь крови. Мать – русская, отец – еврей, занимает крупный пост.

Я встретила эту мать через несколько месяцев. Ее высохшее, измученное лицо без слов говорило о переживаемых страданиях. Я спросила: «Ну, а как ваша девочка?»

– Здесь в санатории лежит, но ничего не помогает. Теперь везем в Париж, говорят, там есть специалисты...

Глаза ее выражали надежду, но я потом спросила у знакомой докторши, которая временно замещала Зелтынь, что она думает об этом случае.

– Никакой надежды, но родители цепляются за соломинку, – ответила она.

Конечно, в русских деревнях, наверное, встречается много несчастных, больных детей. Их никто не везет за границу и никто не считает нужным тратить на неизлечимые случаи столь дорого достоящуюся русскому народу драгоценную валюту. Наоборот, у

мужика отбирают последнюю птицу, свинью, кожу, яйца, вывозят их за границу, а из вырученной валюты отчисляют проценты в фонд соцстраха. На фонды же эти долечиваются партийные и чекистские сифилитики, калеки и чахоточные, часто безнадежно больные, целой массой прущие за границу на легкие для них хлеба. Перегруженный же беспартийный русский человек не знает, как ему извернуться, чтобы какая-нибудь Зелтынь с усмешечкой, после получасового торга, подписала небольшой докторский счет.

Вся деятельность Зелтынь протекала в каких-то недомолвках, перешептываниях, подмигиваниях, намеках, так что человека, не искушенного в советских штучках, эта докторша могла обвести вокруг пальца как хотела.

В первые годы моего пребывания в Берлине больные служащие торгпредства могли лечиться у какого угодно частного врача или дантиста, и соцстрах оплачивал их счета. При этом от Зелтынь зависело – подписать ли тот или иной счет или не подписать. И тут играли огромную роль и связь, и протекция, и положение самого служащего.

Приходит, например, товарищ Подольский<sup>[30]</sup> и говорит:

– Слушай, Зелтынь, мне надо золотые коронки вставить, заплатишь?

– Ну, конечно, что за вопрос! Сколько?

– Да пустяки, что тут – каких-нибудь 800 марок. Видишь ли, оказалось, что для коронок нужно еще и мост.

– Ладно, Подольский, для тебя можно.

И ловким движением Зелтынь подмахивает счет известного дантиста.

Или приедет заведующий Пушэкспортом из Лейпцига. От него ведь так много зависит! Он может отобрать самые лучшие каракулевые шкурки или серебристую лисицу из мехов, присланных для лейпцигского аукциона<sup>[31]</sup>. Ну как не порадеть родному человечку?

- Здорово, Зелтынь, знаешь у моей жены что-то в груди неладно, сделали рентгеновские снимки, теперь надо лечить, но каждый сеанс будет стоить по 50 марок. Как ты думаешь?

Если в амбулатории в данный момент ждет кто-нибудь из беспартийных, Зелтынь подмигнет глазом и скажет:

- Ну, знаешь, это немного дороговато...

Однако, в окончательной версии Зелтынь, конечно, подписывала все такие счета. И в санатории посылала.

Например, такая сценка:

- Товарищ Бродзский, ты что-то плохо выглядишь, тебе надо отдохнуть. Не хочешь ли в санаторий поехать? Есть такой в Нейенарр, чудесный.

Бродзский был, как я уже говорила, сравнительно новичком по части большевицкого бедлама и поэтому еще стеснялся:

- Ну, как же я поеду, ведь это очень дорого стоит.

Но Зелтынь, как демон-искуситель, уговаривает:

- Да что ты, Бродзский, если мы таких ценных работников, как ты, беречь не будем, так что же будет? Сам знаешь, пролетариат своих героев ценит. Поезжай.

И едет Бродзский на шесть недель в Нейенарр, жалованье его остается нетронутым - все оплачивает соцстрах: и дорогу туда и обратно, и санаторий, и лечение.

А беспартийному остаются рожки да ножки. Я не могла бы говорить об этом с такой уверенностью, если бы не испытала этого на себе. Seriously заболев, я

принуждена была лечь в клинику, где день обходился не тридцать, а всего десять марок. Половина моего там пребывания ушла в страшной трепке нервов, так как соцстрах отказался за меня платить, а мне уже не хватало жалованья, ввиду больших расходов на врачебную помощь. Юра должен был бегать в торгпредство с моими записками, и в конце концов Зелтынь заплатила только половину. Эго было в высшей степени несправедливо, вызывало у меня слезы возмущения и поднимало температуру, но поделать я ничего не могла.

Аналогичный случай был и с женой кассира Никитина. У нее была саркома печени. Никитин пролечил массу денег, с большими скандалами ему удалось вернуть некоторую часть этих расходов, но под конец все же пришлось перевезти жену в университетскую клинику, а затем в клинику der Grauen Schwester в Тельтпельгофе, где содержание стоило дешево, но где она лежала в общей палате и уход был хуже. Если бы это была жена чекиста или партийца, ее положили бы в лучшую клинику и дали бы такие возможности лечения, что она, может быть, не умерла бы так скоро.

К концу 1929 года торгпредский соцстрах окончательно обанкротился, так как истратил не только то, что ему полагалось, но и залез в крупные долги. Касса была пуста. Докторшу Зелтынь откомандировали в Москву, туда же поехали и двое соцстраховских служащих, ибо отчетность у них оказалась совершенно запутанной, и в результате один из них сел в ГПУ. В торгпредстве же началось междуцарствие. Не было врача и не было известно, как дальше будет с соцстрахом и с амбулаторией. Положение заболелавших было поистине критическим, так как медицинская помощь в Германии очень дорога.

Затем пришло соломоново решение из Москвы: договориться с какой-нибудь... германской страховой кассой и застраховать всех торгпредских и полпредских служащих в этой кассе. Условия были ничуть не хуже советских, только приходилось ждать полгода с момента подписания полиса. Но для нас, беспартийных, было лучше, так как теперь мы могли лечиться на равных началах с партийцами.

## Лизхен и Сан-Блазиен

Хлопоты Житкова отнимали у него массу времени, и он пребывал в информационном бюро ровно столько, сколько требовалось, чтобы прочесть свежий номер «Правды» и обменяться со мной самыми последними известиями с фронта его манипуляций по отъезду. Однажды он принес на службу измятый номер немецкой газеты «Локаль анцейгер», в которой, как известно, имеется самый обширный отдел объявлений. С хитрой усмешкой Житков пододвинул мне газету через стол.

– Прочтите, Тамара Владимировна, объявление, вон то, что отмечено красным карандашом.

Я прочла:

Junger Auslander (Akademiker) sucht Bekkantschaft mit jungem deutschen Madel zwecks Erlernung der deutschen Sprache)<sup>[32]</sup>.

Я вопросительно взглянула на Житкова.

Он самодовольно засмеялся.

– Академикер – это я. И представьте себе, Тамара Владимировна, сколько писем получил! Целую уйму. Вот теперь выберу себе немочку – тогда в два счета научусь болтать по-немецки.

– А вы не боитесь, что в ячейке узнают?

– Ну, как они могут узнать, вы же меня не выдадите... А другим я не скажу.

В его тоне прозвучала угроза: попробуй, мол, выдать...

Через несколько дней он действительно нашел какую-то немочку, Лизхен, которая была, по его словам, красавицей и которая даже согласилась ехать с ним туда, куда его пошлют в санаторий.

- Но, ведь если у вас туберкулез, вы должны быть особенно осторожным. Еще заразите молодую девушку. Подумайте, какой опасности вы ее подвергаете.

Житков цинично усмехнулся:

- Ну что ж, заражу, туда ей и дорога.

Я возмутилась:

- Послушайте, Георгий Порфирьевич, ведь если у вас нет человеческой этики, то должна же быть хоть какая-то партийная...

Житков удивился:

- Этика? Какая такая этика?

- Бросьте притворяться, ведь вы в университете учились, не может быть, чтобы вы не знали, что такое этика.

Житков встал и подошел к моему стулу:

- Знаете что, Тамара Владимировна, не будем здесь, в стране догнивающего капитализма, говорить об этике, да еще о партийной. Чем больше мы внесем в такую страну разложения, тем скорее будет революция. И вообще бросьте вы эту скверную привычку мне мораль проповедовать. Интеллигентские сопли...

Я смолкла. Чем-то сатанинским пахнуло на меня от этих взглядов. Да, большевизм не только зло, это прямо исчадие ада. Раствление, развращение, полная деморализация - вот его спутники, куда бы он ни проник. Мне стало страшно. Я должна как-то предупредить эту несчастную Лизхен, ведь она идет на верную гибель - туберкулез в третьей стадии крайне заразителен.

- Познакомьте меня с Лизхен, мне хочется на нее посмотреть.

- Она при родителях живет, и они очень у нее строгие. Я у них уже был, мамаша меня приняла с распростертыми объятиями. А знаете, Тамара Владимировна, - оживился вдруг Житков, - это действительно идея! Я вас попрошу позвонить к

родителям Лизхен и сказать им, чтобы они не рассчитывали, что я на ней сейчас же женюсь, я должен сперва в Москву вернуться, а потом, когда устрою свои дела, тогда приеду опять в Берлин.

Я вскипела:

- Как, вы уже до того дошли, что обещали ей жениться? Но ведь вы же прекрасно знаете, что этого не может быть. И потом, вы ведь сами говорите, что харкаете кровью и что у вас туберкулез в третьей стадии. Да и кто вас пустит во второй раз в Берлин!

Житков приосанился.

- А почему бы мне и не жениться на Лизхен? У меня в Москве две комнаты, все удобства. Правда, моя Мария будет скандалы закатывать, да и партия косо посмотрит...

- А кто такая Мария?

- А есть там евреечка одна, влюблена в меня без памяти, я ее, кстати, сюда хочу выписать. Она тоже партийная, секретарь комячейки в Губсоцстрахе. Вот приедет - посмотрите.

- А почему вы на ней не женитесь?

- На ком, на Марии? Да она замужем, и ребенок у ней есть.

- Как же она приедет, ведь вы скоро в санаторию едете?

- Ну, не так-то еще скоро, месяца, наверное, через три, а она - если партия ей только разрешит - недели через две может приехать. Я там нажал в Наркомвнешторге, она за жену мою приедет, ей и паспорт на мое имя выдадут.

Я сделала вид, что ничуть не удивляюсь такому ходу событий, но подумала: вот, ко мне законного мужа не пускают, а такому Житкову чужую жену разрешают выписать.

Как-то, идя через Тиргартен, я встретила нежную парочку. Хлыщевато изогнувшись, Житков вел под руку какую-то девушку.

Лизхен была действительно очень красива. Изящная, гибкая фигурка, стройные, словно точеные, ножки, целая копна кудрявых каштановых волос, большие карие глаза, живые и очень выразительные, маленький ротик, легкая, грациозная походка.

- Тамара Владимировна, - заорал Житков еще издали, - вот удача! А я все хотел, чтобы вы с моей Лизхен познакомились. Вот, Лизхен, дас ист фрау Тамара, я тебе о ней уже говорил.

Лизхен подала мне руку с приветливой улыбкой.

Было уморительно слушать, как Житков изъяснялся с ней по-немецки. Он носил с собой в кармане маленький словарь и поминутно выхватывал его и искал в нем нужное слово. Оба пошли меня провожать, и Житков с жаром стал рассказывать, как его обирает его новая хозяйка.

- Настоящая живодерка, право слово, живодерка, - говорил он по-русски. - Как это перевести, Тамара Владимировна?

Я как-то не смогла подыскать подходящего слова. Житков полез в карман, достал словарь и после минутных поисков выпалил:

- Sie... die Haut... abnehmen... [\[33\]](#)

Дойдя до Бранденбургер-Тор, я поспешила распрощаться. Мне было тяжело видеть, как доверчиво Лизхен смотрела на Житкова. В ее головке зрели несбыточные мечты о замужестве с «ученым иностранцем», о жизни в далекой, такой великой стране, как Россия. О политике Лизхен, по-видимому, не имела ни малейшего понятия. Сказать же Лизхен правду я при Житкове, конечно, не могла. Да и поверила ли бы мне Лизхен?

Житков продолжал свои ухаживания, причем добился у матери Лизхен разрешения, чтобы ее отпускали по воскресеньям к нему, в Биркенвердер. Помешанный на своем здоровье, он жил теперь не в самом Берлине, а в тридцати километрах от него, в прекрасном хвойном лесу Биркенвердера.

Я старалась избегать разговоров о Лизхен, поскольку я не могла в этом случае помочь. Через несколько недель Житков привел в бюро какую-то маленькую еврейку и представил мне ее:

- Вот это Мария, познакомьтесь.

Если бы все это не происходило на моих глазах, я бы никогда не поверила, что Мария приехала в Берлин просто так в отпуск, чтобы повидать своего возлюбленного Житкова. Слишком чудовищно было бы допустить, чтобы народные деньги, столь драгоценная для России валюта выбрасывалась таким уж чересчур наглым образом! Но это был факт. Мария, во-первых, ни слова не говорила по-немецки, а если ей нужно было объясниться в трамвае или подземке, оперировала ужасающей смесью русского языка и еврейского жаргона, а во-вторых - она так и просидела все четыре недели в Биркенвердере. Житков, сославшись на ухудшение здоровья, навещал торгпредство лишь два раза в неделю, а у меня в том же доме были знакомые, наши беспартийные, и они мне рассказывали, что и Житков, и Мария почти безвыходно сидят у себя в комнате или на балконе. Было ясно, что никаких особых заданий она не имела.

- А как же Лизхен? - спросила я как-то Житкова.

- Я ей сказал, что у меня научная работа и что я должен целые дни над ней сидеть, а также чтобы она не приезжала в Биркенвердер, так как меня там не будет.

Когда Мария уехала обратно в Москву, Житков стал всерьез собираться в санаторий.

- Знаете, Тамара Владимировна, куда меня посылают?

- А куда?

- В Сан-Блазиен. Это в Шварцвальде, две тысячи метров над уровнем моря. Там самый лучший санаторий для туберкулезных в Германии. Вот вылечусь - тогда заживу... Но дорого там... Тридцать марок в сутки только за комнату и пансион. И Лизхен возьму, она отдельно будет жить. Кстати, Тамара Владимировна, не можете ли вы позвонить ее мамаше?

- Хорошо, дайте мне ее номер.

Говорить с матерью Лизхен пришлось при Житкове, так что о туберкулезе я сказать ничего не смогла, но, во всяком случае, дала матери понять, что Житкова не следовало бы рассматривать как жениха, и спросила, не боится ли она отпускать свою дочь в такое далекое путешествие.

Но мать, пожилая добродушная и простоватая немка, верившая своей дочери и ее мудрости, сказала, что «ведь Лизхен будет жить отдельно» и что она все же надеется, что «господин доктор» не обидит ее Лизхен. А Лизхен, дескать, так хочется поехать, а такая возможность представляется не часто. Ведь Шварцвальд так далеко, и дорога туда стоит так дорого.

Я, с русской точки зрения, удивилась такому упрощенному взгляду на вещи, но потом, прожив в Германии некоторое время, узнала, что там это допускается.

Житков уехал, а через некоторое время я получила от него письмо с подробностями его пребывания в санатории. О Лизхен он упоминал смутно, а через недели три написал, что с ней поссорился и что она уехала обратно в Берлин. Как выяснилось значительно позже, Лизхен оказалась действительно мудрой и сумела раскусить истинные намерения «академикера».

## Чистка

Прошло четыре месяца. Торгпредство жило своей лихорадочной, беспорядочной жизнью. Стоял сентябрь 1929 года. В отделе кадров истеричную Иоффе и флегматичного Сергеева уже давно сменил товарищ Евгеньев (конечно, псевдоним), и, как всегда бывает после смены заведующего отделом кадров, многие служащие были откомандированы в Москву и заменены новыми. Житкова все еще не было, ему продлили первоначальный двухмесячный отпуск еще на два месяца. Во время его отсутствия против меня не сидел никто, и поэтому внутривнутрипартийная жизнь торгпредских коммунистов как-то ускользала из сферы моего наблюдения. Житков все-таки иногда проговаривался о тех или иных партийных мероприятиях, а кроме того, он был так говорлив, что умело поставленным вопросом из него можно было кое-что выудить. Теперь же, когда его не было, у меня почти не было и информации. Работы по службе было, как всегда, очень много. И однако, даже в постоянно сумасшедшем и нервном биении торгпредского маятника мой слух улавливал какие-то необычные перебои. Что-то висело в воздухе, что-то надвигалось, что-то должно было произойти.

И вот в одно ноябрьское утро в комнату вкатился Житков. Именно не вошел, а вкатился. Я в первый момент даже не узнала его, до того он растолстел. До санатория он был сравнительно стройным, теперь у него было круглое, выпячивавшееся вперед брюшко, а глаза заплыли жиром.

- Георгий Порфирьевич, вы ли это?

- А что, правда, чудесно поправился? Знаете, сколько кил нагнал? Двадцать три кило, не фунт изюму! Да, правду сказать, и кормили меня там на убой,

никакой туберкулез не выдержит. Все затянуло, даже каверны мои зажили.

Потом внезапно Житков оглянулся на дверь, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, и сказал шепотом:

- Не вовремя приехал - тут чистка идет...

Меня точно ознобом прохватило. Чистка?

А Житков продолжал:

- Сам Ройзенман приехал. Бу-у-дет теперь потеха!

Имя Ройзенмана было мне известно еще по рассказам московских коммунистов, работавших раньше за границей.

- Скажите, Георгий Порфирьевич, а нас, беспартийных, предупредят, в какой именно день будет чистка?

Житков посмотрел на меня удивленно:

- Как, вы даже не знаете, что беспартийных за границей не чистят? Только партийных будут чистить, а о беспартийных уж мы сами дадим сведения.

Если слово «чистка» является жупелом в Советской России и наводит на всех страх и трепет, то насколько тяжелее воспринимается оно в советских учреждениях за границей!..

Ибо чем грозит чистка советскому служащему, например, в Москве?

Быть вычищенным, конечно, очень неприятно и в Москве, но, в конце концов, если вы ни в чем не виноваты, как это сплошь и рядом бывает, то вы в течение двух-трех месяцев останетесь без работы. И так как в СССР чистки проводятся периодически, подсоветские люди смотрят на них как на более или менее неизбежное зло, которое, однако, ничем особенным грозить не может.

Не то - за границей. Недаром командировка в Европу или в Америку считается в СССР большой удачей, почти счастьем. Люди иногда годами стремятся к тому, чтобы быть командированными за границу,

приносят многое в жертву, унижаются... Наконец мечта осуществилась: вы в Берлине, Париже или Лондоне. Вы отдыхаете от советской действительности, ваш ежемесячный заработок превышает во много раз то, на что вы жили в Советской России. Мало-помалу вы соприкасаетесь с культурой данной страны, вы входите во вкус, начинаете чувствовать себя человеком. Отработав свои часы в советской атмосфере торгпредства, вы выходите на улицу и забываете, что вы – раб, что вы – жалкая игрушка в руках всесильного ГПУ... Пусть это иллюзия, но она дает вам отдых, она затягивает, она делает вас почти счастливым.

И вдруг чистка. Чистка! Не является ли это чересчур разительным диссонансом с тем, что вас окружает? Ведь вот кругом ходят совершенно свободные веселые люди. Какие они счастливые! Им ничто и никто не угрожает. Никто не вправе остановить их и начать спрашивать, кто был их отец, мать, с кем они переписываются и какого политического мнения они держатся... А вас? Вас завтра вызовут и в сотый раз начнут пытаться, зная совершенно ясно, что половина того, что вы скажете, будет ложью. Но самое ужасное впереди. Ибо, если вы окажетесь в числе вычищенных – а это очень легко может произойти, – вас безо всякой жалости вырвут вот из этой атмосферы и бросят обратно в великую человеческую тюрьму, называемую СССР. И в этом случае вы лишены будете возможности даже мечтать о загранице, ибо раз вычищенного с заграничной работы за рубеж уже никогда больше не пошлют. А кроме того, вы совершенно не можете быть уверены в том, что по прибытии на Негорелое вас не отправят прямо в тюрьму, а потом и в ссылку. О самом же худшем лучше и не думать.

Понятно поэтому то тревожное и напряженное настроение, которое охватило берлинское

торгпредство, когда весть о чистке с быстротой электрического тока облетела все учреждение.

Чистки в советских учреждениях за границей происходят редко, и тогда, осенью 1929 года, мне пришлось пережить одну из самых серьезных чисток, после которой политбюро СССР вынесло, по докладу главноуполномоченного по чистке Ройзенмана, следующее постановление: «Признать аппарат заграничных торгпредств разложившимся и подлежащим полной смене». Легко можно себе представить, какому разгрому подвергло ГПУ в последующие полгода берлинское и другие торгпредства! Подобно кругам, разбегающимся от брошенного в воду камня, эта чистка давала себя чувствовать не только в 1930, но еще и в 1931 году, когда была откомандирована и пишущая эти строки. Полетел торгпред Бегге, полетел его первый советник и помощник Ленгиель, а за ними и остальные видные и невидные служащие. Это были тяжелые, угрюмые месяцы... Работа велась кое-как. Мы, беспартийные, если и боялись, то все же меньше, чем коммунисты, так как знали, что нас и спрашивать-то не будут. Но коммунисты ходили как в воду опущенные – у каждого рыльце было более или менее в пушку, каждый знал, что работал из рук вон плохо, что позволял себе вещи, за которые по головке не погладят. Для них создавалась атмосфера вроде той, которую описывает Беседовский в своей книге «Qui, j'accuse!». Ибо из Берлина Ройзенман перебрался в Париж, и именно в эту достопамятную осень Беседовский сбежал через забор на улице Гренель.

«Последние дни в полпредстве были настоящим адом. Я был окружен агентами ГПУ, как секретными, так и официальными. За каждым моим движением, за каждым моим словом велась слежка. Часто я слышал подозрительные шорохи в маленьком коридоре,

смежном с моей библиотекой. Однажды я выскочил туда и выстрелил в потолок – кто-то бросился удирать. Если бы это продолжалось еще неделю – я бы потерял рассудок. Я изрешетил весь потолок пулями...»

Вот какое настроение было у высших коммунистов в связи с предстоявшим приездом страшного «евнухообразного» (как его рисует тот же Беседовский) Ройзенмана. Им мерещились шумы даже там, где, может быть, ничего и не было. Недавние показания новых советских невозвращенцев – Бармина (Граффа) и Кривицкого (Вальтера) – рисуют ту же картину страха и ужаса, охватывающих представителей «правлящего класса» Советской России при приближении рокового часа расплаты.

Не особенно веселым ходил и Житков, даже балагурить перестал. К нему то и дело забегали его приятели по комячейке, шушукались, вызывали его в коридор. Как и всегда в периоды чистки, сводились личные счеты, стряпались доносы; ложь и клевета незримыми потоками разливались по торгпредству и образовывали зловонные лужи... Но официально никто о чистке не сообщал и никто из беспартийных не должен был подавать вида, что о ней знает. Чтобы, не дай бог, весть об этом избиении младенцев не выскользнула бы за стены торгпредства и не докатилась бы, скажем, до гостеприимных страниц «Руля». Обвинили бы в предательстве, конечно, беспартийных, на которых обычно все шишки валяются, и поехало бы из них несколько человек через Негорелое без пересадки до самых Соловков!

Чистка происходила не только по вечерам, как того следовало бы ожидать, но целый день. Где-то в глубинах комячейки сидел страшный судья Ройзенман и приехавшая с ним «комиссия по чистке». Партийцев, судя по некоторым случайно прорвавшимся словам

Житкова, чистили долго и вдумчиво – этак часика по три-четыре. Впрочем, при этом задавались вопросы не только о них самих, но и о тех, за кем им надлежало следить. Беспартийных, как Житков и сказал, действительно, в комиссию по чистке не вызывали, де-юре дело обстояло так, как будто бы беспартийных и чистить-то совершенно не собираются. Де-факто же при каждом беспартийном был свой наблюдатель, и от него зависело дать наблюдаемому ту или иную характеристику. Я, в данном случае, зависела, очевидно, как от Житкова, так и от Бродзского. Остальные коммунисты, с которыми я ближе всего по службе соприкасалась, были все немецкими подданными и, следовательно, в счет не шли.

В те годы Берлин был центром советской деятельности для всей Европы не только символически, но и официально. В нем сосредотачивались как торговые, так и политические нити плетущейся Коминтерном паутины. Дипкурьеры отправлялись в Москву с целыми сундуками донесений и зашифрованных сведений и возвращались с такими же сундуками инструкций по всем отраслям коминтерновского и наркомторговского аппаратов. Штат торгпредства явно был неестественно разбухшим, ибо создавались специальные синекуры для тайных агентов Коминтерна и для просто шпионов. Под видом инженеров, техников, приемщиков по Германии и по остальным странам Европы расползалась целая армия политических и экономических шпионов и агитаторов. Мне, находившейся по роду службы в центре торгпредской жизни и обязанной знать о новых сотрудниках, равно как и о всех тех, кто откомандировывался в СССР или в другие страны, было особенно заметно непрерывное движение «людей из Москвы» на Запад.

Ройзенмановская чистка пронеслась как гроза и действительно... расчистила горизонты. Очевидно, вскрылись настоящие гнойники как в ведении отчетности, так и в ведении финансовых дел вообще, ибо с зимы 1930 года началось сворачивание торгпредских функций и перенос всей бухгалтерии в Москву. Если раньше все договоры заключались и подписывались в Берлине, теперь стало известным, что скоро придется иностранцам ездить в Москву для подписания этих договоров, что в действительности и было полностью реализовано к 1932-1933 году. Очевидно, у большевиков были, кроме того, кое-какие сведения о надвигающемся триумфе Адольфа Гитлера и национал-социализма, так что к 1933 году в берлинском торгпредстве из полутора тысяч служащих осталась лишь жалкая горсточка, которая, как я уже говорила в начале этих очерков, принуждена была оставить великолепное, столь импонировавшее иностранцам здание на Линденштрассе и перебраться на Литценбургенштрассе в неизмеримо более скромное помещение. К 1933 году весь центр европейской акции большевиков был перенесен в Париж. Целые отделы торгпредства были свернуты и переправлены в Москву, даже такой трудный для транспортирования отдел, каким был голлеритный, отправился туда же. Этот отдел, названный по имени изобретателя поистине чудесных статистических машин Голлерита, считался тоже секретным, и вход туда посторонним лицам строго запрещался.

Я чувствовала себя в этом вихре, проносившемся вокруг меня, как песчинка в смерче Сахары... И положила всецело на свою судьбу.

Как-то Житков, сидя против меня, по обыкновению своему читал «Правду». Его не могли смутить никакие чистки. Он всегда оставался верен самому себе и своей баснословной лени. Вдруг он поднял голову.

- Что ж, Тамара Владимировна, распрощаемся скоро с вами?

Для меня это было почти неожиданностью, и я удивленно на него взглянула:

- А что, Георгий Порфирьевич, разве вас откомандировывают?

Но еще не было случая в моей торгпредской практике, чтобы коммунист сознался в том, что он уезжает в СССР не по своей воле.

- Да так, знаете, Тамара Владимировна, надоело мне тут. Хочется уже в Москву. Вот и Ежков уезжает, а мы с ним приятели, одному-то тут тоже неохота оставаться.

- Но ведь вам тут хорошо живется, работы немного, смотрите, как вы тут поправились... И потом, разве вам не жаль Лизхен?

- Что там Лизхен, я в Сан-Блазиен уже с другой познакомился, дочь богатого фабриканта, спит и видит, как бы за меня замуж выйти...

И, взобравшись на своего конька, Житков стал рассказывать со всеми возможными подробностями о своем новом романе в Сан-Блазиен.

- А как ко мне чудесно там все относились, вы бы только посмотрели, Тамара Владимировна. Главный врач только все спрашивал: «По вкусу ли это вам, господин доктор?» или: «Не имеете ли вы каких-нибудь желаний, господин доктор?» Они меня там все за важного барина принимали. Да, уж пожил я там всласть, нечего сказать.

- Ну вот, а вы в Москву хотите ехать.

Но иногда Житкова не так-то легко было поймать.

- Соскучился я, знаете, по Москве, домой тянет.

Я сделала вид, что поверила.

- Когда же вы едете?

- Да не позже чем через неделю.

- Чего же так торопиться? Дождитесь хоть весны.

- Нет, Тамара Владимировна, я уже четыре костюма себе заказал про запас. Провожать меня придете, а?

- Постараюсь. Да ведь, наверное, и я скоро поеду - в Москве встретимся.

- Ну, вас еще не так скоро отправят. Сказать вам, что ли?

И Житков лукаво улыбнулся.

- А что такое?

- Да ведь меня на чистке о вас спрашивали. Говорят: «Что это за особа такая сидит, беспартийная, а на такой ответственной работе? Как она там, не саботирует ли?»

- Ну а вы что ответили?

Сердце мое на мгновение замерло. Скажет ли он правду? Но Житкову хотелось, видимо, меня помучить.

- А вот угадайте, что я сказал?

- Ну, не томите, Георгий Порфирьевич, скажите уж...

- Ну ладно, так и быть. Я им сказал: «Хоть она и беспартийная, но очень много чего знает, на разных языках объясняется и информацию прекрасно наладила. А плохого ничего я за ней не замечал». Думаю, что теперь вас пока не откомандируют. Хоть и проводится коммунизация аппарата. Вот он, Житков-то, какой, а вы небось думали - я о вас плохое что скажу?

- Ну, спасибо вам, Георгий Порфирьевич, за хороший отзыв.

- То-то вот и оно, я человек справедливый, зря оговаривать никого не стану.

Через неделю Житков, конечно, не уехал, а, выражаясь блатным языком, который в Советской России получил полные права гражданства, стал «шиться». То есть начал придумывать всевозможные предлоги, чтобы как-нибудь оттянуть время отъезда. Сперва слег на несколько дней в постель и сказал, что плохо себя чувствует, затем придумал себе какую-то срочную партийную нагрузку, так что в Москву он

уехал, как и следовало ожидать, лишь в начале весны. Я его в этом отнюдь не осуждаю. Все подсоветские, которые знают, что должны покинуть свободную, сытую и культурную Европу, стремятся всеми силами оттянуть день отъезда до самого крайнего предела, подобно человеку, которому предстоит броситься в пропасть. Но оттяжка эта возможна лишь при наличии более или менее незапятнанной репутации. С теми же, кто действительно провинился в чем-нибудь серьезном, или кого подозревают в том, что он хочет стать невозвращенцем, – большевики совершенно не церемонятся. Бывали случаи, когда человек должен был выехать в течение буквально двадцати четырех часов.

Позже, вернувшись в Москву, я несколько раз встречала Житкова. Он все еще нигде не работал, а поступил учиться в Институт внешней торговли.

– Вот кончу, стану специалистом и тогда опять получу назначение за границу, – говорил он мечтательно. – Тогда уж меня так скоро оттуда не выживут.

Я из деликатности сделала вид, что не помню его речей в момент откомандирования из Берлина о том, что он, дескать, уезжает по собственному желанию.

Нужно отдать Житкову справедливость, он старался все-таки рассказывать своим знакомым и друзьям правду о Германии. И восторгался при этом чистотой, порядком и... трудолюбием немцев. Грязь и беспорядок советской жизни вдруг стали его шокировать, так что он несколько раз даже призывал товарищей к порядку. Стал в своем роде даже неким культуртрегером.

– Иду это я, Тамара Владимировна, по Тверской, а навстречу мне Митька Железнов – знаете, мой приятель. И – подлец – кепку-то козырьком назад надел. Ну, просто похабная рожа получается. Я это остановился, поглядел на него, плюнул, да как нахлобучу ему кепку как следует на башку. Говорю, что

же ты это, сукин сын, порядку, что ли, не знаешь? Ты бы в Германии так надел, тебя бы враз заарестовали...

## **Клуб «Красная звезда»**

В самом центре ночного Берлина, у Потсдамерплац, там, где яркими огнями то загорается, то потухает сверкающая лампами куполообразная крыша огромного ресторана Кемпинского, за углом Дессауэрштрассе, на воротах дома № 2 еще до самого последнего времени красовалась скромная дощечка Klub Roter Stern. А тот, кто, отворив калитку, входил во двор, попадал сразу в кроваво-красные лучи большой багровой звезды, гостеприимно сиявшей над входом в клуб советской колонии в Берлине.

Если сейчас правая французская печать то и дело жалуется на то, что Париж становится мало-помалу «советской колонией», и не видит никакого выхода из этого, то людям, жившим в Берлине в 1930–1932 годах, становится как-то смешно. Ибо советская власть и Коминтерн – до самого прихода Гитлера к власти – рассматривали Германию вообще, а Берлин – в частности своим Hinterland'ом. Еще бы было им не считать? Ведь КПД – Коммунистическая партия Германии – насчитывала к тому времени около 400 000 членов, а за Тельмана было подано почти 6 000 000 голосов. Уличные коммунистические демонстрации собирали в Лустгартене до 100 000 участников, и коммунисты открыто и почти безнаказанно убивали на улицах и в пивнушках своих политических врагов. Большевики были так уверены в Германии, что в самом центре Берлина сняли на целые десять лет, по договору, трехэтажное здание под клуб советской колонии, причем в этом клубе сформировался и регулярно работал красный пионерский отряд, хотя официально советчики на это никакого права не имели. Десятилетний контракт при наемной плате в 111 000

марок в год - не значило ли это полнейшей и спокойнейшей уверенности в завтрашнем и даже в послезавтрашнем дне?

Нельзя сказать, чтобы место для клуба было выбрано очень удачное... Председатель правления Хорьков как-то сказал мне, морщась, когда однажды вечером мы вышли вместе с ним на угол Штреземанштрассе:

- Черт его знает, и кто это выбрал место для клуба, посмотрите, сколько проституток в этом районе. Вот хорошо, что я сейчас с вами иду, а ежели бы один - ведь проходу не дадут.

Место, что и говорить, было сногшибательное. Даже самые скромные выдвигенцы, попадавшие в Берлин откуда-нибудь из подмосковных заводов, и те становились смелее после того, как они несколько вечеров побывали в советском клубе. Ибо вокруг кишмя кишело жрицами свободной любви. Здесь поблизости находится Потсдамский вокзал и другие рынки для этого производства.

Если в СССР клубы являются больше всего символом достижений пролетарской революции, то за границей клуб советской колонии носит совершенно другой характер. С одной стороны, большевики всеми силами стремятся овладеть не только рабочим временем своих подданных, но и их досугом, а с другой - в такой клуб приглашаются и иностранные коммунисты, и советчикам хочется пустить им пыль в глаза.

Одним словом, на наш берлинский клуб отпускались очень большие деньги, и обставлен он был сравнительно прилично. Внизу был прекрасно оборудованный гимнастический зал, пионерская комната и стоял большой стол для пинг-понга, которым молодежь особенно увлекалась. Во втором этаже помещался буфет, библиотека и читальня, а также несколько комнат для различных кружков. И наконец, в

третьем этаже был большой зал со сценой и комнаты, в которых помещались духовой и струнный оркестры, составленные главным образом из немецких коммунистов, и другой зал, в котором время от времени устраивались те или иные выставки, например фотографическая и т. п.

В принципе советские служащие должны были проводить все свободные вечера в клубе «Красная звезда», но на практике туда было трудно заманить кого-либо, особенно в первый год нашего пребывания в Берлине. В то время заведующий клубом, какая-то мрачная личность, совершенно не подходил для этой роли, делом своим не интересовался, и в клубе была зеленая скука. Единственной приманкой был кинематограф, и этим пользовалась администрация для того, чтобы хоть как-нибудь затянуть туда служащих. Обычно устраивался кинематографичекий сеанс, а перед ним – часовая или полутора часовая лекция или просто заседание, на котором приезжий из Москвы оратор делал очередной советский доклад. Ввиду того, что доклады и в СССР всем до смерти надоели и каждый, едучи за границу, полагал, что хоть там-то он отдохнет от набивших оскомину трафаретных фраз, выкриков и призывов, – без кино на такой доклад трудно было заманить хоть кого-нибудь. И кино спасало положение.

Звуковое кино в СССР тогда еще не было известно, хотя за границей уже начинало входить в моду. В клубе пускались фильмы только советского производства, причем представительство Госкино в Берлине, подготавливая их для Германии, вырезывало советские надписи, и уже в таком куцем виде фильм поступал на один вечер в наш клуб. Зрителям приходилось самим догадываться, в чем, собственно, дело. Позже, когда в истории берлинского клуба настала блестящая эра Мачерета, этот жовиальный и энергичный человек

зачастую жертвовал собой для блага зрителей и брался читать надписи вслух, по либретто. Но тут происходили такие потешные инциденты, что весь зал прыскал от смеха в самых трагических местах, а в комических – ни у кого не было охоты смеяться. Ибо пока, бывало, Мачерет разберет впотьмах ту или иную надпись, особенно если она бывала длинной, то действие на экране уйдет далеко вперед. Например: на экране – любовная сцена, в этот момент вбегают разъяренный муж и что-то яростно кричит. Мачерет же все еще комментирует любовную сцену и нежно рокочущим баском воркует:

– Моя дорогая, мое сокровище, скажи одно только слово, и я буду вечно твоим.

А на экране муж уже ломает стулья о голову несчастного любовника.

Или, помню, давали как-то советскую кинохронику, причем, так как тогда колхозы как раз начали сильно входить в моду, публике представляли колхозных героев – доярок и коров. Сидевший вплотную к экрану и потому не видевший фильма, Мачерет в этот вечер особенно запаздывал, так что в конце концов вышло так, что доярка дает двенадцать литров молока в сутки, а корова – это ударница, делающая честь советской стране, избранная делегаткой на какой-то съезд.

Легко представить себе рев восторга, встречавший такие комментарии. Наконец Мачерет махнул рукой и уходил за кулисы. А диалоги действующих в фильме лиц оставались для нас, зрителей, навсегда загадкой.

Мачерет сменил первого заведующего, который немилосердно проворовался и был спешно откомандирован в Москву.

Небольшого роста, кругленький и добродушный, человек этот обладал царственным дарованием Юмора, с большой буквы. Достаточно ему было появиться на сцене и сказать несколько слов, как зал уже радостно

ржал в ответ, все сразу веселели, морщины разглаживались, Мачерет был в Москве режиссером какой-то труппы, и не знаю, какими правдами или неправдами ему удалось получить это, словно для него созданное, место заведующего клубом «Красная звезда».

С Мачеретом клубная жизнь оживилась, начались любительские постановки в стиле «Синей блузы», причем Мачерет сам сочинял злободневные пьесы в стихах, полные добродушной иронии с намеками на торгпредских служащих. Мачерет работал действительно не за страх, а за совесть. Если вечерами он должен был неотлучно пребывать в клубе, то целыми днями он носился по торгпредству, стараясь поймать то одного, то другого члена правления клуба, чтобы выпросить у него то разрешение, то личную помощь. Он никогда не выходил из себя, несмотря на то что с ним иногда обращались совершенно по-хамски, заставляя его ожидать по три часа в коридоре, пока нужное ему административное лицо освободится. Нужно добавить, что у Мачерета было еще одно незаменимое свойство – он удивительно умел уговаривать людей. Из этого свойства и вытекал его успех во всех начинаниях. Правда, только попервоначалу. Через год на Мачерета стали косо поглядывать, а через год и два месяца он тихо и незаметно исчез с берлинского горизонта, и на его месте в клубе появилась новая мрачная фигура какого-то бывшего чекиста.

Клуб зачах.

## Парикмахер Борухов

- Тамара Владимировна, вы знаете, у нас, в торгпредстве, теперь будет свой парикмахер, - возвестила как-то всеведущая Тася из отдела кадров.

- Серьезно? Откуда вы знаете?

- Как же, он только что приехал из Москвы и был у нас, а потом его принял сам Бегге. Для него, говорят, парикмахерскую оборудуют при столовой.

- Что же, его специально сюда командировали как парикмахера?

- Да нет, он - очень, важная птица, у него большие революционные заслуги...

Но в эту минуту зазвонил телефон, Тасю требовали вниз, в отдел кадров. И она убежала, не успев договорить до конца.

Через несколько дней, придя в обеденный перерыв в столовую, служащие были удивлены происшедшей там переменой. Одну четверть зала отделили двумя стенами, за которыми слышался характерный для ремонта стук молотков.

Около меня как раз обедал Мачерет, и я его спросила, в чем дело.

- Парикмахерскую для Борухова устраивают.

- Ведь это, наверное, массу денег будет стоить?

- Да, но это делается по приказу из Москвы.

- А вы не знаете, товарищ Мачерет, что у этого Борухова за заслуги; мне говорили, что он чем-то особенно отличился.

Мачерет сделал важное лицо.

- Он сделал портрет Ильича из волос.

- Как из волос?

- Да так: резал-резал косы у своих клиенток - сманивал их на буби-копф, - а потом вышил этими

волосами портрет Ленина и «Взятие Зимнего дворца» – и поднес Совнаркому. Ну, вы сами понимаете, какой эффект получился. Вот его и командировали за границу – чтобы он тут, на международной парикмахерской выставке, честь Советского Союза поддержал.

– Нет, вы это серьезно, не шутите?

– Да что же тут шутить, он сам об этом рассказывает, да еще и гордится-то как, вы бы посмотрели! Парень оборотистый, что и говорить.

Через несколько дней парикмахерская была готова, причем, как говорится – «дирекция не пожалела затрат». Тут были и массивные зеркала, и мраморные умывальники, и все новейшие приспособления и мужской, и дамской парикмахерской. Нужно отдать Борухову справедливость, он был действительно хорошим парикмахером. Когда во время Великой войны он попал в плен к австрийцам, то и там его офицеры, по его словам, очень ценили за его «бархатные руки». Борухов сам показывал мне в какой-то австрийской книжке воспоминаний одного из участников войны посвященные его «бархатным рукам» несколько строк и очень этим гордился.

Так появился у нас в торгпредстве свой Фигаро. Ибо не прошло и нескольких месяцев, как Борухов стал самым настоящим торгпредским Фигаро. «Фигаро – тут, Фигаро – там»... Начиная от самого торгпреда и кончая самыми секретными сотрудниками Шифровального отдела, все брились и стриглись у него, а женщины завивались и мыли голову. Борухов обладал вкрадчивым и любезным характером, умел сказать вовремя нужный комплимент и постепенно стал, как я говорила шутя, моим конкурентом в области информации. Он знал все и вся и был в курсе всех торгпредских событий и перемен.

Однако, ничто не вечно под луной. В очередной переезд одних отделов из четвертого этажа в первый, а

других – из первого в третий (таких переездов за три года моего пребывания в Берлине было двадцать шесть) парикмахерскую Борухова решили разделить на несколько частей и посадить в этих клетушках новых экономистов. Борухова же перевели в маленькую и темную закуту на пятом этаже, в самом конце длинного коридора. Тут не было ни окон, ни вентиляции. Борухов был уязвлен в своих лучших чувствах, жаловался и божился, что будет жаловаться в Совнарком, но ничего не помогло.

Перед отъездом в отпуск я пришла причесаться к Борухову.

– Завтра еду в Москву, товарищ Борухов, завейте, пожалуйста, покрепче.

Обычно я предпочитала немецкие парикмахерские, но в этот день у меня было мало времени, и я забежала к нему во время службы. Так делали, между прочим, все, а начальство смотрело на такую непроизводительную трату времени сквозь пальцы, почему предприятие Борухова и процветало вовсю.

– В Москву? Ой, товарищ Солоневич, у меня к вам будет большая просьба.

– Какая же?

– Прошу вас, зайдите вы, пожалуйста, к моей жене. Ведь вы знаете, – тут Борухов понизил голос и боязливо оглянулся по сторонам, – я уже с самого приезда хлопочу, чтобы ее тоже сюда выписать. Сами понимаете, мне приходится здесь помощника держать, деньги платить, а она там тоже без дела. Тут мы бы с ней такие дела завернули...

– А она разве тоже парикмахерша?

– Что за вопрос, не только парикмахерша, но и маникюрша. И вы знаете, товарищ Солоневич, у нас ведь в Москве квартиры нет, мы живем в одной комнатке, в подвале, а у нее ревматизм. Так я просил ее выпустить. Так они не выпускают, честное слово.

И в глазах Борухова изобразилась боль и тоска.

- Хорошо, товарищ Борухов, я зайду к вашей жене, но что ей передать?

- Передайте ей, пожалуйста, чтобы она подала прошение о выезде по болезни и чтобы приложила свидетельство от Арончика - она уже сама знает о том, что ей необходима операция. Тогда, может быть, выпустят.

Приехав в Москву, я нашла жену Борухова и передала ей поручение. Жила эта толстая и действительно больная женщина в одной комнатке с двумя подростками-детьми, в сыром подвальном этаже. Она очень обрадовалась весточке от мужа и просила, в свою очередь, передать, что хлопочет изо всех сил об отъезде, но пока ничего не удается.

Через полгода жену Борухова все же выпустили в Берлин, но когда потом дальновидный парикмахер стал хлопотать о том, чтобы дали выездную визу и его детям, то тут уж советская власть учуяла некий душок невозвращенчества и сказала: аттанде-с!

Борухову пришлось пока смириться, но, будучи человеком высокопрактичным, он надежды не терял и стал совершенствоваться в парикмахерском искусстве, учиться делать дауэрвеллен (электрическую завивку), о которой в СССР до 1931 года вообще еще и понятия не имели, окрашивать каким-то особым способом волосы и пр. Жена его тоже училась в какой-то фешенебельной парикмахерской. Потом Борухову пришла мысль, что если ему удалось поймать советское правительство на портрет Ленина из волос, то почему ему не поймать и какого-нибудь капиталиста. Недолго думая, он стал изготавливать портреты Форда и Эйнштейна, которые затем были отосланы оригиналам с почтительными письмами и с просьбой оплатить эти шедевры. Все торгпредство знало об этих Боруховских манипуляциях, и все над ним подтрунивали:

- Ну что, товарищ Борухов, сколько вам отвалил Форд?

- Ну как, товарищ Борухов, не прислал ли вам Эйнштейн вместо денег кусочек теории относительности?

Борухов не обижался, а, наоборот, улыбался с горделивым и самодовольным выражением лица, точно говоря:

- Смейтесь себе на здоровье, вот вы еще увидите, какой Борухов умный...

Но, увы, надежды его не оправдались. От секретаря Форда пришла кисловатая благодарность с извещением, что, так как мистер Форд такого портрета не заказывал, он не считает нужным и платить за него, а Эйнштейн призвал на голову Борухова благословение Иеговы и этим ограничился.

Борухов замрачнел. Ни Европа, ни Америка не клюнули. Надо было выдумывать что-либо другое.

## **Кое-что о московских парикмахерских**

В последний раз я видела Борухова в 1932 году уже в Москве перед самым отъездом моим за границу. Электрическая завивка, завоевавшая за последнее десятилетие первое место в мировом парикмахерском искусстве, доплелась и в Москву, в виде какой-то средневековой пытки. Когда я работала с иностранными делегациями в качестве переводчицы, мне как-то пришлось повести одну довольно капризную американскую делегатку в лучшую парикмахерскую Москвы – в Гранд-отеле. Это было незабываемое зрелище!

На втором этаже, в холодной и пустой комнате, сидели и стояли в очереди советские гражданки, а худая и желчная парикмахерша смачивала какую-то вонючей, ядовитой жидкостью пряди волос очередной жертвы и накручивала их на палочки. Вследствие того что в СССР существует так называемая «монополия внешней торговли», частное лицо не имеет права выписать из-за границы необходимых ему машин или инструментов. Выписывается только то, что необходимо государству. Все, что касается красоты и радости жизни, отходит на задний план перед пятилетками. При таких условиях – уже не до электрических машин для завивки дамских волос, ведь в СССР и дам-то больше нет, есть только гражданки и товарищи.

Поэтому советские парикмахерские отличаются азиатской примитивностью, и все больше развивается подпольное обслуживание клиенток. Так, дамы дипломатического корпуса имеют своих частных парикмахеров и маникюрш, которые приходят к ним на дом. Что же касается до такого удобного и практичного

способа, как дауэрвеллен, то тут уж и особам дипломатического корпуса приходится покоряться и снисходить до Гранд-отеля. И при этом не забудем, что русские парикмахеры – одни из лучших в свете, у них очень легкая и мягкая манера брить и причесывать и много собственного вкуса.

Когда вся ваша голова представляет сплошные палочки и вы начинаете походить на зулуску или уроженку островов Фиджи, вас – в данном случае мою американскую делегатку – проводят в какую-то закуту в нижнем этаже. Здесь с совершенно безразличными и усталыми лицами восседают четыре девицы, с лицами фабричных работниц, и у каждой в обеих руках по какому-то железному инструменту, вроде вафельницы. Между работницами горят и издают невероятное зловоние жаровни с углем. Работницы раскаляют свои орудия пытки докрасна и затем захватывают каждой рукой по одной пряди волос, накрученных на палочку. От волос идет дым, пахнет гарью, клиентки визжат и стонут, но ведьмино действие продолжается. Работницы лениво и грубо слегка приподнимают свои щипцы только в тех случаях, когда явно начинает гореть кожа на голове и когда стоны завиваемых гражданок начинают переходить какие-то таинственно допустимые границы. В остальное же время они остаются совершенно равнодушными и к визгу, и к воплям, иногда отвечают и просто дерзостью.

Интересно было наблюдать за реакцией нашей американки на это невиданное зрелище.

Она в страхе ухватилась за меня и воскликнула:

– Что это такое? Нет, нет, ради бога, только не заставляйте меня садиться на этот эшафот. Боже мой, да что же я буду теперь делать? Разве у вас в Москве нет настоящей человеческой парикмахерской с аппаратом для permanent?

Что я могла ей ответить? Да, она должна покориться своей судьбе. Ведь покоряются же, в конце концов, тысячи русских женщин? Чем она лучше других?

Во всяком случае, это было незабываемое зрелище: американка, «прижигаемая» московскими ударницами. Когда я, наконец, вышла с ней на улицу, она вся во власти пережитого бормотала:

- Dear me, dear me, what a country!<sup>[34]</sup>

В Москве давно уже нет частных парикмахерских. Все парикмахеры объединены в артели, и я интересовалась условиями их труда. Они работают официально 8 часов в сутки, а неофициально и 10, и 11. И в то время, как прическа в более или менее приличной парикмахерской стоит 3 рубля, они получают всего 80 копеек; остальное пожирают налоги, займы и артельный аппарат, ибо каждая артель должна иметь штат, бухгалтерию и пр. В силу того что парикмахерских, сравнительно с населением Москвы, мало, парикмахеры перегружены до предела, у каждого стоит очередь в несколько человек, и весь день расписан. Понятно, что при такой напряженной, почти конвейерной, работе пропадает индивидуальный подход, все механизмуется. Но нет, например, электрических машин для стрижки, нет жидкости и аппаратов для permanent и многого другого.

Но пора вернуться к Борухову. Летом 1932 года моя сослуживица по Международному комитету горнорабочих - Урисон-Фушман, о которой я рассказывала в книге «Записки советской переводчицы» и которая, как жена заместителя народного комиссара легкой промышленности, проживала в Доме правительства, сообщила мне:

- А у нас, в Доме правительства, открывается образцовая парикмахерская, по последнему слову техники, с кабинками, ожидальнями, мягкой мебелью и всем таким... Вот красота!

- Кто же это открывает?

- А какой-то парикмахер, вернувшийся из-за границы, будет очень шикарно!

Только младенцу не пришло бы в голову, что парикмахер этот не кто другой, как наш знакомый Борухов. Ибо кто еще из советских парикмахеров удостоился чести быть выпущенным за границу? Для верности я все же спросила:

- Это не тот, что вышил портрет Ленина волосами?

- Да, да, тот. А что, вы его знаете?

- Он был торгпредским парикмахером в Берлине.

- Ах, это чудесно, Тамара Владимировна, значит, будем все у него иметь блат, а то ведь вы знаете, когда откроется - народу повалит масса, хорошо иметь зацепку, чтобы в очереди не ждать. Не хотите ли сегодня пойти со мной после службы посмотреть, как там все устраивается?

- А знаете, это идея, пойдете.

Дом правительства находится на левом берегу Москва-реки и представляет собой огромный, массивный блок десятиэтажных зданий. В 1932 году он еще не был совсем закончен, и дворы были забиты щебнем, досками и камнями. Но все квартиры были уже заняты. Урисон проживала в десятом этаже, куда нас быстро доставил лифт. Пока Евгения Исааковна переодевалась, я осмотрелась кругом. В мирное время такая квартира была достоянием каждой более или менее обеспеченной семьи: здесь было четыре комнаты и кухня с ванной, особенной отделки или комфорта не наблюдалось. Но для Советского Союза такая квартира является определенной роскошью. Ведь подавляющее

большинство населения живет страшно скученно, а получить отдельную квартиру в Москве можно только за очень крупную сумму, этак в порядке 200 000 рублей. Моя бывшая ученица по Минской Мариинской гимназии, а ныне известная исполнительница народных песен Ирма Яунзем, например, промучившись долгие годы в одной комнате, наконец смогла купить небольшую квартирку из трех клетушек, правда, со всеми удобствами – за 130 000 рублей.

Интересен в СССР порядок получения квартиры в кооперативных домах и околпачивания трудящихся масс. Обычно дело бывает так: какое-нибудь крупное учреждение или жилтоварищество замышляет построить дом или несколько домов. По данному учреждению распространяются подписные листы, причем условия бывают обычно очень заманчивыми.

Вы обязаны уплатить паевой взнос в размере, скажем, ста рублей, а затем у вас из жалованья будут отчислять ежемесячно: у служащих – 10 процентов, у рабочих – 8 процентов. За это вы получите две, три или даже четыре комнаты – на обещания жилтоварищество обычно не скупится – с ванной и с центральным отоплением. Вы вносите паевой взнос и на некоторое время становитесь счастливейшим из смертных, ибо у вас появляется светлая надежда на лучшее будущее. Я тоже в свое время была записана в такой кооператив и тоже лелеяла надежду... Потом проходит год, два, истекают сроки, вы начинаете волноваться, начинаете бегать на ту улицу, где строится «ваш» дом, наводите справки, когда же дом будет готов... Но по мере того как воздвигаются стены, штукатуруется фасад и вообще завершается стройка, лица правленцев становятся все менее приветливыми. Затем вас просто перестают принимать и с вами прекращают всякие разговоры. Козлом отпущения на некоторое время является секретарь жилтоварищества, которому приказано к

председателю правления никого из пайщиков больше вообще не пускать. А затем, увы, в дом въезжают совершенно неизвестные вам жильцы, вам же предлагают, если желаете, получить ваши взносы обратно, но возврат этих трудовых грошей облекается обычно в такую грубую форму и обставляется такими трудностями, что вы машете рукой и в сотый раз проклинаете советский режим.

Объясняется же это просто. На «паевые взносы» закладывается фундамент, затем берется ссуда в банке, так как налицо «трудящиеся», которым, как известно, принадлежит все в Советском Союзе, и начинается постройка. По мере ее возведения Моссовет отбирает себе известный процент жилплощади – и это является совершенно законным, – а затем появляются всевозможные люди, которые так или иначе имеют туго набитый кошелек – вот вроде моей Ирмы Яунзем, – и делают так называемый «целевой» взнос. То есть вносят всю сумму, полагающуюся за квартиру, сразу. Здесь пахнет уже десятками и сотнями тысяч. Жилтоварищество деньги эти берет и потирает руки. Для смазки дают пару-другую квартир партийным верхам – и дело в шляпе. Судиться с таким жилтовариществом пробовали некоторые идеалисты, но из этого ровно ничего, кроме порчи нервов и траты денег, не получилось. Рабочие и служащие остаются – как и всегда в СССР – с носом...

В столовой, где Евгения Исааковна угостила меня чаем с домашним печеньем на подсолнечном масле – другое в то время в Москве достать было трудно, даже имея книжки в привилегированные кооперативы, – меня удивило какое-то шуршанье и потрескиванье. Пораженная, я спросила:

– Евгения Исааковна, что это у вас трещит? Вроде сверчков.

Она улыбнулась:

- Правда, странно? Даже не сверчки, а кузнечики. Самые настоящие. На первый раз может показаться даже поэтическим: подумайте, на десятом этаже в центре города и вдруг - кузнечики. Но *a la longue* это становится просто невыносимым. И потом, не подумайте, что они такие безобидные - у меня пару шелковых чулок испортили, совершенно источили.

- Но где же они у вас водятся?

- В стенах, между кладкой и обоями. Это еще что, у нас и клопы - представьте себе - водятся. Просто спасения нет.

- Но ведь дом только что построен, даже еще не закончен.

- И все-таки особенно надоедают кузнечики, их ведь тут сотни. Днем еще ничего, как-то к ним не прислушиваешься, а вот ночью просто несчастье, спать не дают. Ци-ци-ци. Очевидно, сырые материалы ставили, когда строили, говорят, что якобы торфом заполняли пустые пространства между кирпичами, вот теперь и сказывается.

Я подумала, что если даже для своего правительства Советы строят такие дома, то чего же требовать от других построек.

После чая мы отправились посмотреть новую парикмахерскую. В левом фасаде Дома правительства, над кооперативом, мы нашли Борухова. Конечно, это был он, и очень обрадовался, встретив знакомую по Берлину. Он немедленно повел нас осматривать свои владения. Ибо, как он гордо разъяснил, все подчинено ему и он всем заправляет.

- Вот здесь, товарищ Солоневич, будет приемная, а здесь - видите, медные обручи - на них будут висеть плюшевые драпировки, как в лучших берлинских салонах, а здесь - особые приспособления для

маникюра, кабинки, а здесь – курительная комната, вы только подумайте – специальная курительная комната.

– А аппарат для permanent будет?

Борухов прищурил один глаз и хитро на меня взглянул:

– Аппарат-то я привез, сколько мне трудов стоило, чтобы достать лицензию! Впрочем, не мне вам об этом рассказывать, вы же сами знаете, как трудно достать лицензию. Так вот, аппарат-то я привез, но только поставил им здесь условие: если они мне и моей семье дадут квартиру здесь же, в Доме правительства, то дам этот аппарат сюда, в парикмахерскую, а не дадут – не дам и я.

В этот момент в дверях зала появилась группа европейски одетых женщин и мужчин, и какая-то девица подошла к Борухову и что-то сказала ему на ухо.

– Ах, простите, товарищ Солоневич, – засуетился он, – это французская делегация Интуриста, они хотят осмотреть парикмахерскую. Тут, знаете, много этих делегатов ходит, приходится показывать – как-никак, достижение.

И Борухов горделивым жестом обвел рукой кругом. А затем, галантно изогнувшись, побежал к делегатам.

Месяца через полтора, проходя мимо Дома правительства, я зашла посмотреть, готова ли парикмахерская. Все находилось еще в том же виде, что и во время моего первого визита. Борухов – похудевший и недовольный – разразился филиппикой:

– Это же черт знает что такое! Я вам говорю – такого кабака я еще нигде не видал. Чашки – вы понимаете – простые фаянсовые чашки не могу достать. Заказаны уже четыре месяца тому назад, так не высылают. И потом, разве здесь люди понимают шик, я вам говорю, здесь никто шика не понимает. Из моей

сметы половину скостили, просто нет удовольствия работать.

- А ваша жена тоже вернулась?

Борухов посмотрел на меня почти презрительно:

- Что значит - вернулась? Ее вернули, а не она вернулась. Ведь мы так хорошо последнее время в Берлине обосновались, я хотел свою парикмахерскую открыть, так нет - заладили одно: возвращайся, Борухов, да возвращайся. Дошло до того, что паспорта не хотели в полпредстве продлить. Ну и вернулся. Хотел им кусочек Европы здесь устроить, так разве с нашими дураками кашу сваришь?

- Ну а квартиру дают?

- Пока все обещают, но уж я им - дудки - аппарата не дам, пока не вселюсь.

- А я за границу уезжаю, хочу с вами попрощаться.

В глазах Борухова отразилась зависть.

- Да что вы? Вот счастливая. Ну, кланяйтесь там от меня Берлину, хо-о-роший город!

## **О немецких коммунистах**

По мере того как проходило время, в орбиту моего внимания входило все большее и большее количество торгпредских служащих. И почему-то, по какой то странной аналогии, вспоминался новочеркасский институт, где я в свое время училась. Как в институте были две категории воспитанниц – «живущие» и «приходящие», так и в торгпредстве были служащие советские и туземные. Помню, с какой завистью смотрели мы, «живущие», на «приходящих». Да еще бы было не завидовать! После уроков они складывали книги в ранцы, шли в раздевалку, надевали собственные пальто и шляпки и уходили в неведомый большой город. Мысль наша улетала за ними и рисовала счастливую картину свободной, веселой жизни в домашней обстановке, вдали от ненавистных «синявок» (классных дам). Мы же – «живущие» – должны были почти круглый год оставаться в четырех стенах института, гулять только один час в день по асфальтовым дорожкам окруженного высокими каменными стенами институтского сада, вставать и ложиться по звонку и носить только казенные безобразные, сиротского вида пальто и однотипные безвкусные нахлобачки вместо шляп.

В торгпредстве я поймала себя на такой же зависти. Эти немецкие коммунисты и коммунистки, которые работали в берлинском торгпредстве бок о бок с русскими, жили своей, совершенно обособленной жизнью. И тогда как над нами – советскими – висели всякие запреты, слежки, собрания, посещения клуба, а главное – неумолимая мысль об неотвратимом откомандировании в СССР, – немцы были свободны как ветер. Эта прекрасная, благоустроенная, сытая

Германия – была их страной, и хотя они подкапывались под самые ее устои, тем не менее она относилась к ним, как истая родина-мать, а не как родина-мачеха. Уходя после работы по домам, они знали, что из тех денег, которые они получают в торгпредстве, они могут, как делает всякий истый немец, откладывать каждый месяц известную сумму, а потом купить себе либо то, что является затаенной мечтой каждого немца без различия политических убеждений – Grundtuck (земельный участок), либо построить себе Wochenendhaus, либо приобрести мебель для квартиры. Для них деньги имели особый смысл, тогда как для нас – под-советских – деньги были только для того, чтобы по возможности их истратить здесь же, за границей, и не привезти ни пфеннига в СССР. Ибо в СССР на эти деньги можно было купить только одну сотую часть того, что на них же можно купить за границей. А для провоза белья, платья и прочего существовала такая жесткая норма, что все равно получаемых денег для нее было слишком много.

В Бюро прессы и информации работали две германские коммунистки – Эмми Эгер и Соня Гендлер. Мне приходилось диктовать ежедневно одной немецкие, а другой русские письма. Ибо Соня Гендлер была, в сущности, бессарабской еврейкой, знала русский язык и только по паспорту числилась немкой.

Когда я впервые увидела Эмми Эгер в кабинете моего шефа, Бродзского, мне и в голову не пришло, что такая хорошенькая, грациозная и милая девушка может быть коммунисткой. Во всяком случае, в России это было бы невозможно – по той простой причине, что такая девушка немедленно выскочила бы замуж, и ей было бы не до политики. Но здесь, в Берлине, это было фактом: Эмми Эгер была членом КПД – Kommunistische Partei Deutschland! Это не мешало ей быть очень

трудолюбивой, аккуратной и скромной – настоящей Гретхен. Единственное, что отличало ее от ее средневекового прототипа, – это была любовь к спорту. Словом, она была вроде тех представителей молодежи, которые бродят в свободное время ватагами по германским полям и весям и поют мелодичные вандерфогелевские песни. На мужчин она смотрела по-товарищески и на заигрывания Житкова, например, отвечала полным достоинства равнодушием. Но зато летом, когда после воскресного отдыха Эмми приходила на работу, загоревшая от солнца, оживленная и точно светящаяся каким-то внутренним светом, – чувствовалось, что она не одинока и что она кого-то любит.

Как-то я решилась ее спросить:

– Ну, Эмми, у вас, наверное, много женихов?

Она зарумянилась.

– Да, я скоро выхожу замуж.

– А что, он тоже коммунист?

– О да, и очень активный – руководитель районной ячейки.

– Так что вы работаете вместе?

– Разумеется. И знаете, как много работы? Иногда полночи приходится за машинкой просиживать. Ведь у нас в партии мало кто имеет свою машинку, вот ко мне все и идут.

Я поняла, что весь коммунизм Эмми Эгер родился из ее любви к жениху, и это мое мнение подтвердилось, когда я попробовала глубже разобраться в ее политических познаниях. О Советской России она имела очень смутное представление, всецело и раз навсегда поверив продиктованным Коминтерном сказкам, преподносившимся на страницах *Rothe Fahne* и *A. J. Z.* Любознательностью же Эмми не страдала. Прослужив в торгпредстве более восьми лет, она так и не

удосужилась изучить русский язык, несмотря на то что пыталась работать в одном из кружков.

Каждое лето Коминтерн устраивает для иностранных коммунистов поездку на советские курорты. Так было и летом 1929 и 1930 годов. Германская компартия выпустила заранее специальные приглашения, произвела запись и отбор, Соня Гендлер тоже была в числе едущих. Я спросила Эмми:

- Почему бы и вам не поехать? Посмотрели бы, как там живут. Для вас это было бы, несомненно, интересно.

Чувствуя, что Эмми сделана из добротного материала, я особенно хотела, чтобы именно она своими глазами убедилась и в голоде, и в нищете, и в отсутствии равенства в «отечестве всех трудящихся». Но она не решилась ехать без своего жениха, а тот был занят пропагандой к предстоящим выборам в рейхстаг.

Скоро Эмми вышла замуж и стала фрау Майер. Прошло несколько месяцев, и в ней произошла заметная перемена. Всегда розовое личико побледнело, жизнерадостные глазки стали припухать от слез, тревога и беспокойство наложили свой отпечаток на все ее существо.

Однажды, во время утренней диктовки писем, я спросила, не больна ли она. Она вдруг уронила голову на стол и горько расплакалась. Сквозь рыдания она рассказала мне свою трагедию.

Оказалось, что муж ее с двумя другими коммунистами принимал участие в ночной слежке за каким-то национал-социалистом, потом была организована засада, и... муж Эмми пырнул ножом какого-то наци. Теперь он вынужден скрываться, так как боится, что его выдадут полиции, не ночует дома... Эмми же места себе не находит от страха и тревоги. Тем более что она ожидает ребенка. Что ей теперь делать?

А через некоторое время товарищ Майер был нелегально, но благополучно переправлен через границу и очутился в Советском Союзе. С женой переписывался редко, через третьих лиц.

Не так давно, будучи в Берлине, я зашла к одной знакомой портнихе, которую мне в свое время порекомендовала Эмми. Живет она в берлинском Нордене, в пролетарском квартале. Был как раз какой-то политический праздник. Меня неприятно поразил вид улиц. Тогда как при веймарском режиме во многих окнах были вывешены красные флаги с серпом и молотом, теперь вся улица была залита багряными полотнами флагов с национал-социалистической свастикой. Мне было отчасти интересно погрузиться в рабочую семью, в которой когда-то вращались коммунисты, Эмми Эгер, ее муж и многие другие немецкие служащие торгпредства.

Мать семейства, бледная, увядшая женщина, проведшая всю жизнь за швейной машиной, всегда порицавшая коммунистические веяния, занесенные в ее семью подрастающими дочерьми или, точнее, их ухажерами, встретила меня с некоторой опаской. Она помнила, что в свое время я работала в советском торгпредстве, и боялась, как бы я теперь при новом режиме не скомпрометировала ее дом.

Но когда я рассказала ей, что работала в торгпредстве, совершенно не сочувствуя большевикам, и что теперь вся наша семья ведет большую антикоммунистическую работу, ее недоверие пропало и она разговорилась.

- Девочки мои обе работают. Старшая скоро выходит замуж за одного молодого человека, у него собственная пекарня. Серьезный такой. Вот посмотрите.

И она сняла со стены семейную группу: молодой человек выглядел действительно серьезным и был в

форме Штурм-Шгафель: черная рубашка и свастика на рукаве.

- Он национал-социалист?

- Да, штурмфюрер. Уж я так рада, что теперь в нашем доме не бывает этой коммунистической шантрапы. Это все Эльза приглашала, потому что за ней коммунист тогда ухаживал. А в общем, знаете, против Гитлера ничего не могу сказать. С тех пор, как он пришел к власти, все как-то гораздо спокойнее стало. То, бывало, мои девчонки на демонстрацию в Лустгартен бегали, а полиция вечно наготове была. Я всегда так за них волновалась. А теперь все тихо, гладко. Да и на работе девочкам лучше стало. Подумайте, могла ли я когда-нибудь раньше мечтать о том, чтобы поехать в Баварию? Двадцать пять лет из Берлина никуда не выезжала. А в этом году дочь старшая записала нас на дешевые поездки Kraft durch Freude - знаете? И поехали мы за очень дешевую цену в горы, около Берхтесгадена. Вот красота! Там же и жениха моя дочь нашла.

Я решила спросить о моих торгпредских сослуживицах.

- А где теперь Эмми и Соня?

- А вы не знаете? Эмми в Москву уехала к мужу. До последнего времени все еще в торгпредстве работала, а потом пришла ко мне и несколько платьев заказала. Я еще удивилась, думаю, чего это она так раскутилась. Она тогда ничего не сказала, что уезжает. Видно, боялась, чтобы ее не выдала. А потом я от матери ее узнала. Та плачет, бедная, убивается. Эмми редко пишет, сообщала только, что до сих пор комнату не может найти. Муж ее где-то далеко от Москвы работает, а она с ребенком и двумя подругами в одной комнатке пока живет.

- А Соня?

- Ах, эта, противная, так коммунисткой до сих пор и осталась. Уж я ее и принимать перестала. Как придет, сейчас ругать новый режим начинает, и, знаете, - тут фрау Х. понизила голос, - она, по-моему, до сих пор для коммунистов работает подпольно. Муж ее арестован был и сидел несколько месяцев в лагере на голландской границе. Мы уж думали, что капут ему, ведь он заядлый коммунист был, в «Роте фане» одним из редакторов работал. Ан, смотрим, выпустили, да еще и расползлся как точно из санатория какого вышел. Поваром, оказывается, в лагере работал. А ребенок Сони - ужасно испорченный мальчишка, балованный, непослушный - хоть и неариец, а теперь в нашу же немецкую школу ходит. Шульце его ведь усыновил.

Читая в газетах о многочисленных арестах среди иностранных коммунистов в Советской России и о том, как шестьдесят австрийских шуцбундовцев забаррикадировались в австрийском посольстве в Москве в ожидании визы, - я иногда вспоминаю об Эмми. Не сидит ли и она где-нибудь в Бутырской тюрьме, и не стало ли ей наконец ясно, что такое большевизм.

Допустим, что вам зачем-либо понадобилось зайти в советское телеграфное агентство в Берлине - ТАСС. Тщетно искать его адрес в адресной или телефонной книге, ибо большевики страх как боятся черных и коричневых рубашек и для не пользующихся дипломатической неприкосновенностью учреждений предпочитают нанимать частные квартиры на имя какого-нибудь из своих служащих.

Но если вам все-таки посчастливится узнать адрес ТАССа, то вы найдете это достойное учреждение в одной из коротеньких улочек берлинского Вестена, соединяющих Лютцов-плац с каналом. Вы войдете в высокобуржуазный дом, подниметесь по крытой ковром

и украшенной мозаичными окнами лестнице и позвоните у массивной двери, на которой красуется чья-то невинная визитная карточка.

Вам откроет худощавая особа с бегающим, неприязненным взглядом и с некоторой претензией на кокетство. Дальше порога она, впрочем, вас не пустит, если вы не докажете, что вы – «свой», или что вы пришли по предварительной договоренности. Эта женщина – моя бывшая сослуживица по торгпредству, опасная и активная коммунистка Соня Мацис-Гендлер-Шульце, беженка из Бессарабии, ставшая после войны румынкой, а в Германии вышедшая замуж за советского гражданина Гендлера. У нее есть советский паспорт, который она хранит в каком-нибудь надежном тайнике и который ей открывает двери для возвращения в любой момент в СССР, если это почему-либо окажется нужным и удобным для нее или для партии. Но так как ей хочется жить в Германии, а поступить в немецкую компартию может только германская гражданка, она развелась с Гендлером и вышла замуж за немца-коммуниста Шульце. Того самого, который, попав в гитлеровский концентрационный лагерь, прибавил в весе. Впрочем, он и при веймарской республике отбывал наказание в Гольновской крепости, так что стаж у него порядочный. Этот стаж дает Соне возможность иметь синекуру в советских учреждениях: лет семь она проработала в торгпредстве, после чего перешла в ТАСС.

Если я говорю о синекуре, то это потому, что в мое время как работница Соня Гендлер-Шульце никуда не ходила, была ленива и дерзка, и половина дня у нее проходила в собирании членских взносов и в печатании нелегальной большевицкой литературы на машинке.

Пришли к власти национал-социалисты. Но ни Соня Гендлер, ни ее муж Шульце не удрали в СССР. Ибо оба не глупы и знают, что там живет очень несладко. Как-

то летом Соня ездила на крымские курорты. Она видела, чем пахнет в советском раю, ее на мякине не проведешь. Чем ей плохо в Германии? Она по-прежнему получает около 400 марок в месяц и временно надела на себя личину спокойной беспартийной бюргерши. Не будем заглядывать в ее личную жизнь и в то, чем она занимается по вечерам... Соня является типичной интернациональной коммунисткой, одной из тех, что по самой натуре своей являются апатридами, ненавидящими всякий порядок и всякую родину. Она не немка, и ненавидит Германию. Она не русская, и ненавидит старую Россию. Только большевизм близок ее завистливой и жестокой душе. Спрятавшись за немецким паспортом своего последнего мужа, она тщательно скрывает свое неарийское происхождение. А к подпольной работе ей не привыкать стать... Здесь так легко ничего не делать и подавать вид, что делаешь очень много, - пойдите, проверьте...

Но поглядим на других немецких коммунистов.

## Торгпредский журнал

Вскоре после того, как откомандировали Житкова, произошло очередное «переселение народов», то есть перемещение отделов торгпредства из одного этажа в другой, с одного конца коридора в противоположный и т. д. Чем вызываются подобные переселения – никто сказать не может; думаю, что совершается это стихийно, в силу того вечного духа неуверенности и беспокойства, который так характерен для большевизма. Подобно тому как «укрупняются» и «разукрупняются» в СССР наркоматы и прочие учреждения, точно так же, в зависимости от какой-то неведомой стихии, отделы учреждений переезжают из одного конца здания в другой, будь это огромный тысячекомнатный Дворец труда в Москве или здание берлинского торгпредства.

Встретив в эти достопамятные дни заведующего хозяйством, я спросила:

– Товарищ Хайкин, а куда вы нас поместите?

– На самый верх, за столовой.

– Что? Да ведь я – бюро информации. Это полный абсурд запихивать меня в самый верхний этаж, да еще и в конец коридора. Кто из посетителей меня там найдет?

– Да, но зато у вас будет совершенно отдельная комната.

Я не поверила своим ушам. Неужели теперь, после двух лет слезки, меня наконец оставят совсем одну, и не будет никого, кто бы контролировал мою работу? Но сделать вид, что я рада, – было бы величайшей ошибкой. Поэтому для вида я продолжала артачиться.

– Комната комнатой, но нужна ведь и логика. Человек приходит в первый раз в торгпредство, хочет

навести справку: к кому ему обратиться, в каком отделе покупают то или другое, где продают лес или хлеб. И вот для того, чтобы навести справку, он должен подняться на четвертый этаж, пройти длиннейший полутемный коридор, чуть не стукнуться о темный его конец, повернуть направо и дойти до конца еще другого коридора. Сами подумайте – можно ли придумать что-либо менее разумное?

– Товарищ Солоневич, не я составлял план, не я и отвечаю.

Апеллировать дальше к логике и разуму было бы бесполезно. Я помчалась наверх, чтобы посмотреть, куда же меня засунут. Комната действительно оказалась отдельной, но ее почти нельзя было назвать комнатой. В ней можно было с трудом поместить письменный стол, этажерочку с книгами и два стула. На большее нечего было и рассчитывать. А если ко мне будет ходить меньше посетителей, то это и лучше.

И вот, через несколько дней перетаскивания вещей и бумаг, устройства на новом месте и прочей кутерьмы, я уместилась в малюсенькой комнатке под чердаком. Моего шефа Бродзского уже давно откомандировали в Москву, и на его место сел его бывший соперник – германский коммунист Рихард Эринг. Это была в достаточной степени подленькая личность, подлизывающаяся к сильным и принимающая горделивую осанку перед слабыми. Комната его находилась рядом с моей, но так как о советских законах и делах он имел не очень много представления, в силу уже одного того, что в СССР был только очень короткий срок и то давно, еще при жизни Ленина, то ко мне он относился с некоторым почтением, стараясь обходить острые углы.

Его главные функции заключались в издании ежемесячного торгпредского журнала *Sowjetwirtschaft und Aussenhandel*. Журнал был довольно скучным и

содержал главным образом статистические данные (а кто не знает, что такое советская статистика!) об экспорте и импорте СССР, присылавшиеся из Москвы статьи о все растущем благосостоянии советских масс, о всевозможных достижениях, открытиях, изобретениях. Эмми Эгер, кроме стенографирования писем, ведала еще и картотекой абонентов этого журнала, на ней же лежала и его экспедиция. Журнал поглощал большие деньги и, конечно, не окупался, но большевики не скупятся на пропаганду, в какой бы форме она ни проводилась. Эринг получал 800 марок в месяц и лез из кожи вон во имя вящей славы Сталина. Однако, если бы ему дали больше и предложили безнаказанно перейти в другой лагерь, мне думается, он перешел бы немедленно. Это был карьерист чистой воды и трус первостепенный.

После прихода Гитлера к власти Эринг немедленно исчез из торгпредства и, по некоторым сведениям, находится теперь в советском торгпредстве в Антверпене.

Его ближайшая помощница - венгерская еврейка Фридман, жена известного левого художника Джонни Харфильда - была довольно образованной коммунисткой. Она хорошо знала языки и была незаменимой помощницей в разъяснении некоторых «неувязок» советской действительности, особенно когда дело шло об околпачивании германской прессы. Ибо часто в Berliner Tageblatt или Berliner Borsen Zeitung можно было прочесть статью о какой-нибудь новой советской стройке. Статья очень ловко подгонялась к крупному заказу, только что выданному Советами какому-нибудь германскому заводу. Экскаваторы или подъемные краны, заказанные Круппу, или электрические установки, размещенные у АЭГ, служили поводом для того, чтобы дать, например, лестную статью о Магнитострое.

## **В полпредстве на приеме прессы**

Как-то утром у меня на столе раздался один из повседневных телефонных звонков, и вкрадчивый голос Фридман спросил:

- Товарищ Солоневич, не хотите ли пойти сегодня в полпредство на прием прессы?

Я удивилась. Хотя с Фридман у меня установились довольно хорошие отношения, я никак не ожидала с ее стороны такого приглашения.

- Ничего не имею против, но как же это устроить, ведь я в полпредстве решительно никого не знаю.

- Это ничего не значит. Мы с Джонни приглашены, но он не хочет идти, а одной мне как-то неприятно. Пойдемте прямо после службы вместе?

- Хорошо, а это не будет неудобно?

- Нисколько, ведь вы придете со мной.

Я уже и раньше догадывалась, что брак Фридман с Хартфильдом очень неудачен, что Джонни крайне капризен и изменяет жене направо и налево. Часто она приходила на службу заплаканной, иногда заходила в мою комнатку, чтобы вызвать его по телефону без того, чтобы ее разговор слушал Эринг. В таких случаях разговор неизменно приобретал драматические формы:

- Джонни, почему ты не вернулся утром домой?

- ...

- Где ты был, Джонни?

- ...

- Опять с этой женщиной? Когда же это кончится?

- ...

- Где же мы увидимся? Ведь ты знаешь, что после работы у меня заседание, а когда я приду, тебя опять не будет дома?

- ...

- Ах, так ты еще смеешь меня оскорблять!

Не получая ответа на свое последнее восклицание, Фридман бросала трубку и убегала в полуистерике.

Так было и теперь. Я поняла, что если Фридман пригласила меня в полпредство, то просто потому, что ей не с кем туда пойти, а пойти, очевидно, надо - не ради нее самой, а опять-таки ради того же Джонни. Как-никак, он делал карьеру в коммунистических журналах, и даже шли разговоры о том, что в Москве собираются открыть выставку его рисунков.

Я справилась у Фридман, необходимо ли переодеваться, но она ответила, что чем проще, тем лучше и что там будет «все по-домашнему». Такие приемы прессы устраивались в полпредстве периодически, но я как-то ими не интересовалась и ничего о них не знала.

После службы мы с Фридман сели в подземку и доехали до Franzosische Strasse, а там прошли кусочек до Унтер-ден-Линден пешком.

Фридман нажала кнопку у ворот, дверь отворилась, и мы прошли в вестибюль направо. Здесь нам надо было расписаться в книге и показать пригласительную карточку. У Фридман было приглашение на имя Хартфильд на два лица, так что швейцар меня свободно пропустил. Мы прошли в голубой салон. Думаю, что вся роскошь и великолепия убранства остались еще от царского времени, ибо мебель была довольно старинной и удобной, бархатные портьеры спускались до самого пола красивыми и тяжелыми складками. Веяло богатством, довольством, и все было очень корректно.

В салоне уже сидели группами на диванах и креслах десятка полтора мужчин и женщин: разговор шел исключительно по-немецки. Меня поразило подавляющее большинство евреев. Я шепотом осведомилась у Фридман о фамилиях некоторых из присутствующих и о печатных органах, которые они

представляли. В ответ я услышала все знакомые названия левых газет, левых журналов, левых издательств.

В это время в салон вошел высокий пожилой человек – это был первый советник полпредства Бродовский, теперь уже расстрелянный. Обойдя всех для рукопожатия, он барским жестом пригласил гостей в следующую комнату, где был сервирован чай. Стол буквально ломился от сэндвичей, тортов, пирожных и конфет. Публика перешла в столовую и стала быстро поглощать сладости. Фридман, которая знала почти всех и которую все знали, оставила меня на произвол судьбы, так что я, напившись чаю, села в уголок и стала наблюдать. Бродовский переходил от группы к группе, и нужно было видеть, как подобострастно разговаривали с ним все эти журналисты... Создавалось впечатление какой-то очень большой зависимости. Общий разговор не клеился, и постепенно многие стали уходить. Я постаралась незаметно пробраться к двери, чтобы ни с кем не прощаться. У самого выхода Бродовский разговаривал с каким-то молодым и энергичным евреем. Краешком уха я расслышала слова:

– Не беспокойтесь, Genosse Бродовский, все будет сделано согласно инструкциям.

Я подумала: куда идет Германия, если представитель советов имеет влияние на такую большую часть прессы?..

## Аптекарь из Бостона

Как-то утром раздался стук в дверь.

- Войдите.

В комнату как-то бочком просунулся полный низенький еврей, в добротном клетчатом пальто, по-видимому иностранец.

- Bitte, treten Sie naher.

Он заговорил на каком-то странном наречии, на смеси немецкого и английского.

Оказалось, что он хочет ехать в СССР и пришел узнать, можно ли туда провезти штук двадцать самопишущих ручек и вообще подарки родным.

- А вы надолго туда едете?

- Нет, только на месяц. Я, видите ли, сам русский, только уже двадцать пять лет как эмигрировал в Америку и там натурализовался. Теперь у меня два дома в Бостоне и четыре аптеки. Но в России у меня остались родные - сестра, племянники. И вот я решил поехать туда посмотреть, как там живется. Вы знаете - газеты такие разноречивые дают сведения, что не знаешь, где правда, а где ложь. В письмах пишут, что живется им хорошо, но все просят денег. Мы - у меня в Америке еще есть и брат, но он живет отдельно - посылаем время от времени по сто долларов. А теперь я хотел бы лично посмотреть новую Россию, чего там добились и как все там устроено.

- Не проще ли тогда говорить по-русски? - предложила я.

Мой посетитель сконфузился.

- Я, видите ли, стал уже забывать русский язык. Понимать-то все понимаю, но сам говорю с трудом. Кстати, скажите, пожалуйста, правда, что там, в России, голод, или это только врут газеты?

Мне пришлось дать ему неопределенный ответ, вроде: «Вот поедете сами и увидите, что правда». Потом, движимая чувством любопытства, я прибавила: «На обратном пути, если будете ехать через Берлин, заходите и расскажите о ваших впечатлениях и о том, что вам удалось провезти».

Мистер Брукс распрощался и ушел. В повседневной торгпредской суете другие посетители как-то ступшевали мое о нем воспоминание.

После отъезда комиссии Ройзенмана начались перемены, откомандирования и прибытия новых сотрудников. Для меня в бюро информации это означало большую дезорганизацию чисто технического характера, так как расстроилась вся более или менее налаженная система справок. На списке отделов и сотрудников, лежавшем у меня на столе под большим стеклом, не было буквально ни одного живого места. Начальники отделов, помощники, инженеры, корреспонденты – все полетело вверх тормашками.

В качестве общественной нагрузки, на меня возложили обязанности секретаря комиссии по изучению немецкого языка. Иными словами, я должна была вести учет учеников, составлять кружки, следить за преподаванием и вообще стараться по мере сил, чтобы не знающие немецкого языка сотрудники поскорее усвоили его. Это была чисто культурная работа, и поэтому я отнеслась к ней более или менее серьезно. Я считала, что чем больше русских людей будет знать немецкий, тем лучше. В наивности своей – странно, но даже пятнадцать лет советского хозяйничанья не могут заставить человека окончательно ни во что больше не верить – я полагала, что хоть по этой линии не будет халтуры.

До ройзенмановской чистки работа в кружках шла относительно сносно. Еще Олигер в свое время

пригласила нескольких добросовестных учителей-немцев, которые оплачивались самими учениками. Время от времени происходили испытания, после чего некоторые сотрудники от дальнейшего изучения языка освобождались. Большинство их приезжало в Берлин с известным знанием языка, считая даже таких лоботрясов, как, например, Житков, который все же хоть читать по-немецки как-то умел.

Но после чистки началось нечто невообразимое. В торгпредство стали прибывать из Москвы сплошные выдвиненцы. Говорили, что Сталин решил «русифицировать» внешторговский аппарат. А так как в самом Наркомвнешторге все еще царствовали Розенгольц, Розенблюм, Розенфельд, Розенбаум и прочие, то они стали слать самых неспособных, самых простых, самых бестолковых, но русских людей. Можно сказать, что 1930 год был во внешней торговле годом выдвиненчества. Что из этого вышло и какие конечные убытки понесла советская внешняя торговля – об этом знают лишь секретные архивы Наркомвнешторга да ГПУ. Это были странные и сумбурные месяцы.

Ежедневно открывалась дверь в мою комнатенку под чердаком, и вваливались по двое, по трое, по четверо каких-то новых людей, в кепках, сдвинутых на затылок, в бесформенных советских «польтах».

– Товарищ, как мы из Москвы приехали, хотели бы, значит... того... на немецкий записаться.

– А вы на постоянную работу приехали?

– Известно, на постоянную. Как бы так, чтобы мы месяца в три научились по-немецки говорить?

– А вы в Москве немецкий изучали?

– Я нет, а вон Мишка курсы посещал. Слышь, Мишка, ты ведь на курсах был?

– Да какие там курсы, ходил две недели, а потом отправили в командировку, где тут научиться.

У меня опускались руки. С одной стороны, мне было жаль этих своих, родных по крови, русских людей. Чем меньше человек образован, чем меньше он знает – тем меньше он виноват в большевизме. Ибо его-то уж так легко обмануть самыми элементарными демагогическими приемами. А с другой стороны, как научить такого Мишку в три месяца читать, писать и говорить на совершенно незнакомом, да еще таком трудном языке, как немецкий?

Записывала всех этих Мишек, Сенек и Степок в кружки. Но ровно через две недели оказывалось, что данным учителем они недовольны, что от него они ничему научиться не могут, что они просят перевести их к другому. От другого они переходили к третьему, а потом... потом назначились экзамены, причем комячейка заранее составляла списки тех, кто по каким-либо причинам казался ей неподходящим, и жертвы эти неминуемо на экзамене проваливались. Законы же тем временем сыпались из Москвы драконовские: кто в течение трех месяцев не овладеет немецким языком в степени достаточной для того, чтобы вести переговоры с фирмами и оформлять заказы, подлежит обратному откомандированию в СССР. Так и проходил этот сумасшедший год в вечной смене персонала и в неслыханном выбрасывании на ветер российских народных денежек.

В отделе кадров заведующие тоже долго не засиживались. Как я уже писала, Сергеева и Иоффе сменил Евгеньев, потом Евгеньев слетел, и на его место прислали совершенно тупого «старого большевика» Охлопкова, причем всем управляли Дора Гончарова и Торская, а к началу 1931 года и Гончарова, и Торская уступила место Машкевичу. Легко себе представить, что при такой чехарде оставалось от других отделов. Только пух летел.

Я сижу за своим столом и разбираю почту. Один за другим входят посетители, даю им справки, на столе трещит телефон. Очередной стук в дверь. Входит некто, но я в это время говорю с кем-то из города. Вошел, остановился у двери и дальше не идет. Наконец я положила трубку, поворачиваю голову, всматриваюсь. Там стоит как будто мистер Брукс. Только вид у него какой-то странный, голову опустил. Вместо добротного пальто – какой-то прорезиненный макинтош явно советского происхождения. Наконец он поднимает голову, и наши взгляды скрещиваются.

– Ах, это вы, – говорю я. – Ну что, вернулись? Как ездились? Расскажите все по порядку.

– Ох, – еще издали вздыхает он, – ох, десять фунтов потерял.

Я не сразу соображаю, в чем дело. Десять фунтов... Почему фунтов, а не долларов, ведь он – американец.

– Где же вы их потеряли, здесь, в коридоре, может быть?

– Да нет, какое там в коридоре – там, в России, чтоб их Господь Бог покарал...

– Садитесь, пожалуйста, – говорю я заинтересованно и почти мягко. – В чем дело?

– Десять фунтов собственного весу за один месяц потерял, как вам это нравится? Это разве страна! Это же сумасшедший дом...

Несмотря на то что мы одни в комнате, я инстинктивно оглядываюсь по сторонам. Но тон посетителя так искренен, а вид у него настолько свидетельствует о том, что ему пришлось много пережить, что я ни на минуту не думаю о провокации.

Кряхтя и охая, мистер Брукс чистосердечно выкладывает мне свои горести. Подумать только, какое бесправие, какой ужас, какой голод и нищета царят теперь в его родном Витебске. Несмотря на то что один

из его племянников состоит в комсомоле, вся семья сестры буквально голодает...

- И вы знаете, - говорит мистер Брукс, - ведь ободраны все как липки. Я, знаете, везде был, все видел, я сам в очередях стоял за обувью для них, за калошами. В поезде спрашиваю проводника, который час. А он мне отвечает, что у него часов нет. Так я ему сказал, что у нас в Америке каждый проводник и кондуктор обязательно имеет часы. Вы думаете, он мне поверил? Только почесал в затылке и больше ничего. А террор! Родственники мои посещали меня только по ночам, и старые знакомые тоже. Там есть такая мадам Непомнящая, богачи были раньше большие, так эта мадам Непомнящая поздно ночью ко мне пришла и плакала, я вам говорю, плакала, как маленький ребенок. У нее дочь есть в Нью-Йорке. Так она меня умоляла передать ее дочери, чтобы та ее как-нибудь выписала к себе. Ноги у нее распухли - у мадам Непомнящей, - большевики ее всю обобрали, теперь живет старуха где-то в подвале. Со стен течет...

- Ну и что же, вы им помогли?

- Что значит, помогли! Я все отдал, что у меня было. Вы видели мое пальто, а теперь видите, в чем я вернулся? Отдал зятю пальто, а потом все деньги, которые у меня были - а ведь я повез с собой две тысячи долларов, - все раздал, поодевал всех, пообувал. А когда они меня на вокзал провожали всей толпой, ой, и плакали же все.

- Что же, вы еще раз, может быть, к ним приедете?

Мистер Брукс посмотрел на меня как на сумасшедшую.

- Чтобы я еще раз приехал в этот бедлам? Нет, довольно. Нам в старой России плохо жилось, эмигрировали мы в Америку, но скажу вам, что старая Россия это ведь рай был по сравнению с теперешней. Я-то, сидя у себя в Бостоне, говорил своей жене - она у

меня американка, ничего о России не знает – говорил ей: вот прошло двадцать пять лет, как я уехал, уже давно царской власти нет, может быть, все-таки люди добились свободы. Ну, а теперь собственными глазами увидал ее, эту свободу, будь она проклята. Каждый боится сказать что-либо лишнее. Вот и вы все оглядываетесь. Только мне нечего бояться, я ведь американский гражданин.

– Ну, а самопишущие ручки провезли?

– Да, вот одна только и осталась.

Он отвернул полу пиджака и показал во внутреннем кармане ручку. Рядом с карманом блеснул какой-то значок.

– А что это за значок? – неизвестно почему полюбопытствовала я.

– Масонский.

Я от испуга и от неожиданности чуть не упала со стула. Подумать только – масон! Живой масон! Сидит здесь передо мной и спокойно говорит о своей принадлежности к этой страшной организации. И невольно приходят в голову воспоминания моей юности, когда мой дядя, Алексей Семенович Шмаков, ученый антисемит и антимасон, толковал о страшной роли масонства в мире, вернее, о его безграничном владычестве над всеми странами без исключения. С тех пор прошло много лет, но в душе остался безотчетный страх перед масонством, как перед какой-то неведомой и злой силой. И вдруг теперь сидит себе разочарованный в советской действительности пожилой еврей и, как ни в чем не бывало, признается, что он, видите ли, масон...

Проходит несколько секунд в полном молчании, потом я решаюсь все-таки спросить:

– Вы в масонской ложе состоите?

– Да, конечно. У нас в Бостоне все более или менее приличные и состоятельные люди состоят в масонских

ложах. Там собирается все хорошее общество.

Теперь я заинтересована. Страшно заинтересована.

- А скажите, какие цели преследует масонство?

- Цели? Очень хорошие цели: благо человечества, любовь к ближнему, преклонение перед истиной...

Я разочарована, хотя нужно быть совсем глупой, чтобы предполагать, что мне - первой встречной настоящий, всамделишный масон раскроет все тайные пружины своей организации. А потом, может быть, он играет там роль одного из «малых сих», которые даже и не подозревают, каким разрушительным целям они служат.

- И что же, вы собираетесь вместе, надеваете особые одежды, даете тайную клятву?

- Да, на это все есть свой ритуал, и, конечно, все члены обязаны ему следовать.

Но что там - собираемся вместе, виски пьем...

К сожалению, наш разговор прерывается на этом месте телефонными звонками, мистер Брукс встает и прощается. Вдогонку я успеваю его еще спросить:

- Теперь вы там, в Америке, вашему брату расскажете обо всем, что видели?

Но мистер Брукс злорадно усмехается и в глазах его загорается насмешливый огонек:

- Нет, уж дудки, пусть он сам поедет и убедится. Он все пропагандирует, что в Советской России лучше, чем у нас в Соединенных Штатах. Ни слова ему не скажу!

## Приемщик Червов

Одной из первых ласточек выдвиженческой волны был приемщик Червов. Маленький, коренастый сибиряк, бывший железнодорожник из-под Читы, красный партизан во время борьбы с Колчаком, он был назначен директором какого-то промышленного предприятия, а потом отправлен за границу в качестве приемщика.

Я познакомилась с ним благодаря Житкову. Эго было незадолго до его отъезда в Москву, и он ходил в достаточной степени мрачным. Однако, когда в комнату вкатывался таким мячиком Червов, чело Житкова прояснялось, и оба начинали балагурить. Нужно отдать должное Червову, он тоже принадлежал к категории «неунывающих россиян».

Его не смущало почти полное незнание немецкого языка, не смущало отсутствие образования, а к Европе он относился полуудивленно: «Ишь ты, ведь как оно того, здорово!» – полупрезрительно: «Куда там немчуре с нами тягаться!» С ним то и дело выходили какие-то курьезы, так что и Житков, и другие товарищи над ним потешались.

Как-то после обеда, охая и хохоча, в комнату ворвался Житков.

– Ой. Тамара Владимировна, не могу. Нет больше моей моченьки, ой, ну, и потеха!

– Что случилось, Георгий Порфирьевич?

– Ох, прямо живот заболел от смеху, нет, вы подумайте только... Ванька Червов, нет, не могу...

И Житков, весь трясаясь от смеха, упал в изнеможении на стул.

Я уже знала о некоторых злоключениях Червова и спросила, заранее улыбаясь:

– Что, опять чего-нибудь не понял?

- Да какой там не понял! Вы подумайте, Тамара Владимировна, его посадили временно в Металлимпорте, пока все оформят для его отъезда во Франкфурт...

- А что, его командируют во Франкфурт?

- Ну да, приемщиком. Но вы послушайте дальше. Посадили его, значит, вроде как заместителем отдела пока. Отдельная комната, стол, телефон и машинисточку-немку дали на всякий случай, чтобы, значит, если кто зайдет в комнату, не напутал чего. Так вот, как телефон зазвонит, он, значит, все в телефон: как? как?.. А машинистку спрашивает немец-корреспондент: «Ну, как у тебя там новый начальник?». Она отвечает: «Да что, он ничего не делает целый Божий день». А немец все-таки допытывается: как, дескать, так ничего не делает? Ну а немка ему по-немецки, значит, и говорит:

- Er kakt den ganzen Tag ins Telephon.

И Житков залился смехом, вдвойне довольный и гривуазным анекдотом, и тем, что вот он теперь такие даже тонкости по-немецки понимает.

- Теперь по всему торгпредству пойдет эта штука.

Я невольно расхохоталась вместе с ним.

- А еще что?

- А еще! Надысь, он, значит, в ожидании отъезда во Франкфурт пошел экипироваться, Ему сказали, что он должен совсем как бы на буржуя походить, чтобы его, значит, на том заводе уважали, куда его командируют. Ну, он, значит, котелок решил купить. Знаете - такую круглую шляпу - котелок.

- Ну, как же не знать, такую и принц Уэльский носит.

- Вот именно. Ну, только он от нас скрыть хотел, или удивить апосля. Только никого из нас не взял с собой - этакий ведь упрямый жук - да и гайда к Вертгейму. Но словарик карманный, значит, с собой все же взял; я ему

сразу, как он приехал, посоветовал, говорю - без словаря ни шагу.

Я улыбнулась, вспомнив опыт Житкова с «живодером».

- Нет, вы слушайте дальше. Вот приходит он к Вертгейму, глаза у него разбежались, и то хочется купить, и это. С непривычки - сами знаете - как наши русачки на все кидаются. Но потом все же к цели решил идти. Подходит это к нему фрейлейн и спрашивает, что, мол, ему требуется. А он нашел еще заранее в словаре «котелок» и говорит: Bitte, Kessel, Kesselchen... Та, значит, ему показывает, как пройти. По-немецки - направо, вверх, налево - словом, как водится. Блуждал он блуждал, наконец, другая фрейлейн его в посудный отдел приводит и сдает какому-то молодому немцу. Он ему опять, значит: дозвоьте мне, говорит, Kesselchen. Немец приносит ему кастрюлю за кастрюлей, чашку за чашкой, и полоскательницы, и умывальницы. Червов потел, потел, ажно чертыхаться стал, ничего не помогает. Наконец, сжалился над ним приказчик и ведет его к полке - а там, ну, как бы так сказать попримичнее - ночные посудины, значит, рядами стоят. На всякий вкус. Тут уж наш Ванька разъярился, как загнет его по матушке: ты что, говорит, сукин сын, издеваться надо мной? Мне, говорит, на голову, понимаешь, так, мол, тебя и так, на голову мне котелок надоть. Тот опешил, собрался весь обслуживающий персонал - ничего понять не могут. Наконец, догадались, послали за переводчицей - ну, та Ваньку и выручила.

Прошло несколько месяцев. Житков уже был давно откомандирован, бюро информации перекочевало наверх. В один из ясных весенних дней ко мне зашел Червов. Он еще больше округлился, стал носить большие роговые очки и походил на жовиального

банкира. В первый момент я его просто не узнала – до того он как-то раздобыл и «обуржуазился». Поздоровались, поговорили о том о сем. Оказалось, что его уже откомандировывают из Франкфурта.

– Все, что надо было нам узнать на том заводе, узнали, – загадочно заявил он. – Теперь можно и в Берлине немножко поработать.

– Ну, как вам там жилось? – любопытно спросила я.

– Чудесно, Тамара Владимировна, знаете, как хорошо! И, как всякая славянская простая душа, Червов принялся посвящать меня во все детали его франкфуртского пребывания.

– Поселился я у одного инженера-немца. Квартира шикарная; обстановка, ковры, занавесы – загляденье. И живут только двое – он, да его жена, интересная такая дамочка. Ну, попервоначально трудновато было с языком, никак не объяснишься, но потом мне ее, знаете, до того жалко стало, Тамара Владимировна. Представьте себе, как у них тут женщина угнетена – муж ейный башмаки ее заставляет ему чистить. И не только себе, а и мне, как квартиранту – значит. Ну, тут уж я вступился: нет, говорю, этого никак допустить не могу. И стал ей помогать обувь на кухне чистить. Она это сначала косилась на меня, отмахивалась, а потом постепенно поняла нашу русскую душу. Ну, оно, конечно, не обошлось без того, чтобы я ее не приласкал. А теперь так меня полюбила, что страх. Хочу, говорит, мужа бросить и с тобой в Россию ехать. Я там, значит, за инженера шел. Herr Ingenieur, да Herr Ingenieur. Ну, я ее тоже баловал – конфеты, пирожные. А теперь скоро ее рождение. Тамара Владимировна, как бы так бы мне помогли, я бы хотел ей скатерть и двенадцать салфеток послать, только самых что ни на есть хороших. Пуцай русскую душу знает.

Я слушала и думала, какой секрет заключается в наших русских людях, что они вызывают к себе такую

глубокую и горячую любовь у иностранцев? Ведь вот приехало это черноземное сибирское существо в немецкий город, попало в, по-видимому, культурную немецкую семью, и вот смотришь – уже примерная, может быть, до тех пор немка отдала ему свое сердце и, наверное, по истинно германскому обычаю, не скоро его забудет. И он – этот Червов, на руках которого так много невинно загубленных русских жизней там, в Сибири, который и теперь является сознательным членом самой беспощадной, самой бессовестной и бандитской партии в мире, сумел дать этой представительнице культурнейшей страны Европы что-то, чего не мог дать ей ее муж. Странно, особенно если принять во внимание, что и разговаривать-то они толком не могли из-за незнания языка.

– А муж ее знал?

– Конечно, потом узнал. Гневался – страх как. Говорит: съезжайте, мол, с квартиры. А она ему: ежели он, говорит, съедет, то и я уйду с ним.

– Ну и что же теперь будет?

Глаза Червова блеснули сметливым огоньком из-под стекол.

– Что будет? А ничего не будет.

– Но почему же? Ведь вы, насколько я знаю, одинокий, могли бы жениться и взять ее с собой в Москву.

– Нет, уж куда там. Сами знаете ведь, она тут в холе жила, в сытости, а там у нас пока все еще наладится... Да и меня во всякое время неизвестно куда перебросить могут, где уж ей за мной таскаться. Вон смотрите – она мне теперь каждый Божий день письма пишет...

И Червов вытащил из бумажника несколько голубых душистых конвертов.

– А жаль, что я ни прочесть, ни ответить не умею.

– Как же вы даже и не отвечаете?

- Нет, да так и лучше, скорее забудет. Вот пошлю ей на прощанье подарок - и сказке конец. Кстати, Тамара Владимировна, будьте добреньки, прочтите, что она там пишет.

Я взяла одно из писем. Это было типичное письмо влюбленной женщины, нежное, ласковое и молящее: не бросай меня, возьми меня с собой. Письмо дышало искренностью и тоской.

- А вы разве давно оттуда уехали?

- Да я потом в Дюссельдорфе еще недельки две проболтался, наладил там связь кое с кем из рабочих.

Я поняла, что если буду дальше слушать, то он начнет говорить мне о том промышленном шпионаже, которым неофициально занимаются все советские приемщики и инженеры, командированные на иностранные заводы. Им в этом помогают иностранные рабочие-коммунисты, иногда продают планы, часто выдают секреты производства, особенно в военной и химической отраслях. Мир об этом мало осведомлен. Только иногда появляются в газетах коротенькие заметки о казни такого-то, обвиненного в «государственной измене».

Червову недолго удалось погулять в Берлине. Как-то совершенно неожиданно он поругался с секретарем комячейки Сольской, потом столь же неожиданно его обвинили в антисемитизме и молниеносно, что-то в сорок восемь часов, отправили в СССР. У него была одна мечта - мотоциклет. И после долгих колебаний он его все же приобрел. Это был огромный и довольно безобразный «Харлей-Дэвидсон» с колясочкой. При продаже фирма надраила Червова так, что ему удалось сдать экзамен и получить Führerschein. Когда он пришел прощаться, обиженный на комячейку и на весь мир, я просила его навестить моего мужа в Салтыковке и передать ему привет.

- Поезжайте с мотоциклетом, - сказала я, - и покатайте его.

- А то как же, непременно, - обещал он.

## Бессонов и бюллетень

Вместе с торгпредом Бегге уехал в Москву и его верный помощник венгерец Ленгиель. Несколько недель продолжалось в нашем Экономическом управлении междуцарствие, но потом разнесся слух: приехал новый заведующий – Бессонов. Одни говорили, что это бывший редактор «Экономической жизни», сосланный за границу за правый уклон, другие утверждали, что он правоверный сталинец и назначен в торгпредство для наведения порядков.

Впоследствии Бессонов был переведен в Лондон и закончил свою заграничную карьеру первым советником берлинского полпредства, то есть перешел на чисто дипломатическую линию.

С первых же дней его пребывания в Берлине мне пришлось столкнуться с ним довольно близко. Он вызвал меня к себе и сказал:

- Товарищ Солоневич, вы, кажется, владеете иностранными языками?

- Да, владею.

- Мы теперь хотим издавать для всей советской колонии в Берлине этакий информационный бюллетень, ежедневную сводку всего того, что пишут иностранные, преимущественно немецкие, французские и английские газеты о советской торговле и о кризисе в капиталистических странах, а также о мероприятиях по отношению к Советскому Союзу. Ваши функции будут заключаться в том, чтобы ежедневно просматривать несколько газет и передавать по-русски все, что вы найдете необходимым. Насколько мне о вас говорили, вы в курсе таможенных формальностей, контингентов, лицензий и вообще экономически кое-что смыслите.

Я кашлянула.

- Это ничего, если вы в первое время будете не вполне уверены, я вам помогу. Но просто другого подходящего человека у нас сейчас нет...

Я подумала: «Извечная беспартийная кляча».

- Только вот что. Имейте ввиду, что бюллетень должен занимать не больше одного листа, густо написанного на машинке с двух сторон. Не больше, потому что сейчас же после того, как он будет готов - а готов он должен быть не позже двух часов дня, - мы его будем посылать на ротатор. К концу занятий он должен быть разнесен по всем отделам торгпредства и отослан в полпредство и подчиненные торгпредству торговые учреждения, Дерутру, Дерунафт и прочие. Значит, не позже двух часов и не больше двух страниц.

Я стояла неподвижно. С одной стороны - какая интересная работа и как раз по мне. А с другой стороны - как же я совмещу всю мою теперешнюю работу по информации с такой спешной и требующей большого внимания нагрузкой? Решила все-таки сказать о моих сомнениях Бессонову.

- Ничего, информация никуда не убежит.

- А посетители?

- Устройте послеобеденные часы приема.

Так родился торгпредский «Бюллетень».

## **Послесловие к русскому изданию**

Эссенское издательство обратилось ко мне с просьбой написать не то продолжение, не то послесловие к незаконченной книге моей убитой жены. Мне еще и до сих пор очень трудно взяться за эту тему: с нею связано слишком много тяжелого и трагичного. Самое трагичное – это, может быть, сомнение: а не зря ли я подставлял всю нашу семью под большевицкий террор и не зря ли погибла Тамочка. Словом – вопрос об эмиграции вообще и о том, кто из нас был прав: семья Чернавиных или семья Солоневичей. Для русского читателя этот вопрос – понятен. Иностранному читателю я не стану его разъяснять. Зачем объяснять иностранному читателю наших Казем-Беков, Скородумовых, Зинкевичей, зачем выставлять горький наш позор на выставку международной печати.

Но русский читатель поймет – почему мне так трудно заканчивать повествование Тамары Владимировны. О многом я не стану писать даже и для иностранных изданий. Я по опыту уже знаю: все, что попадется под руку, – горькая наша сволочь использует для того, чтобы вылить еще одно ведро помоев на еще свежие могилы мучеников. При моей нынешней эмигрантской тренировке – уже не трудно относиться стоически к помоям, выливаемым на меня самого. Но помои над дорогими могилами? Нет – до такой тренировки я еще не дошел.

Вот почему мой рассказ будет короток и сух.

***Иван Солоневич***

## **Большевизм и женщина**

Три года, проведенные Тamarой Владимировной в берлинском торгпредстве, – это только одно из звеньев многолетних наших попыток бежать из веселого социалистического рая – бежать любым способом. Естественно, напрашивается вопрос: почему вот именно нам так приспичило бежать? Почему миллионов полтора русских людей более или менее мирно продолжают жить в границах этого рая и более или менее успешно следуют немецкому правилу: *bleibe im Lande und nahre dich redlich*?

Такого рода вопрос будет неправилен уже по самой своей форме. Если бы мы могли себе представить полную свободу отъезда из СССР за границу, то территорию одной шестой части земной суши покинули бы прежде всего мужики, потом рабочие, потом интеллигенция. На некоторое время остались бы коммунисты и евреи – потом уехали бы и они, – ибо не осталось бы ни спин, ни шей, на которых можно было бы делать мировую революцию. Такая возможность, конечно, совершенно утопична. Но я все-таки не видал людей – ни мужиков, ни рабочих, ни даже евреев и коммунистов, которые под тем или иным предлогом не тянулись бы куда-то из СССР. У мужика и рабочего это формулируется очень просто: удрать куда глаза глядят. У еврея и коммуниста это принимает более дипломатические формы: хорошо бы поехать за границу в командировку, отдохнуть, набраться сил для дальнейшего продолжения великой и бескровной. Кое-кто и не возвращается – вот вроде товарищей Беседовского и Дмитриевского. Но удрать хотят все.

Желание удрать, конечно, имеет разную напряженность – в зависимости от политических убеждений, а также в зависимости от наличия или

отсутствия оных. Там, где эти убеждения имеются, желание удрать может смягчаться либерально-демократическим «приятием» революции: да, конечно, скверно, очень скверно – но что вы хотите: революция, раскрепощение, прогресс, муки рождения нового строя... Шиш можно показывать только в кармане. На другой стороне – политические убеждения могут создать ощущение полной нестерпимости, ощущение сплошного кровавого кабака, бесцельного и бессмысленного, ведущего страну к гибели. Играет роль и темперамент. Либерально-демократические убеждения рождаются не только в результате брачного союза гнилого духа с гнилой книгой – они, по преимуществу, вырастают из врожденной трусости. Трусость уводит человека от жизни, запирает его, в лучшем случае в библиотеку, и населяет его душевный мир оторванными от жизни представлениями. Вот почему среди либералов всего мира так много эрудитов и так мало борцов и творцов. Либерал – он бороться не может. В лучшем случае – он может скулить.

«Социальное происхождение» и здесь играет некоторую роль. Русский либерализм, как и всякий другой в мире, вырастает из среды обеспеченных классов. Из той среды, которая не привыкла бороться за жизнь. Этот либерализм может иметь и монархический, и социалистический оттенок, но в обоих случаях – либерализм не столько политическая программа, сколько туберкулез духа.

Тамара Владимировна никогда никаким туберкулезом не была больна. Ее политическая биография сложилась довольно своеобразно. Она – дочь полковника В.И. Воскресенского – начальника штаба какой-то дивизии в начале мировой войны. Ее отца я видел только раз – когда он проезжал на фронт. Это был человек исключительного остроумия и единственный по тем временам, который предсказал:

война будет длиться не полгода и не год – а черт его знает сколько времени и кончится черт его знает чем. Я, в числе очень многих людей того времени, отнесся к этому пророчеству весьма иронически.

Тамара Владимировна окончила в 1911 году казачий институт благородных девиц в Новочеркасске с высшей наградой – с золотым шифром. Новочеркасск, в числе прочих, весьма немногочисленных, своих достопримечательностей, имел и такую: во всем городе жил один-единственный еврей, да и тот крещеный: в эти места въезд евреям был воспрещен категорически. Отец Тамары Владимировны был членом комиссии по проведению русско-японской границы на о-ве Сахалине, и свои каникулы Тамара Владимировна проводила у своего дяди – генерала А. Сташевского в Казани, где евреев тоже не было. Другой дядя Тамары Владимировны – московский присяжный поверенный А.С. Шмаков был основоположником русского антисемитизма. Его перу принадлежало несколько многотомных трудов по еврейскому вопросу. На эти темы он вел переписку со своей племянницей, но я весьма сомневаюсь в том, чтобы на «девушку в осьмнадцать лет» тяжеловесные рассуждения А.С. Шмакова – со ссылками на арамейские тексты и с цитатами из Кремье – могли бы произвести какое бы то ни было впечатление.

Впечатление пришло с другой стороны. После окончания Высших женских курсов в Петербурге Тамара Владимировна попала преподавательницей французского языка в минскую женскую гимназию. Минск несколько не был похож ни на Новочеркасск, ни на Казань. Евреи там составляли около 70 процентов населения – влиятельного и захватившего в свои руки если и не совсем власть, то, во всяком случае, деньги. Попав в это окружение, Тамара Владимировна вспомнила и арамейские тексты, и цитаты из Кремье. Во

всяком случае, мы с ней познакомились на еврейской почве: я в те годы издавал антисемитскую газету «Северо-западная жизнь». Тамара Владимировна давала в эту газету статьи - с цитатами из... А.С. Шмакова.

Это были дни знаменитого в свое время процесса Бейлиса. Два или три раза мне пришлось с револьвером в руках отстаивать типографию от еврейской толпы. Практика в этом отношении у меня уже была: когда, после убийства русского премьер-министра П.А. Столыпина, телеграф принес известие о том, что убийцей является не Дмитрий Богров, как раньше было сообщено, а Мордко Богров, нашу газету на улицах рвали в клочки - не для прочтения, а для уничтожения. И такая же еврейская толпа ворвалась в типографию. Я стрелял. Впечатление от двух или трех выстрелов, произведенных в воздух, было потрясающим. В дальнейшем оказалось достаточным просто показать револьвер... Вероятно, при этих обстоятельствах я фигурировал в достаточно героической позе. Во всяком случае - для нас лично дело Бейлиса кончилось браком. По-видимому, на той же почве наш брак кончился взрывом 3 февраля.

В советское время Тамара Владимировна работала в учреждениях, почти полностью монополизированных евреями, - в органах внешней торговли. Ее основным «оружием производства» было знание иностранных языков - то есть область внешних сношений. Туда, впрочем, ее влекла и надежда вырваться за границу более или менее легальным путем. Еврейское окружение и еврейское начальство давили на Тамару Владимировну невыносимым гнетом. И арамейские тексты А.С. Шмакова, и разоренная горбоносая толпа, перед которой я стоял с револьвером в руках, и еврейские комиссары революции - все это для Тамары Владимировны объединялось в страшном пророчестве

Достоевского: «жиды погубят Россию». Я был настроен несколько менее трагически: подавятся. Это было, кажется, единственное наше политическое расхождение.

Как видите, с чисто теоретической точки зрения наши разногласия по поводу советской власти были не очень значительны. Гораздо серьезнее были те разногласия, если их только можно назвать разногласиями, которые вытекали из разницы в жизненных ощущениях. Из разницы между мужчиной и женщиной.

Я не принадлежу к числу сторонников так называемого женского равноправия. Одинаковые права предполагают одинаковые силы и одинаковые возможности. Суффражистская идея, нелепая в самой ее основе, советской практикой была доведена до полного абсурда. Я уже не буду говорить о равноправии голода. Но даже и это равноправие гораздо больше ударило по женщине, чем по мужчине. Не буду говорить и о равноправии на производстве, когда женщинам было предоставлено полное право работать на подземных работах, в шахтах Донбасса, таскать на спине кирпичи на московских стройках, рыть котлованы на Магнитке и рубить бревна в лесах концентрационных лагерей.

Даже и в этих условиях своеобразная подпольная конституция подсоветской массы выработала целый ряд способов оградить женщину от этого большевицкого «равноправия». Даже и в концентрационных лагерях в мое время эта конституция действовала без осечек: это был вопрос чести для всех заключенных мужеска пола... В своей книге я уже говорил о том, что все вновь прибывшие заключенные, без различия пола, возраста и квалификации, должны были направляться в лес рубить дрова. На моей памяти не было случая, когда бы по отношению к женщинам это требование было

проведено в жизнь. Мужская половина заключенного рода человеческого мобилизовалась вся, и здесь уж никакие административные угрозы ничего не могли сделать. Это была своеобразная мужская вежливость, знакомая и Западной Европе. Но цена этой вежливости Западной Европе незнакома. Мужчина, уступающий даме место в трамвае, рискует простоять всю остальную дорогу. Мужчина, путем служебного подлога ограждающий женщину от лесных работ, рискует просидеть на Соловках всю свою остальную жизнь. Как видите, разница есть. Но я не помню случая, чтобы эта разница кого-нибудь останавливала.

Неписаная конституция подсоветской массы так же сложна, как и неписаная конституция Великобританской империи. Но и эти «конституционные гарантии» не в силах оградить женщину от звериной стороны советского быта. По большинству железных дорог ходят не пассажирские вагоны, а так называемые теплушки: товарный вагон, снабженный железной печкой и приноровленный под пассажирское движение. Никакой лесенки к этому вагону нет. Взобраться в него довольно трудно нетренированному мужчине. Женщине без посторонней помощи это и совсем невозможно. Гостиницы и общежития, не приноровленные для иностранных гостей, вместо кроватей и матрацев снабжены козлами и досками. Нашему брату, в конце концов, нетрудно растянуться и на досках. Женщинам труднее. Интеллигентной женщине совсем трудно. Нужны огромные мускульные усилия, чтобы влезть в трамвай, и приблизительно такие же, чтобы выбраться из него. Мужчины пробиваются левым боком вперед, женщины правым. Это разделение полов и боков объясняется довольно просто: у мужчины пальто застегивается справа, у женщины слева. Попробуйте прокладывать свой путь сквозь толпу против ваших застежек, вы оставите в трамвае все ваши пуговицы. Но

пробиться удастся не всегда. Приходится спрыгивать на ходу, что опять-таки не одинаково легко для обоих полов. Служебная карьера, при всем советском равноправии, дает мужчинам большие возможности. Всякого рода чистки касаются обоих полов приблизительно одинаково. Но какой-нибудь комиссар предъявляет все-таки несколько разные требования к своим служащим мужского пола и к своим служащим женского пола. Комиссары же делятся на две основных категории. Одна – это марксистские начетчики из бердичевских фармацевтов, другая – это питекантропы из русских отбросов городского пролетариата. Для служащей женщины – к голоду, усталости, непосильному напряжению страха за свою жизнь прибавляется еще страх за свою женскую честь. Романтические устремления комиссара всегда поддерживаются тяжелой артиллерией постоянных сокращений, увольнений, чисток и арестов. Советское равноправие женщины имеет очень много аспектов, не предусмотренных даже и Карлом Марксом. Для интеллигентной женщины в особенности. И – еще в особенности для интеллигентной женщины-матери. Жизнь тогда становится невыносима.

В этих условиях звериной борьбы, кулачного права, быта, который временами опускается до доисторического уровня, физическая сила играет огромную роль. Этот факт в некоторой степени объясняет и успешность нашего побега. Я был одним из сильнейших людей России. В 1914 году я занял второе место на всероссийских состязаниях по поднятию тяжестей – вид спорта, в котором Россия занимала после Германии второе место в мире. Я, кроме того, занимался почти всеми существующими в мире видами спорта. Но только при переходе России от двадцатого к доисторическому веку я понял все преимущества обладания огромным кулаком. К физической силе и к

огромному кулаку плербс всегда относится с почтением. Иногда даже с бескорыстным и мистическим почтением. Превосходство моральное и интеллектуальное – вещь темная и не всегда понятная. Кулак прост, осязаем и внушителен. Кулак бесспорен. В особенности он бесспорен в тех случаях, когда на прилепленной над ним физиономии выражается достаточно ясная решимость в нужный момент пустить его в ход.

В доисторическом быте советского кабака применение кулака весьма разносторонне. Иногда это применение ограничивается, так сказать, только символом. Когда на служебном горизонте Тамары Владимировны возникал романтически настроенный комиссар, то обычно устраивалось так: меня познакомили с ним, я несколько преувеличенно натуживал свою грудную клетку, говорил несколько преувеличенно натуженным басом и дружеским рукопожатием старался отбить у комиссара всякую дальнейшую охоту к романтическим приключениям. Эта система действовала без отказа. После такой встречи разговор обыкновенно переходил на атлетически-спортивные темы, а комиссар нацеливался на какую-нибудь очередную машинистку, не имевшую за своей спиной столь многопудовой поддержки.

Но ни конституция, ни кулаки не могут все-таки оградить подсоветскую женщину вообще, как не могли оградить они и мою жену, в частности, от быта неандертальской пещеры СССР. Мы, мужчины, как-то приноровились и к грязи, и ко вшам, и к прыжкам в трамвай и из трамвая, и к звериной хватке за кусок мяса и кусок хлеба. Двадцатилетняя практика выработала новый вид русского человека, очень мало известного за границе и боеспособного в предельной степени. Но русскую женщину, культурную женщину в особенности, она поставила в отчаянное положение. Я уже не говорю о шелковых чулках. И я не буду

вдаваться в суетные размышления о женском тщеславии. Я только отмечу тот факт, что необходимость одеваться в лохмотья для женщины гораздо более чувствительна, чем для мужчины. Тамаре Владимировне приходилось одеваться и в лохмотья. Когда мы жили в Москве, лохмотьев уже не было. И все-таки, когда Тамара Владимировна приехала в Берлин и оделась по-европейски, она по советской привычке попыталась продать свое советское пальто, которое, по московским масштабам, было вполне фешенебельным. За это пальто ей предложили двадцать пять пфеннигов.

От этого всего русская женщина гораздо более контрреволюционна, чем русский мужчина. Но, может быть, над всеми этими и мучительными, и смешными, и позорными, и трагическими мелочами подсоветского быта властно господствует самый основной, самый глубинный инстинкт, инстинкт женщины-матери. Инстинкт, который первый стал поперек дороги большевизму. Женщина, женщина-мать – она всегда созидательница. Своей семьи, своего очага и отсюда – своей нации. Большевизм разрушает и семью, и очаг, и нацию. Здесь примирения нет, и здесь примирения не может быть.

Планы побега мы переживали по-разному. Я больше рассудочно, Тамочка больше эмоционально. Я шел, так сказать, ровным шагом. И после каждого провала готовил следующую попытку. Тамочка то плакала от бессильной ярости и отвращения, то не спала ночами от страха за меня и за сына. О себе она никогда не думала или, по крайней мере, не говорила. А заплатить своей жизнью пришлось именно ей. Но это случилось намного позже.

Я боюсь, что лет через сто великая русская революция будет так же канонизироваться, как до сих пор еще канонизируется история французской

революции. Либеральные ослы всего мира, вот вроде Карлейля, будут вздыхать о романтичности чекистских подвалов так же, как ныне они восторгаются стихийной мощью сентябрьских убийств. Могилы миллионов и десятков миллионов будут *забыты*. Французская революция уморила голодом полтора миллиона человек. Так называемая русская революция уморила около пятнадцати. Пропорция почти одна и та же, около десяти процентов населения страны. Но, может быть, самое обидное заключается в том, что еще неизвестные нам будущие либералы и еще неизвестные нам будущие марксисты набросят покрывало романтики на бесконечную цепь унижений, через которую прошли два великих народа. Романисты и историки будут вздыхать о мрачной героике революционных взлетов, повторять прелюбодейное:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...

и будут завидовать нам, счастливым, свидетелям великой эпохи. Или, по крайней мере, тем из нас, которые из этой эпохи ухитрились вырваться живьем. Совершенно забудут о том, что для всего народа, как раньше французского, так теперь и русского, история революции это есть история бесконечных страданий и бесконечного унижения.

При мысли об этих историках и романистах становится противно. Настоящая, нефальсифицированная история революции – это есть история разорения и унижений. Каждая русская семья в той или иной степени прошла сквозь эту историю. Именно здесь проходит красная нить всякой революции – именно эту нить будут всячески затушевывать будущие историки и будущие романисты. И нынешнему

человечеству, которое стоит вне революции, и будущему человечеству, для которого революция станет далеким и романтизированным прошлым, нужно показать революцию такую, какова она есть: кровь, грязь и бесконечные унижения. Унижения, которые в одинаковой степени охватывают и вчерашних, и сегодняшних, и завтрашних жертв и палачей. От этого унижения избавлены только одни: те, кто честно погибли в бою. Гибель в бою это самая дешевая плата, которую можно отделаться от революции.

Я не хочу, чтобы эту фразу поняли как поэтическое преувеличение. Но если вы бы мне в 1917 году предложили на выбор: смерть в бою или все то, что я пережил от 1917 до 1938 года, я безусловно выбрал бы первое. И если во всех наших писаниях есть какой-то общий смысл, то он сводится к следующему: господа немцы, французы, американцы, англичане, если на вашу родину будет надвигаться марксизм в его нынешнем или в его грядущем варианте, хватайтесь за все, что попадает под руку. Если нет пулемета, то хотя бы за кухонный нож.

В моей книге я попытался дать лицо революции более или менее таким, каким оно существует в реальности. Не в виде грозного, но поэтического лика исторической Немезиды, а в виде миллиона присосков скользкого, безликого и безмозглого революционного осьминога. Осьминог страшнее гильотины. Гильотина рубит голову немногим, а осьминог присосался ко всем.

Эту сторону революционной реальности очень трудно показать. Есть вещи, которые слишком тяжело говорить и о себе самом и которые совершенно невозможно говорить о других. Есть темы, для которых нужен Достоевский. И эти темы никак не могут уложиться ни в мемуарные, ни в биографические формы. Переживания человека, ожидающего расстрела, несколько не так героичны, как об этом рассказывается

в романах. Если мне удастся закончить мой роман, люди прочтут там некоторые вещи о революции, вещи, которые никогда и никем написаны не были.

В этом очерке нет ни места, ни возможности писать о такого рода вещах. Большинство попыток нашего побега так запутано и так неправдоподобно, как и большинство биографий тех двух миллионов русских людей, которым удалось бежать от большевицкого рая и из большевицкого рая. Биографии тех людей, которым не удалось бежать, никогда не будут написаны. Месяцем позже нашего перехода советско-финской границы, в двадцати километрах от этой границы, был найден полуразложившийся труп человека, по-видимому, интеллигентного – в золотых очках. Он погиб от голода уже на финской территории, не доходя нескольких верст до финской деревни. При нем была найдена размытая дождями предсмертная записка на русском языке, которой разобрать было нельзя. Его биография не будет написана так же, как не будут написаны биографии десятков миллионов людей, нашедших свое успокоение в братских ямах голода и расстрелов: имена же их Ты, Господи, веши.

Русская интеллигенция восстала против большевизма с первых же дней его открытого появления на арене революции. На захват власти большевизмом интеллигенция ответила всероссийской забастовкой. До забастовки врачей включительно. На забастовку большевизм ответил террором, от которого интеллигенция бросилась преимущественно на юг. На Украину – где разлив большевизма был остановлен германскими войсками, и на Дон – где стала сколачиваться белая русская армия. По следам отхода немцев и разгрома белой армии волны беженства катились все дальше и дальше, и именно к этому времени относится перефразировка лермонтовского стихотворения:

Бежать? Но на время не стоит труда,  
А вечно бежать невозможно.

Для огромного большинства вечное бегство действительно оказалось невозможным.

Многомиллионные массы беженцев, разоренных, голодных или отчаявшихся, докатились до Белого моря на севере, до Тихого океана на востоке и до Черного моря на юге. В портах Новороссийска, Одессы и Севастополя разыгрывались сцены Дантова Ада. Наличного тоннажа не хватило даже для одной десятой части желающих бежать. Большевицкое радио обещало отмену смертной казни и полную амнистию всем оставшимся. Еврей Вихман в Одессе и еврей Бела Кун в Баку расстреляли больше ста тысяч русских людей, которые если и поверили большевицким обещаниям, то преимущественно потому, что делать все равно было нечего. В этой волне я докатился до Одессы, в которой редактировал белую газету, а семья застряла в Киеве, из которого я уехал последним поездом.

В дни эвакуации Одессы я лежал в стурдзовском сыпнотифозном госпитале, который в некоторой степени определил мою судьбу и начало моей советской карьеры: после выздоровления я стал санитаром в другом сыпнотифозном госпитале. Потом из Киева приехала жена с Юрочкой, и вот с этого момента начали строиться новые планы побега из коммунистического рая. Планы носили, так сказать, строго легальный характер. Бежать пешком с шестилетним ребенком не было никакой возможности. Планы были довольно однообразными: устроиться где-нибудь в порту, на таможне, на границе, так, чтобы до заграницы оставалось несколько шагов. Но в эти места пускали людей только с проверенными биографиями. У меня не

было никакого желания предъявлять свою биографию на благоусмотрение ВЧК.

План был изменен. Решили перебраться в Москву с очень туманными перспективами попасть на заграничную службу. Однажды эти перспективы были совсем близки к реализации. Мне предложили занять место заведывающего клубом советского торгпредства в Англии, и я пришел домой, преисполненный самых радужных надежд. Утром на другой день я прочел в газетах о так называемом налете на «Аркос» и о разрыве дипломатических сношений между Россией и Англией. Розовые надежды были отодвинуты до следующей оказии.

Они снова возникли с назначением Тамары Владимировны в Берлин. Проблема упрощалась до крайности. Жена и Юра уже за границей. В России остаемся мы с братом, и уйти пешком для нас ничего не стоило. Особенно по тем временам, когда охрана границы была еще не так организована, как в последние годы.

Но в планы, так хорошо выверенные и так тщательно продуманные, снова вклинилась случайность. Брат был арестован и сослан в Соловки. Я не собирался бежать за границу только для мирного жития – мирного жития и сейчас у нас нет. А антибольшевицкая работа за границей означала бы смертный приговор для брата. Впрочем, таким же приговором был бы и факт моего побега сам по себе. Нужно было прежде всего выручить брата. Это удалось только относительно. Брат был переведен в ссылку в Сибирь.

В январе 1931 года Тамара Владимировна получила предписание вернуться в Москву. Если бы она не вернулась, был бы арестован я. Если бы я бежал, был бы расстрелян брат.

Советская система заложничества действовала, как действует и сейчас, - с беспощадной точностью. Жена вернулась в Москву.

Впрочем, за время пребывания Тамары Владимировны в Берлине я делал попытки легального отъезда: в командировку по спортивным делам. Мы исходили из принципа, что риск нужно свести к минимуму и что те из нас, которые имеют шансы вырваться легальным путем, должны эти шансы использовать. Но из четырех моих попыток не вышло ничего. Два заложника в России были все-таки лучше одного. И ГПУ систематически отказывало в ходатайствах обо мне самых солидных учреждений Москвы. Это было очень горькое возвращение. Здание, построенное с таким трудом, казалось, рухнуло окончательно. Получить еще одно назначение за границу Тамара Владимировна не имела никаких шансов. Юра уже вырос, и мы решили бежать пешком. Тамара Владимировна мужественно тренировалась в ходьбе, возвращаясь пешком со службы домой. Это было приблизительно двадцать километров. Эта тренировка давалась ей с большим трудом и была очень небезопасна для здоровья. Тамара Владимировна никогда никаким спортом не занималась, и все мои попытки в этом направлении кончались неизбежным крахом. Это, впрочем, не мешало ей до самого последнего дня ее жизни сохранить и пронести сквозь всю тяжесть революционных лет изумительный запас энергии и жизнерадостности.

Планы были выработаны, и маршрут был намечен: через Карелию в Финляндию. До этого я ощупал туркестанскую, кавказскую и румынскую границу. Там не так трудно было перейти, но очень было неясно, как встретили бы нас персы, турки и румыны. Я узнал, что очень многих и за очень небольшую плату из большевицкого кармана персы выдавали обратно - на

расстрел. Нынешний сотрудник моей газеты Виктор Робсман в 1931 году перебежал с женой персидскую границу и просидел три года в персидской тюрьме под угрозой выдачи его большевицкой власти.

Турки выдавали систематически. На румынской границе грабили и убивали. Польская и эстонская охранялись слишком сильно. Финская охранялась слабо, и за финской границей мы могли быть уверены в культурном и человечном приеме. Эта уверенность оправдалась целиком. И если мне когда-нибудь суждено будет играть в будущей России какую-нибудь роль, я не забуду финского гостеприимства.

Летом 1932 года я сделал пешую разведку по направлению к финской границе от станции Кивач Мурманской железной дороги в направлении на село Койкоры на реке Суне и не дошел до границы двадцать верст. Около Койкор меня подцепили сельские активисты-комсомольцы. Мне стоило очень большого труда благополучно вырваться из этой разведки. Но из нее я выяснил одно обстоятельство: по таким местам Тамочка не пройдет. И как она ни клялась в своей выдержке и выносливости, дело было до безнадежности ясно. Двумя годами позже мы, атлетически сложенные и тренированные мужчины, прошли это расстояние: я с сыном – в шестнадцать суток, а брат – в двенадцать суток. Шли с предельным напряжением всех наших сил. Тамочка бы не прошла. Круг замкнулся, и никакого выхода не было видно.

Выход подвернулся неожиданно, как иногда и случается в безвыходных положениях. Этим выходом оказался брак с иностранцем, каковой брак дал возможность Тамочке не только выехать легально, но и вывезти или, точнее, переслать через некое иностранное учреждение наши семейные документы, письма, фотографии и даже ту пару боксерских

перчаток, в которых я тренируюсь и по сей день. Мы трое должны были бежать пешком.

Очень трудно рассказывать о мучительности наших колебаний и о моментах нашего прощания. Через пять дней после отъезда Тамочки в Берлин мы должны были отправиться пешком. Мы отправились поздней осенью, заблудились в болотах и вернулись обратно. Дамоклов меч побега остался висеть еще на один год. Осенью 1933 года мы снова бежали и на этот раз попали в ГПУ. По условному письму Тамочка знала, что мы уже ушли, и затем для нее мы как в воду канули. Всякая женщина и всякая мать поймет ее переживания. Потом мы дали ей знать: мы арестованы и приговорены к восьми годам концентрационного лагеря.

Я позже узнал, какие фантастические, нелепые, иногда и истерические планы рождались в Тамочкиной головке. Были планы обмануть большевиков. Были планы их шантажировать угрозой убийства. Были планы заработать деньги и выкупить нас из большевицкого рабства. Но как заработать эти деньги? Тамочка служила преподавательницей французского языка в Берлине в «Крафт дурх Фрейде», зарабатывала сто-полтораста марок в месяц и голодала, чтобы иметь возможность послать нам через наших петербургских и московских знакомых торгсиновские продовольственные посылки. Все-таки скопила сто марок и поехала в Цопотт, чтобы там по самой современной и самой научной системе выиграть в рулетку... ну, хотя бы сто тысяч марок. Научная система стоила Тамочке двух месяцев дополнительной голодовки. Но посылки мы все-таки получали. И именно с этими посылками мы трое – я, Юра и Борис – бежали из концлагеря. На лагерном пайке не было никакой возможности собрать запасы, достаточные для двух недель пешего хождения по болотам.

На этот раз мы все-таки удрали. Почти полтора года мы прожили в Гельсингфорсе, пытаюсь пробраться куда-нибудь к центрам антибольшевицкой борьбы. Тамочка продолжала работать в своем «Крафт дурх Фрейде», ибо эта работа была единственной материальной зацепкой всех нас четырех. На каникулы она приезжала в Гельсингфорс, и мы снова строили розовые планы о том, как мы наконец после почти двадцати лет усилий и унижений, надежд и разочарований, начнем какую-то человеческую жизнь.

Бомба третьего февраля подвела под этими надеждами окончательную черту. Вот вам вся история нашей семьи.

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

Все фамилии – подлинны.

**2**

Товарищи, приветствую вас от имени английских горняков.

**З**

Совет профессиональных союзов.

**4**

Федерация горняков Великобритании.

# 5

Благодарю вас. (Характерно, что английские ораторы по окончании своей речи всегда благодарят аудиторию за то, что она их выслушала.)

**6**

Ах, какие они добрые!

**7**

Да здравствуют русские рабочие! Да здравствует революция!

**8**

Потому что он славный малый, и это говорит каждый из нас.

У Мэри был маленький ягненок  
С ножками, белыми как снег,  
И с боевым призывом  
За свободу.  
И всюду, куда шла Мэри,  
Ягненок непременно следовал за ней,  
боевым призывом  
За свободу.  
Ура – Мэри, ура – ягненку,  
Ура большевикам,  
Которые ни черта не боятся.

Дальше речь идет о том, как «Мэри приняла  
касторки, с боевым призывом за свободу» и т. д.

**10**

Какой позор!

**11**

Спите спокойно. Прекрасных сновидений.

**12**

Жизнь на троих.

**13**

Делать хорошую мину при плохой игре.

Три слепых мыши,  
Три слепых мыши.  
Смотри, как они бегут,  
Смотри, как они бегут.  
Они бегут за женой фермера,  
Которая режет им хвосты кухонным ножом.  
Видали ли вы в жизни что-либо такое,  
Как три слепых мыши?

Один человек пошел косить,  
Пошел косить луг,  
Один человек со своей собакой  
Пошел косить луг.  
Два человека пошли косить,  
Пошли косить луг.  
Два человека со своей собакой  
Пошли косить луг.

**16**

Какой любезный человек этот Боярский!

Троекратное ура за советских рабочих! Троекратное ура за мировую революцию!

Ах, как мило!

Открывая заново свою страну.

Мне кажется, что нас тут чертовски надувают.

**21**

Вы - старая утка!

А когда я умру, а когда я умру,  
Не хороните меня вовсе,  
Только положите мои кости  
В алкоголь.  
Поставьте по бутылке вина  
У моей головы и у ног,  
Тогда я буду знать,  
Что мои кости сохранятся.

**23**

Эта маленькая гид из Интуриста.

Он говорит, что ни в чем не виноват.

Слуцкий был моим шефом в Международном комитете горнорабочих и сопровождал английскую делегацию в ее поездке в 1926 г. по СССР. О нем более или менее подробно рассказано в моей предыдущей книге «Записки советской переводчицы».

**26**

Что вам угодно? (*нем.*)

**27**

Пожалуйста, паспорт (*нем.*).

Говорит д-р Лоренц, здравствуйте, разрешите маленькую справку... (нем.)

**29**

Посторонним вход воспрещается (*нем.*).

**30**

По сведениям, он недавно расстрелян в Москве.

Последние годы большевики предпочитают продавать меха на собственном аукционе в Ленинграде.

Молодой иностранец (с высшим образованием) ищет знакомства с молодой немецкой девушкой с целью изучения немецкого языка.

Буквальный перевод: она... кожу... сдирать...

Боже мой, боже мой, что за страна!